



Фадей Булгарин
СТАРЫЙ ЗНАКОМЕЦ

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ



**ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ**



**ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА**

XX

**Leo
2016**

В.Ф. Булгарин

СТАРЫЙ ЗНАКОМЕЦ

Сборник фантастических
полуфантастических и около
фантастических
историй



Словестность

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ, или ГДЕ СЧАСТЬЕ?

(философическая сказка.)

On n'instruit pas les hommes en leur
apprenant ce qu'ils savent, mais en
leur faisant trouver en eux mêmes les
qualités et les vertus qui s'y trouvent
ensevelies sous les préjugés de l'erreur.^a
TERRASSON.

Эдуард Вейз (Wise) и Виллиам Мерри (Merry) (*) родились на одной улице в Лондоне воспитывались вместе в Оксфордском Университете, и любили друг друга, как братья, не взирая на различие своих характеров. Эдуард прилежал к Наукам, избегал городских знакомств и рассеянности, любил уединение, и величайшее наслаждение находил в чтении книг и в мечтаниях о благе человечества. Напротив того, Виллиам не думал никогда о завтрашнем дне, был пристрастен к забавам и увеселениям всякого рода, большую часть ночей проводил на балах, в поездках за город, и в карточной игре, дремал на лекциях, а в минуты бодрствования сочинял нежные куплеты для дам и эпиграммы на Профессоров. Природа заменила в нем недостаток основательности остроумием и веселым характером которые делали его любезным и приятным в обществе; даже сам Эдуард признавался, что Виллиам необходим для рассеяния его меланхолии, как веселые ноты для грустного музыканта.

(*) По Английский Wise значит мудрый, а Merry — весельчак.

Окончив курс Наук и возвратясь в Лондон, Эдуард вступил в звание отца своего, и сделался Медиком. Виллиам, сын зажиточного аптекаря, не имел никакой склонности дышать благовонною атмосферою медикаментов, и глотать пыль целительных порошков. Он сперва хотел определиться в военную службу, но - по просьбе матери своей, отказался от сего намерения; а чтобы избавиться от всяких дел, он объявил себя Поэтом, и уверил своих родственников, что занимается сочинением великой поэмы, которая навсегда прославит Англию и фамилию Мерри. Он купил большую книгу белой бумаги, которую всегда держал под замком, и на досуге рисовал в ней карикатуры, или вписывал песенки и эпиграммы. Когда домашние спрашивали его об успехе его сочинения, он всегда отвечал им, что поэмы пишутся не по рецептам, и что вдохновение не летучая мазь или спирт, чтобы могло влететь в голову по произволу.

Все молчали и ожидали, а Виллиам под видом уединенных пиитических прогулок, большую часть времени проводил в рассеяностях городской жизни. Так промчались три года — по возвращении из Университета и в это время Эдуард успел приобрести славу искусного Медика, а Виллиам снискал знаменитость в кругу городских повес и весельчаков. Столь различный образ жизни не прервал, однако ж дружеской связи детских лет. Эдуард и Виллиам часто виделись друг с другом, рассказы Виллиама рассеивали спин Эдуарда, который в свою очередь подчивал своего друга советами и снабжал деньгами. Мудрость одного и весёлая беспечность другого составляли что-то гармоническое, которое в целом имело для обоих привлекательность, и заставляло их жить в согласии.

Однажды поутру, когда Эдуард еще был в постели, Виллиам пришел к нему с озабоченным и рассеянным видом, и просил его выслать слугу, чтобы поговорить наедине о важном деле. Эдуард думал, что друг его попал в какие-нибудь неприятные обстоятельства, проигрался, вызвал на поединок, или подвергнулся гневу родителей. Но как он удивился, когда

Виллиам с важным видом спросил его: «Веришь ли ты в существование философского камня?»

Эдуард захохотал во все горло:

—Точно также верю, —отвечал он: —как в золотые Гесперидские яблоки, в живую и мертвую воду, в фонтан юности (fontaine de Jouvence) и прочия произведения человеческой глупости.

— Потише, потише! — возразил Виллиам: —не суди так решительно, и скажи мне, какую силу приписывают философскому камню, и как давно мысль о возможности его существования кружится по свету.

—Я вижу —сказал Эдуард: —что ты попал в общество легковерных или обманщиков, которые, пользуясь твоим невежеством, хотят выманить у тебя последние деньги. По долгу дружбы, я должен открыть тебе глаза. Алхимия или мнимое искусство делать золото, была известна прежде, нежели люди выдумали особое для нее название. В глубокой древности, когда искусство плавить металлы находилось в младенчестве, первые металлурги, заметив, что от слияния разнородных металлов образуются новые массы, из которых некоторые походят цветом на золото и серебро, возмечтали, что опытами можно открыть тайну природы и научиться, подобно ей, соуправлять драгоценные металлы смешением и очищением разнородных частей. Шарлатаны воспользовались сим случаем, и, с возрождением роскоши и новых потребностей, удовлетворяемых золотом, выдумали особую науку, которую назвали Алхимиею, и за золото учили составлять золото, оставляя себе метал, а своим ученикам мечты и надежды.

Надеясь сыскать средство к увеличению наслаждений жизни, надлежало найти и другое, служащее к продолжению её и охранению тела от болезней, с которыми богатство не имеет никакой привлекательности. И так, из сих двух сильнейших страстей: желания наслаждаться и жить вечно в цветущем здоровье, родилась мысль о составлении философского камня

(Lapis philosophorum). Этот камень долженствовал заключать в себе первородные начала всех веществ творения, иметь силу превращать их в желаемое вещество, и изгонять болезни и слабости из тела человеческого, обновлять жизнь и возвращать потерянные силы. Для сего предмета были составлены особенный мистический язык и знаки. Алхимия была целию так называемой Египетской премудрости еще во времена Гермеса, сына Анубисова, от которого она получила прозвание Герметической Науки. В Египте чрезвычайно много было написано об Алхимии, и страсть к ней переселилась в последствии в Грецию и Рим, где ученые старались разбирать смысл иероглифов для отыскания философского камня.

Свирепый и жадный Калигула принадлежит также к числу Алхимиков. Арабы, переселившись в Европу, занимались ревностно сею мнимую Наукою и наконец, во мраке невежества средних веков, она сделалась всеобщим упражнением умов. О всяком разбогатевшем человеке говорили, что он нашёл философский камень, и различные нелепые рассказы до такой степени возбудили страсть к открытию оного, что даже многие из Европейских Монархов занимались Алхимиею. Знаменитейшие из Алхимиков, Парацельс, Роджер Бекон, Василий Валентинус и многие другие, впрочем, великие Философы, заплатили дань невежеству своего времени, и остроумными и правдоподобными софизмами подкрепляли мысль о существовании философского камня. Наконец, раз лившееся повсюду просвещение, познания в физических Науках и открытия в Химии (в чем мы обязаны отчасти Алхимии), удостоверили ученых в невозможности превращения металлов, и отыскании всеобщего лекарства. Знаменитый Калиостро, Шефер и другие шарлатаны, еще в конце XVIII столетия, находили легковверных, но-кажется, что это были последние прорицатели невежества. В наше время — это мнимое искусство уже потеряло доверенность. Философский камень навсегда останется причислен к сказкам, и послужит только доказательством человеческого слабоумия, пылкости воображения и страсти к сверхъестественному. Вот тебе,

любезный друг, в нескольких словах известие о философском камне; но скажи мне, по какому случаю ты пришел меня спрашивать о нем в такую необыкновенную пору, и к чему все это клонится?

— Я буду откровенен с тобою. — отвечал Виллиам: — Слушай! Не получая от родителей моих столько денег, сколько мне нужно на разнообразные удовольствия, я иногда позволял себе наполнять карманы драгоценными аптекарскими материалами из кладовой, куда отец мой часто посылает меня за различными вещами. Вчера, вошедши в кладовую, я заметил, что самый верхний ящик, который был всегда заперт, на этот раз был несколько отворен: любопытство заставило меня заглянуть в него, и вот что я нашел в нем. “Тут Виллиам вынул из кармана небольшой золотой сосудец, закупоренный наглухо и залитый серебром, и показал надпись: *Философский камень*. Эдуард улыбнулся с насмешкою.

—Так и твой благоразумный отец подвержен заблуждениям! —сказал он: — советую тебе поставить сосуд на своем месте, и умолчать об этом случае, который не делает чести уму твоего родителя.

— „Нет! —возразил Виллиам: — я непременно хочу исследовать, что хранится в этом сосуде, подай терпуг, и я тотчас распилю его.

Эдуард знал, что сопротивление было бы излишним; он встал с постели, отыскал инструмент, и чрез несколько минут, сосуд был распилен надвое. Наши друзья нашли в нем кусок черной, лоснящейся массы, твердой как камень.

—Ну что же делать с этим? —спросил смеючись Эдуард.

— Не знаю отвечал Виллиам: —но я отпилю кусочек этого камня, и попробую растопить вместе с каким-нибудь металлом.

Он взял терпуг, и едва успел раза два провести по камню, как вдруг железо зашипело, покрылось густым паром, начало желтеть, и в одну минуту превратилось в золото. Эдуард не верил

глазам своим и был поражен удивлением, а Виллиам в восторге бросился обнимать своего друга, и от радости прыгал по комнате.

—Что скажете теперь господин Ученый? —воскликнул Виллиам.

—Ничего, —отвечал Эдуард: —кроме того, что ваша ученость весьма мало имеет положительного, и что мы -закрыв глаза, ощупью идем в храм природы, куда ни один человек не проник ни взором, ни мыслью. И так мы имеем в руках своих философский камень! —сказал Виллиам: —то есть, богатство и здоровье, следовательно, счастье.

— А добродетель? “возразил Эдуард.

— Что ж мешает нам быть добрыми? —отвечал Виллиам: —надобно быть безумным, чтобы, имея все средства к удовлетворению своих желаний, не быть добрым. Вот тебе рука моя! —продолжал он: —Клянусь тебе, что отныне все будет общим между нами; но требую, чтоб ты хранил тайну и согласился сегодня же выехать со мною из Лондона.

— Куда и зачем? —спросил Эдуард.

—Разумеется, в Париж, в столицу насаждений и вкуса.

—Но этот талисман есть собственность твоего отца, —сказал Эдуард.

—Вероятно, он не имел в нем нужды, когда оставлял его без употребления, и продолжал работать, —отвечал Виллиам. —А в болезнях прибегал к Докторам. Впрочем, я из Парижа напишу к нему, что если ему надобно золота, то я пришлю целый корабль, а если философский камень понадобится ему для здоровья, то пришлю половину. Но я хочу жить, жить весело, наслаждаться, и пользоваться здоровьем. Неужели ты будешь так глуп, —примолвил он: —что не захочешь пользоваться счастьем, которое пришло к тебе так легко?

Эдуард задумался, и его воображению представилось все, что можно сделать с деньгами для пользы Наук, Искусств и

вообще для человечества. Эта мысль преодолела в нем все прочие чувствования.

—Я готов сопутствовать тебе везде, — сказал он.

Друзья ударили по рукам, обнялись и начали готовиться к отъезду.

Они собрали все, что только было металлического в квартире Эдуарда, все старые гвозди, оковку сундуков, ключи, кастрюли, заслонки и проч., превратили все это в золото, сбили обухом в несколько кусков, поехали в Банк, променяли на гинеи, возвратились домой для расплаты с хозяином, пообедали весело в лучшей таверне, и к вечеру уже были на пути к Дувру, куда прибыли ночью, и на другой день переправились чрез канал в Кале.

Во Франции каждый богатый и щедрый Англичанин, какого б он ни был звания, получает прозвание Лорда; Поляк называется Графом, а Немец Бароном. Виллиам, входя в трактир, уронил платок на крыльце; служитель поспешно поднял его, и — с почтением, подал Виллиаму, который наградил его за эту вежливость гинеєю. «Покорно благодарю, Милорд!» —сказал слуга, и с той минуты все начали величать Виллиама этим титулом. При отъезде двух друзей в Париж, трактирные служители передали это название почтальону, который, получив щедрое награждение от Виллиама, рекомендовал его таким же образом своим товарищам на первой станции, и наконец, без дальних справок с паспортами, хозяин трактира в Париже приветствовал Виллиама сим же почтенным званием, и он вскоре прослыл везде Лордом Виллиамом Мерри. Игривое воображение Французов прибавило к тому, что богатый Лорд одержим был сплином в Англии, и предпринял путешествие по Европе с своим Доктором для излечения сей болезни, которая прошла сама собою под благодетельным небом Франции. В некоторых обществах даже явно спорили о причинах, споспешествовавших исцелению лорда Мерри: одни говорили, что он обязан этим влиянию прекрасного пола, другие утверждали, что Французская кухня

произвела сию перемену, иные приписывали это действию пенистого шампанского и Парижским спектаклям. Но все соглашались, что невозможно быть веселее, любезнее богатого и щедрого Лорда Мерри, который почитался в Париже фениксом между Англичанами.

Виллиам, с своей стороны, не упускал случая заслуживать благосклонность Французов и внимание большого света. Он нанял огромный, богато меблированный дом, принял множество слуг, наполнил конюшни лошадьми, давал балы, загородные праздники, концерты, а что важнее, делал богатые подарки и давал в займы деньги. Виллиам водился с светскими людьми и угождал женщинам, а Эдуард познакомился со всеми лучшими Литераторами, Художниками и Учеными, покупал книги, карты и статуи, давал деньги за себя и, за своего друга на все предприятия по части Наук и Художеств, и угощал досыта сынов Аполлона. Имена двух друзей гремели в свете и на Парнасе: золотые ключи весьма скоро отворили им двери в храм известности.

Таким образом промчался целый год, который показался Виллиаму и Эдуарду одним днем. Рассеянность первого и занятие другого не давали им времени опомниться. Одно только беспокоило Виллиама, а именно то, что он не получал никакого ответа от отца, на несколько своих писем. Наконец, в начале второго года, Виллиам получил письмо из Лондона; он позвал немедленно друга своего в кабинет, и они прочли следующее:

«Любезный сын!

Получив от тебя первое твое письмо, в котором ты уведомлял меня, что ты нашёл в моей аптеке философский камень, я почел тебя сумасшедшим, и пролил слезы сострадания над твоею участью. Отъезд твой во Францию, с почтенным Доктором Эдуардом Вейзом, считал я средством, которое, употребил друг твоего детства, к твоему излечению. Несколько твоих писем одинакового содержания, полученных мною в течение года, не удостоверили бы меня в твоём здравом рассудке, если б свидетельство нескольких почтенных наших единоземцев,

возвратившихся из Парижа, не убедило меня, что ты не расстроен в уме. С изумлением известился я о том, что ты пользуешься несметным богатством, живешь роскошно, и удивляешь всех своею щедростью. Не постигаю, каким образом ты приобрел сии сокровища. Мысль, что ты мог их достать непозволительными средствами, ужасает меня. Как бы то ни было, но прошу тебя не смеяться надо мною, уведомляя о философском камне, в существование коего я не верю, и потому никогда не посвящал моего времени на тщетные изыскания баснословной вещи. Если источник твоего богатства есть тайна, храни ее; но не обманывай отца пустыми сказками. За предложение твое прислать мне золота, благодарю; но я не имею в нем нужды, приобретая трудами моими все необходимое к безбедному содержанию моего семейства. Мать твоя благословляет тебя, равно как и я, и мы нетерпеливо желаем прижать тебя к сердцу, если ты невинен. Дружба твоя с Эдуардом Вейзом удостоверяет нас в этом.' Здесь носят различные слухи на твой счёт: одни говорят, что ты нашёл клад, другие, что ты выиграл несколько миллионов франков в лотерею. Наслаждайся жизнью, если ты поставляешь свое счастье в удовольствиях большого света, но — не забывай добродетели. Прощай.

Джон Мерри.»

Письмо сие привело двух друзей в удивление. Они терялись в догадках, и никак не могли постигнуть, каким образом философский камень попал в аптеку, без ведома отца Виллиамова. Но как сей талисман находился в их руках, то они решились пользоваться им, не заботясь об источнике его происхождения.

Но были ли счастливы два друга в сем новом для них состоянии?

Без сомнения, пользуясь богатством, здоровьем, имея ум и доброе сердце, нельзя быть несчастным. Но множество наслаждений и быстрое удовлетворение всех желаний обременяли их существование до такой степени, что ни нравственная, ни

физическая природа не могли выдержать сильного перевесу однородных чувствований, и душа их, хотя еще не охладела, но, так сказать, истомилась от множества ощущений. Философский камень поддерживал их физические силы, но не мог истребить какой-то усталости в теле, требующем непременно умеренного труда и отдохновения, чтоб быть в полной своей свежести, и ослабевающим от сильного движения, равно как и от бездействия.

Наши друзья сыпали деньги, но не благотворили; им недоставало времени отыскивать истинно несчастных и нуждающихся. Благодения, расточаемые без разбора и на удачу, не приносят того душевного наслаждения, какое доставляет добро, сделанное с нежным соучастием к страждущему человечеству. Искусственная благодарность приторна и обременительна. Одним словом, два друга были счастливы по расчётам ума, но не сердца. Их желания и страсти слишком были раздроблены, чтоб сильно действовать на душу, и занимать ее. Для этого надобно, чтобы одна господствующая страсть заглушала все прочия, и чтобы она руководила жизнью. Светские прелестницы и модные друзья, соединенные узами взаимных наслаждений и выгод, не могли произвести глубокого впечатления и сильной привязанности в Виллиаме. Балы и другого рода увеселения только ускоряли полет времени, и — удовлетворяя тщеславию и прихотям, не оставляли после себя никаких сладостных воспоминаний. Эдуард, в своих сношениях с Учеными и Художниками, также удовлетворял более потребностям ума, нежели сердца. Отвлеченные истины, остроумные системы и подражания природе не могут наполнить пустоту сердца, которое создано для человеколюбия, для любви и дружбы.

Виллиам, который всегда думал, что счастье измеряется числом наслаждений, искал их повсюду с самою расчетливою утонченностью. Иногда, в проливной дождь, он нарочно бегал по улицам, чтобы, промокнув до костей, после того ощущать удовольствие в теплой комнате пред камином, за чашей крепительного питья. Однажды, в сильную грозу, он вышел вечером на улицу, и при повороте заметил женщину, которая, не

взирая на буйство стихий, неподвижно стояла близ фонаря и горько плакала. Виллиам поспешил к ней, взглянул на несчастную, и какой-то неизвестный дотоле пламень пробежал по всем его жилам, и одушевил его новым чувством. Он во всю жизнь не видал такой красавицы. Девушке было не более шестнадцати лет; на лице её изображались кротость и добродушие; в глазах пылал пламень чувствительности; голос её проникал в душу: она в нескольких словах объяснила Виллиаму свою историю.

— Отец мой был купцом, — сказала она: — но разорившись от непредвиденных обстоятельств, умер с отчаяния. Мы с матерью питались трудами рук наших, но болезнь её лишила нас всех средств к содержанию себя. Мы продали наше небольшое имущество, чтобы платить за лекарства, но сегодня кончились последние наши деньги. Матушка лежит целый день без пищи, и я, не зная, что начать и как помочь горю, решила остановиться на улице первого порядочного по виду человека, и просить его помощи именем человечества.

При сих словах девушка снова залилась слезами.

— Утештесь, — сказал растроганный Виллиам: — благодарите Бога, что вы встретились со мною, а не с кем другим, который мог бы употребить во зло вашу доверенность. Отныне все ваши несчастья кончились. Ведите меня к вашей матушке.

Виллиам взял за руку Алину (так называлась красавица) и поспешил к её жилищу, теряясь в счастливых мечтах и надеждах.

Прошед через несколько улиц, Алина вошла в высокий дом, и по узкой, едва освещённой лестнице, провела его под чердак, в свою квартиру. Две комнатки без всяких украшений представляли картину бедности — но чистота и порядок предупреждали в пользу хозяев, и доказывали их рачительность и трудолюбие.

— Матушка — сказала Алина, вводя Виллиама в другую комнату, где лежала больная на кровати с занавесью: — повинуюсь твоей воле, я прибегнула к состраданию людей, и вот этот добродетельный человек решил последовать за мною, чтобы осушить наши слезы.

— Бог да наградит его, моя милая! — сказала мать слабым голосом: — у нас нет другого прибежища.

Виллиам сел при постели больной, начал расспрашивать о её недуге и обещался вскоре исцелить расслабленную. Он потребовал воды, заперся в другой комнате, вынул из ящичка философский камень, (который он всегда носил на груди), положил его в графин, и вода тотчас закипела и запенилась (как Зельцерская вода с примесью сахару и шампанского вина). Приготовив таким образом целебное питье, Виллиаме велел больной выпить эту воду к завтрашнему утру. Не желая утруждать своим присутствием несчастных, он вышел, обещавшись прийти на другой день к полудню- и выходя оставил на столе кошелек с золотом. Я верю, что между людьми есть некоторый род магнетического влечения, которое легче чувствовать нежели истолковать. Называйте это симпатией или чем угодно, — но оно существует. Почему некоторые черты лица, звуки голоса взоры, ухватки сильно поражают нас и, так сказать обворожают, когда на других не производят никакого впечатления? От чего безнадежная или отвергнутая любовь тлится в сердце, вопреки рассудку? Вы скажете: от расстроенного воображения. Нет! какая-то сила неволью покоряет нас, по какому-то внутреннему чувству действует на все нравственные наши способности, неисповедим своим могуществом приковывает нас к милому предмету, беспрестанно рисует его яркими красками в нашем воображении, извиняет в нем все слабости и даже преклоняет к добродетели — отдаляя от мыслей грубую чувственность. В сем состоянии души, воображение действует только вспомогательным образом, и всегда подчинено внутреннему чувству, которое обнаруживается даже физическими признаками: трепетанием сердца, изнеможением, отвращением от первых жизненных потребностей, переменою цвета лица и проч. — Нет! любовь не есть выдумка расстроенного или изнеженного воображения, как утверждают светские сластолюбцы и эгоисты. Это врождённое чувство, жажда души чувствительной, доброй: оно появляется равно в шумных

столицах Европы, в знойных пустынях Африки, и в холодных лесах Северной Америки.

Виллиам, вышел на улицу, долго не мог опомниться от всего виденного и слышанного. Он без всякой цели бегал по мрачным улицам, не чувствовал ни сырости ни дождя, ни усталости: голос Алины беспрестанно звенел в его ушах; образ её представлялся ему при каждой мелькающей тени; он ничего не думал, не мог сообразить и связать между собою двух мыслей; машинально передвигал ноги, и наконец сел в первый попавшийся навстречу фиакр, и велел везти себя домой.

Уже было за полночь. Виллиам насилу позволил своему камердинеру раздеть себя, велел ему удалиться, сел в большое кресло и задумался.

Камердинер тотчас известил Эдуарда о странном положении Виллиама, и верный друг поспешил к нему, предполагая какой-нибудь неприятный случай. Виллиам едва приметил Эдуарда; сухо с ним поздоровался и молчал.

Эдуард. Что с тобою сделалось, любезный друг? Что смущает тебя? Скажи, открой мне свое сердце, и раздели со мною печаль свою, как ты разделяешь свое счастье.

Виллиам, горько усмехнувшись, отвечал:

—Счастье! Я не знал его до сегодняшнего вечера. Душа моя была пуста, одно тщеславие и суетные, мнимые наслаждения мимоходом занимали ее. Я жертвовал временем и золотом для других, бродил, как слепец во мраке, и не знал, где найти истинную радость, истинное наслаждение: — оно в любви, друг мой, в любви возвышенной, чуждой всяких низких расчетов самолюбия, светских приличий, языка утонченности и чувственности. Я сожалею, что потерял столько времени для счастья не зная истинной любви: я сегодня только ожил...

Эдуард. Ты влюбился: могу ли спросить тебя, в кого, и где?

Виллиам рассказал ему свое приключение со всеми прикрасами сильного чувства и разгорячённого воображения.

Эдуард. Из повествования твоего вижу, что ты не уверен еще, свободно ли сердце Алины, и можешь ли ты надеяться снискать её любовь. Что же ты намерен делать?

Виллиам. Осыплю ее благодарениями и буду стараться заслужить взаимность, мою любовью, почтительностью, нежностью; женюсь, возвращусь в отечество поселюсь в деревне, далеко от шумного и пустого света, буду заниматься науками, благотворением — и буду счастлив.

Эдуард. Дай Бог! — Впрочем я не предвижу невозможностей.

Виллиам. Как бы я желал, чтобы и ты, друг мой, сыскал себе милую подругу, поселился в моем соседстве, и дружбою твою увеличил мое благополучие!

Эдуард. Я верно не расстанусь с тобою, но признаюсь, я не создан для любви. Я опасюсь этого пылкого, беспокойного чувства, которое беспрестанно тревожит наше существование. Я уважаю женский пол, и уверен, что он гораздо способнее мужеского ко всем высоким ощущениям, не находя на пути к совершенству ни преград честолюбия, ни славы, ни даже корысти, Имея друга в тебе, я старался найти друга и между женщинами, и нашёл это сокровище. Дружба есть моя стихия: она не подвержена бурям и потрясениям. Но дружба с просвещенною и добродетельною женщиною имеет необыкновенную прелесть. Женская пронизательность, детское простодушие, которое не оставляет их даже при высоком образовании, нежное соучастие, столь близкое к любви, (ибо женщины всегда чувствуют сильнее нежели мужчины), все это обворожает меня и привязывает к одной милой женщине, с которою я дружен. Муж её, добрый человек, любит меня и уважает, и, хотя его общество не весьма занимательно, но оно сносно. За то друг г-на Сантиман, человек с отличными талантами, необыкновенным добродушием и кротостью, привязывает меня к себе, и оживляет наши беседы пиитическим своим воображением и детскою невинностью. Одним словом, я совершенно счастлив и доволен своею участью в

недрах этого доброго семейства, и провожу время с величайшею приятностью.

Виллиам. Слава Богу! Желательно чтоб и я мог тем же похвалиться. С завтрашнего дня я начинаю новую жизнь, или вступаю на трудную стезю к счастью.

Друзья пожелали себе взаимно доброй ночи, и расстались.

На другой день Виллиам рано вышел со двора, нанял небольшой, хорошо меблированный дом с садом, в предместье Сен-Жермен, препоручил одному из своих комиссионеров, которыми изобилует Париж, нанять служителей, купить все нужное для хозяйства и для туалета, а сам пошел к Алине. Благословения и чувства благодарности ожидали его при сей первой встрече. Симпатическое лекарство философского камня в одну ночь излечило недуг г-жи Ваните, и прекрасная Алина, в излиянии радости и восторга, казалась еще прекраснее влюбленному Англичанину. Виллиам в кратких словах изложил свои намерения на счет будущей участи матери и дочери.

—Делать добро, — сказал он: —есть первая потребность моей души, и я почту себя благополучнейшим человеком в мире, составив счастье столь милого и доброго создания, как Алина. Я ни чего от вас не требую, кроме... дружбы —примолвил он, заикаясь и посматривая покрасневшись на Алину, которая также покраснела и потупила глаза в землю. —Я хочу быть нежным другом, братом Алины, и вашим сыном, — продолжал Виллиам: —делиться с вами богатством, которым я обязан слепому случаю.

— Я совершенно полагаюсь на вате великодушие сказала г-жа Ваните: —поверяю вам судьбу моей дочери, и повинуюсь вашей воле: делайте, что хотите.

Чрез несколько часов бедная вдова с своею дочерью переселилась в нанятой Виллиамом дом. Полдюжины швей и модных торговок снабдили уборную Алины всеми причудами человеческого тщеславия, и одели ее как куколку. Она, глядясь в зеркало, даже плакала от радости, и сама удивлялась своей красоте. Мать также не забыла о капотах и чепчиках, вероятно из

приличия, ибо я не верю, чтобы сорокалетняя женщины наряжались для увеличения своих прелестей. Щегольской экипаж, ловкая прислуга, искусный повар, ничего не было забыто в сем новом жилище, и г-жа Ваните, с большою расторопностью и умением, принялась за управление хозяйством.

Мы выше упомянули, что муж г-жи Ваните был купец, который разорился и умер с отчаяния. Историю его можно рассказать в весьма немногих словах. Он начал служить мальчиком в лавке одного честного купца, после того сделался приказчиком; собрал капитал прилежанием, экономией и остатками от барышей; начал торговать от себя, женился, был два раза под судом за контрабанду, и два раза оправдан; разбогател, вошел в связи с людьми высшего состояния, начал давать обеды, балы и ужины, зазнался, не радел о делах, разорился и отправился на тот свет беднее, чем вошел, т. е. умер, оставив после себя долги. Г-жа Ваните любила также жить хорошо и подбивать светских людей, которые за вкусные обеды говорили ей в глаза сладкие комплименты, а за глаза сочиняли на её счет эпиграммы. С согласия Виллиама, она распустила слух, будто получила неожиданное наследство после смерти дальнего родственника, и как она не подписывалась на векселя своего мужа, то заимодавцы оставили ее в покое. Множество из прежних её знакомых снова появилось в её доме с изъявлением радости, что после десятилетних тщетных поисков, наконец успели отыскать добрую, умную и всегда прекрасную г-жу Ваните.

Алина была ребенком в то время, когда несчастье постигло её отца. Она никогда не наслаждалась выгодами богатства, и так, новая сия жизнь казалась ей очарованием! Несколько месяцев, посвященных искусству приятного произношения, танцеванию и приведению в порядок общих понятий о науках, полученных ею в народной школе, которые, скажу мимоходом, очень хорошо устроены во Франции привели Алину, от природы остроумную, в состояние казаться отлично воспитанною. Красота её затмевала все маленькие недостатки, и Алина вскоре прослыла совершенством своего пола. Виллиам, почти безвыходно жил в

доме г-жи Ваните, утешался своим творением, (так он называл Алину), всякой день более влюблялся в нее, и в конце года намеревался просить её руки. Во все это время, он обходился с нею, как с милою сестрою, и старался заслужить её любовь угождением и благородным поведением. Эдуард также часто бывал у г-жи Ваните, и в полной мере оправдывал выбор своего друга. Алина весьма нежно и ласково обходилась с обоими друзьями, а с Виллиамом поступала с такою дружескою откровенностью и с таким участием, что Виллиам, впрочем, красавец, нимало не сомневался, что он любим. Приятные надежды вскоре должны были увенчаться прочным счастьем; он уже писал к своим родителям, и ожидал только ответа чтобы вступить в брак.

Однажды Алина, прогуливаясь в саду с Виллиамом, вдруг остановилась, покраснела и с робостью просила помочь ей в одном важном случае. Виллиам обещал с первого слова исполнить все, что от него зависит.

Алина. Из ложного стыда, мы не хотели сказать вам, Милорд, что у нас есть родственник, который служит унтер-офицером в полку Королевских карабинеров. Этот молодой человек, впрочем, отличного поведения и способностей, горяч и вспыльчив до крайности. Он имел несчастье наругать своему начальнику, и за это содержится под строгим арестом. Если вы, Милорд, своим влиянием не исходатайствуете ему прощения, то он будет сослан в колонии или на галеры. Спасите несчастного!

Виллиам. Зачем же вы мне прежде не сказали об этом, добрая моя Алина? Сей час лечу, употреблю все мои связи и знакомства....

Алина. Великодушный, милый Виллиам, вы мне даруете жизнь. Но сделайте милость, не говорите ничего матушке о том, что вы знаете даже о существовании двоюродного моего брата Кассту. Старые люди имеют иногда свои капризы, которые должно уважать. Она мне не велела вам сказывать, и это могло бы ее огорчить.

Виллиам. Не скажу ей ни слова, и благодарю вас за доверенность. Прощайте.

Виллиам поцеловал руку Алины, и она в первый раз поцеловала его в лицо, в восторге признательности и в полноте чувствований. Он был вне себя от радости, и тотчас поспешил к одному своему приятелю, Полковнику, посоветоваться, каким образом освободить унтер-офицера Кассту от угрожающего ему наказания.

Полковник сказал Виллиаму, что он знает унтер-офицера Кассту, славного солдата и доброго малого, но—по несчастию вспыльчивого и забияку. Полковник советовал также Виллиаму, не теряя времени, прямо отправиться к Главной Судье, и лично просить его милости. Когда Виллиам возразил, что он не знаком с Судьею, и что хочет употребить к ходатайству людей известных в свете, Полковник отвечал с улыбкою:

—Не опасайтесь, Милорд! вас здесь знают более, нежели заслуженных соотечественников, и ваши обеды и ужины доставили вам более известности в большом свете, нежели мне мои раны и отличия по службе, а моему брату, его, сочинения, несколько раз перепечатанные. Поезжайте прямо к Главной Судье: он вам верно не откажет в такой безделице.

Полковник говорил правду. Богатство есть лучший паспорт в свете. Я заметил в продолжении моей жизни, что богатый человек, старик или юноша умный, или невежда, всегда лучше принимается в доме нежели человек с достоинствами, с дарованиями, но не в случае. Различные причины заставляют даже самых почтенных и умных людей обходиться с богатыми, с каким-то особенным благоволением. При первой встрече, мы предполагаем в богаче отличное воспитание, потому что он имел более средств к получению оногo. Если же мы обманываемся на этот счет, то другие доводы побуждают нас к снисхождению. Одни желают быть приглашёнными в дом богатого, предполагая, что будут там в хорошем обществе; другие для удовлетворения своих гастрономических прихотей; третьи, при знакомстве с богатыми,

помышляют о своих дочерях или сыновьях наконец многие обходятся с богачами весьма осторожно, соблюдая пословицу: береги денежку на черный день, и предполагая когда-нибудь получить помощь в непредвидимых обстоятельствах. Еще один случай заставляет невольно людей ласкаться к богачам: они везде приняты, их везде слушают, не перерывая разговора, и они могут иногда утвердить хорошее или дурное о нас мнение в обществах. Предоставляю читателям рассудить, справедливо ли я думаю.

Лишь только Виллиам появился у крыльца Главного Судьи, швейцар, взглянув на богатый экипаж, тотчас отворил настежь двери, низко поклонился и звоном колокольчика известил слуг в передней о прибытии значительного посетителя. Швейцар получил за это луидор, и два раза поклонился еще ниже, прибавив колокольного звону. В передней, слуги засуетились, бросились толпою отворять двери в залу, где предстал услужливый камердинер, и предложил Виллиаму доложить о нем не в очередь. Виллиам едва успел окинуть взором множество просителей, смиренно стоявших и сидевших кругом стен и в амбразурах окон, как камердинер попросил его в кабинет, где Главный Судья слушал читавшего Секретаря, занимаясь между тем своим туалетом.

—Извините, Милорд, — сказал Судья: — что я вас принимаю не одетый, но ранний ваш визит заставляет предполагать какое-нибудь дело, и полагаю я не хотел заставить вас дожидаться. Садитесь, и скажите мне, чем я могу служить вам.

Виллиам уселся в креслах, а Судья между тем шепнул что-то на ухо своему камердинеру, и снова обратился к Англичанину, прося его рассказать свое дело. Виллиам в кратких словах изложил причину своего прибытия, и лишь только кончил речь, двери в боковой комнате отворились, и две взрослые дочери Главного Судьи вошли в кабинет поздороваться с папенькой и просить позволения прогуляться. Судья не забыл представить своих деток Милорду Мерри, просил его посещать дом и с первого слова обещал освободить унтер-офицера Кассту от всякого наказания, в уважение прежних его заслуг, предоставляя Виллиаму

исходатайствовать у обиженного начальника прощение обиды. Виллиам откланялся Судье, который проводил его до дверей, повторяя приглашение к себе в дом; и радуясь случаю, доставившему ему знакомство с почтенным Лордом. Просители привстали с мест своих, когда Виллиам проходил чрез залу, камердинер подал ему плащ и проводил на самый конец лестницы, где несколько луидоров вознаградили его труды, а швейцар так громко воскликнул: «Лорда Мерри карету!» что все прохожие оглянулись. Хорошая вещь золото! подумал Виллиам, сев в карету, и велел везти себя к Полковнику.

По радостному лицу Виллиама, Полковник тотчас догадался об успехе его ходатайства. Когда же Виллиам, рассказывая о ласковом приеме Судьи, упомянул о нечаянном приходе в кабинет двух взрослых его дочерей, Полковник громко засмеялся.

—Эта нечаянность, —сказал он: —верно бы не случилась в присутствии моем или другого бедного просителя; заметьте: все нечаянные встречи красавиц или знакомства с взрослыми девицами, более случаются с богатыми, нежели с бедными. Но как теперь дело состоит только в прощении обиды, то будьте спокойны, Милорд: я беру это на себя.

Виллиам, поблагодарив Полковника, поспешил к своей возлюбленной Алине с сим радостным известием: она была вне себя, и никогда не была так мила, так ласкова, как в этот день.

На другое утро, едва Виллиам встал с постели, камердинер доложил ему, что какой-то военный желает с ним vedetsya. Виллиам велел просить: вошел видный и статный мужчина необыкновенного роста, настоящий Геркулес, в гвардейском мундире, и объявил, что он унтер-офицер Кассту, освобожденный от наказания ходатайством Виллиама. Кассту, в коротких выражениях, поблагодарил Виллиама за оказанную милость, не упоминая вовсе о своей прекрасной родственнице: это привело в

смущение Виллиама, который с удивлением и беспокойством осматривал с головы до ног юного воина, и не успел опомниться, когда Кассту уже откланялся и был далеко, на улице.

Различные беспокойные мысли теснились в голове Виллиама, на счет родственной привязанности Алины к гвардейскому Геркулесу. Он решил пойти к ней, и немедленно предложить ей свою руку.

Разные дела удержали его до полудня: в эту пору он весьма редко посещал Алину, и, хотя не надеялся найти ее дома, но потел на удачу.

Привратник сказал ему, что г-жа Ваните уехала со двора, а барыня пошла в сад с книгою. Виллиам не велел о себе докладывать, вошел в темную алею и увидел — Алину, прохаживавшуюся под руку с унтер офицером Кассту. Это еще не беда, подумал Виллиам: он вероятно пришел благодарить свою кузину. Между тем они вошли в беседку, окруженную густым кустарником, и простительное влюбленному любопытство подстрекнуло Англичанина. Он тихонько подкрался к беседке, и услышал следующий разговор.

Кассту. В первом движении моего гнева, я решил вызвать на дуэль этого Англичанина и убить его. Ходатайство его по моему делу не налагает на меня никаких обязанностей: он сделал это для тебя, а не для меня.

Алина. Ах пожалуйста не убивай этого доброго Виллиама! Верь, что я всегда люблю тебя, и никогда не перестану любить. Но ты должны быть ему благодарны за избавление нас от нищеты, за доставление моей матери, на старости, спокойной жизни.

Кассту. А тебе нарядов! Не правда ли? ...

Алина. Поверь, что богатство не прельщает меня, но матушка....

Кассту. Твоя матушка разорила своим чванством твоего отца, и готова отдать тебя первому богатому Жиду, чтобы удовлетворять свои пустые прихоти.

Алина. Из любви ко мне, не говори дурно о моей матушке.

Кассту. Согласен. Но скажи, что же мне остается делать? Любовь, отчаяние терзают мою душу. Алина! —или я, или Англичанин должен погибнуть! Я не могу жить, когда ты будешь принадлежать другому. Это дело решеное....

Алина. Ах, живи, милый Виктор! живи для моего счастья верь, что я также не переживу тебя... Верь, что я никогда не променяю тебя на этого холодного Англичанина с его проклятым золотом! “

Виллиам не мог слушать более; он столь же тихо пробрался назад через кустарники, почти без дыхания выбежал на улицу, в беспамятстве выбежал домой, и решился — застрелиться.

Он сперва вознамерился сделать духовное завещание: отправить философский камень к родителям, чрез друга своего, Эдуарда, который бы мог между тем наделать для себя золота и целебной микстуры на всю жизнь — и дать приданое своей Алине, желая наказать ее своим великодушием. Лишь только он взялся за перо —Эдуард вошел в комнату.

Эдуард. любезный друг! объявляю тебе, что нам должно расстаться. Я завтра же оставляю Париж: он мне несносен. Здесь живут не люди, а змеи.

Виллиам. А твоя несравненная г-жа Сантиман, а добрый её муж, а простодушный Поэт? — Неужели ты обманулся в дружбе?

Эдуард. Не хочу обременять тебя объяснениями; довольно того, что меня обманули, и манили призраком, дружбы за мое золото Г-жа Сантиман, ловкая кокетка, промышляет своею чувствительностью, так как другие кокетки своими прелестями. Муж её — изверг, а брат—тонкий плут, употребляющий притворное простодушие вместо ходячей монеты.

Виллиам. Поздравляю тебя! Я также обманулся в любви. Мое снисхождение и почтительность названы холодностью, мое золото прокляли.... Завтра ты можешь делать, что тебе угодно. Мне ненавистен Париж и люди: оставь меня одного, мне надобно написать несколько писем.

Изготовив письма к родителям, к Алине и к другу своему Эдуарду, Виллиам взял пистолет и пошел за город. Уже было шесть часов вечера: он ещё ничего не ел. Сильное движение несколько успокоило его душевное смятение и привело кровь в правильное кругообращение. Прежде, чем застрелиться, Виллиам вздумал пообедать, вошел в бедный деревенский трактир и потребовал лучшего вина, и кое-чего перекусить. Трактир был пуст; только на другом конце длинного стола сидел пожилой человек и с аппетитом ел кусок сыру, запивая водянистым пивом. Не смотря на ветхость одежды и все признаки бедности, физиономия этого человека имела что-то выразительное и привлекательное. Душевное спокойствие и веселость изображались в его чертах, и приятные шутки заставляли смеяться семейство трактирщика. Виллиам, которого задумчивость несколько рассеялась обратил внимание на пожилого человека и предложил ему стакан вина.

—Благодарю вас, Милорд, —сказал незнакомец, протягивая руку за стаканом: —и желаю, чтобы это доброе вино рассеяло вашу грусть; вы мне кажетесь сегодня не очень веселы.

— А разве вы меня знаете? — спросил Виллиам.

—Кто не знает в Париже богатого и благодетельного Лорда Мерри?

— Можно ли знать, кто вы таковы? — спросил Виллиам.

— Я был ничто, теперь кое-что.

— Как это понимать?

— То есть, я был некогда богат, невежа и своенравен, — отвечал незнакомец: —ничего не делал, не знал ни людей, ни света, — думал, что чем более расходов, тем более наслаждений, скучал, промотался — и сделался человеком. Теперь я знаю несколько десятков ремесел, из которых каждой может прокормить меня; узнал людей, и сделался весельчаком из самого задумчивого; свободен, спокоен, не думаю о завтрашнем дне, потому что не составляю никаких проектов, и легко нахожу работу, никого, не обманывая и трудясь усердно: одним словом, я

— счастлив, сколько можно быть счастливым в обществе людей, руководствующихся старостями и предрассудками. Ваше здоровье, Милорд! — примолвил незнакомец, и осушил стакан.

Виллиам устыдился, что бедняк называет себя счастливым, а он, имея философский камень и едва вступив на поприще жизни, хочет застрелиться.

— Воля ваша, — сказал Виллиам: — но я не доверяю вашему счастью.

— От того разве, что это вещь условная, отвечал незнакомец: — и что всякой судить о счастье сообразно с своими понятиями, прихотями и желаниями.

— Знали ли вы в жизни любовь и дружбу? — спросил Виллиам.

— Пока я был, богат— отвечал незнакомец: — я гонялся за этими милыми призраками жизни, но обманывался и не находил, потому что не там искал, где надобно, т. е. в людях, которые были или лучше, или хуже меня. Наконец и любовь, и дружба сами нашли меня, когда я сделался достойным вмещать их в мое сердце: первая улетела с летами, а последняя осталась для утешения моей старости. Но я вижу, Милорд, что вы обманулись в этих чувствованиях: примите это за урок к достижению опытности, и утешьтесь. В ваши лета еще можно многого надеяться.

— Я чувствую к вам истинное уважение, — сказал Виллиам: — и постараюсь приобрести вашу дружбу. Вы бедны, я богат, позвольте мне на первый случай поделиться

Виллиам сунул руку в карман, — но незнакомец приблизился к нему и остановил это движение.

— Вот первая ошибка в снискивании дружества, — примолвил он, улыбаясь: — вы хотите купить дружбу, хотите при первой встрече, обременить меня благодеянием, и не думаете, что тем уничтожите равенство между нами, первое условие дружбы, которая рождается от согласного образа мыслей и чувствований, не смотря на различие характеров; утверждается опытами

бескорыстной привязанности, и зреет взаимным снисхождением и безрасчетными одолжениями.

Виллиам не мог ничего возразить и сказал: —Ваша правда.

Незнакомец продолжал: —Вероятно вы таким же образом начали искать любви и дружбы в свете, и так не мудрено, что вы обманулись.

Тут Виллиам не мог более преодолеть своих чувств: он бросился на шею к незнакомцу, залился слезами, и воскликнул:

—Я не знаю вас, но чувствую ваше превосходство и мудрость. Я и друг мой Эдуард, умный, ученый, но неопытный, мы оба имеем нужду в путеводителе на трудном поприще к счастью: будьте отцом нашим!

Незнакомец, казалось, тронулся сим нечаянным порывом пылкой души Виллиама; но он снова принял свой веселый вид и сказал:

—Можно ли вам не обманываться, когда вы так легко наделяете своими чувствованиями и своим золотом? Вы не знаете меня, Милорд!

—Ваш ум, ваша опытность... —возразил Виллиам.

—Могут быть удобнейшими средствами к обману. — отвечал незнакомец. —В людях надобно прежде всего икать сердца, ибо если предпочитать ум доброте душевной, то математическое сочинение или какая-нибудь философская система может заменить вам друга. Но на этот раз, вы не обманулись: я полюбил вас, и хочу быть вашим другом, дайте мне руку — но без золота. Первое условие нашего союза: не предлагать мне ничего; второе, откровенность. Вы помоложе, должно начинать с вас: скажите, что привело вас к мизантропии?

Виллиам рассказал ему свое приключение с Алиной, и разрыв друга своего Эдуарда с г-жею Сантиман и её фамилией. При конце своего повествования, он вынул из кармана пистолет и, положив его на столе, сказал:

— Вот чем я вознамерился изгнать несчастную любовь из сердца, и наказать себя за излишнюю доверчивость к роду человеческому.

Незнакомец хладнокровно взял пистолет, отворил окно и бросил его в пруд.

— Не судите по нескольким особам о роде человеческом, не наказывайте себя за ошибку, но старайтесь загладить ее и обратить в свою пользу. Извините меня, Милорд, но ваша история мне кажется более смешною, нежели жалкою: это сюжет для Водевиля, а не для плачевной Драмы. Что же касается до мудрого вашего друга, Доктора Эдуарда, то я очень рад, что он исцелится от своих философических гипотез. Требовать от женщины столь возвышенной, столь твердой дружбы, как от образованного и чувствительного мужчины, есть то же, что искать меду столь твердого как мрамор. Женское воспитание, образ жизни, положение в свете, физическое устройство, все удостоверяет нас, что женский пол должен иметь другое назначение в обществе. О любви не говорю ни слова, — но она не покушается: — вот все, что могу вам сказать на первый случай.

Незнакомец предложил Виллиаму проводить его в город. У заставы они расстались.

— Я обязан вам взаимною откровенностью, — сказал незнакомец: — Историю моей жизни я рассказал вам в нескольких словах; что же касается до имени, то меня все называют Чудаком или отцом Иваном; спросите обо мне в первой книжной лавке, в лучшем модном магазине, на бирже или на рынке, вам лучше опишут меня, нежели я сам. К тому же мне некогда: я должен навестить больного моего приятеля — извозчика. Завтра я зайду к вам. с£

Хотя Виллиам не утешился, но по крайней мере успокоился и раздумал застрелиться. В тот же вечер он объявил Эдуарду обо всем случившемся с ним и о новом своем друге Чудаке. — Эдуард, обманувшийся в дружбе, и зная пылкость Виллиама и его легковерие, не поверил всему на счет мудрости

незнакомца, но не менее того желал узнать его и поблагодарить за утешение друга своего Виллиама.

Два друга провели ночь весьма беспокойно, сооружая планы в будущем и жалея о прошедшем. Поутру, Виллиам пригласил Эдуарда прогуляться пешком и разведать о Чудаке. Они вошли в знаменитую книжную лавку.

—Знаете ли вы отца Ивана? —спросил Виллиам книгопродавца.

—Как не знать Чудака! —отвечал купец: —Я обязан ему большую часть моего благосостояния. При всяком важном предприятии, я прибегаю к его советам, и ни разу еще не обманулся. Я отдаю ему на рассмотрение рукописи, которые намереваюсь купить у Гг. Сочинителей, и он в нескольких словах предсказывает мне успех или неудачу. Если вам угодно видеть образчик его суждений, посмотрите, вот несколько рукописей с его замечаниями.

Книгопродавец показал несколько огромных тетрадей, на которых написаны были карандашом лаконические рецензии. «Рукопись *No.1*: Глупый Роман в котором нет цели, не видно познания сердца человеческого, слог напыщенный, наполненный гиперболами и неологизмами; но происшествия запутаны, и возбуждают любопытство; много ужасов и лести женскому полу, много идей ложных, но лестных для богатых людей, которые в состоянии купить книгу. Печатайте! — Рукопись *No. 2*. Философический трактат, где изложены великие, но горькие истины. Что-бы оцепить достоинство этой книги, надобно мыслить и соображать, надобно учиться. Честь и слава Автору — для книгопродавца нет выгод. Рукопись *No.3*. Политическая диссертация, в которой нет ни одной новой мысли, ни одного высокого чувствования, но много брани, колкостей, острот против господствующей партии. Печатайте! — Связка рукописей под *No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*. Теория музыки, Теория стихотворства, Теория правильного произношения Французского языка, Теория Авторства, Теория живописи, Теория ваяния, Теория

танцевального искусства и множество других Теорий. Печатайте скорее, чтобы с первыми кораблями отправить в чужие края. В Париже вы не продадите ни одного экземпляра: здесь любят практику, а за рубежом Франции многочисленные легионы знатоков раскупят эти книги чтобы блистать в обществах техническими выражениями и готовыми фразами об Искусствах. — Рукопись *No 11*. Чувствительный трактат о счастье нежного сердца, написанный восточным слогом, наполненный выписками из Стерна и Канта, Ламантина и Лагранжа. Ничего не знаю глупее; но чем глупее, тем милее: печатайте! — Рукопись *No 12*. Философская История рода человеческого: Автор достоин бессмертия, но это пища слишком питательна для слабых желудков и произведет спазмы. Поцелуйте от меня Автора—и не печатайте.»

—Видите ли теперь, кто таков отец Иван? —сказал книгопродавец.

—Вижу, что он знает свет, отвечал Эдуард, и хотел бы знать, почему его называют Чудаком.

— Потому, что ему несколько раз предлагали выгодные места, и он отказался; не хочет брать от меня подарков и жить на всем готовом в моем доме, и работает у меня за несколько франков, оценивая сам свои труды. Одним словом, отец Иван бескорыстен, честен, трудолюбив, умен, учен, воздержен, все удовольствие поставляет в прогулках и в беседе с детьми. Он мой кум, и когда он приходит ко мне, то это детский праздник. Одним словом, он настоящий Чудак.

— Я не вижу этого, — сказал Эдуард, — и друзья наши вышли из лавки книжника и пошли в модной магазин.

Виллиам был знаком с хозяйкою, которая почитала его первым из всех своих покупателей, потому что он платил за товары без торга, наличными деньгами. Она охотно удовлетворила его любопытству на счет отца Ивана.

—Знаете ли, Милорд, — сказала модная торговка: —что самые модные узоры, покрой платья, уборы, тряпки и проч.

выбираются этим отцом Иваном, который сам одевается как чучело, и никогда не переменяет своей прически и своего покроя платья. Я делаю образчики, а он предсказывает что будет иметь успех, и никогда не отшибается. Любимая его пословица: чем глупее, тем милее. Он сочиняет иногда такая моды; которые заставляют меня хохотать; но имея к нему полную уверенность, я слепо следую его советам и магазин мой процветает!

—Почему же он называется Чудаком?

—Не знаю; но представьте себе: месяца два тому назад одна богатая прекрасная вдова, лет тридцати, имеющая модный магазин на лучшей улице, предложила ему руку, сердце и имение — а он засмеялся и попросил у неё кусок сыру для завтрака. — Чудак!

Наши друзья, не распространяясь далее в расспросах, откланялись хозяйке, и пошли на рынок.

Виллиам спросил первую торговку, знает ли она отца Ивана.

—Он наш кум, наш примиритель в ссорах и советник в домашних делах, покровитель у чиновников, отец и благодетель! “воскликнули несколько торговков, сидевших рядом, и похвалы посыпались со всех сторон.

—Зачем же вы прозвали его Чудаком?

—Как же он не Чудак, когда убегает от знатных и не любит денег? —возразила красноречивейшая из толпы. —Он нашёл однажды двести тысяч франков в банковых билетах,¹⁴ сказала другая: — и до тех пор не мог ни спать, ни есть, пока не отыскал потерявшего эту сумму, и ничего не принял в знак благодарности, кроме шести франков, в вознаграждение трех дней, проведённых без работы, при отыскивании хозяина потери.

Виллиам торжествовал, и Эдуард нетерпеливо хотел узнать Чудака, к которому он почувствовал истинное уважение. Наши друзья возвратились домой, и нашли его у себя. Узнав от людей, что господа скоро обещали возвратиться, он расположился в зале, вынул из кармана кусок хлеба и несколько груш, попросил

стакан холодной воды, и преспокойно завтракал, к удивлению слуг, которые не смели смеяться над ним, потому что имели приказание от господина, принять незнакомца со всевозможным уважением.

Виллиам и Эдуард, с сыновнею нежностью, обняли отца Ивана, которого знали теперь по общему мнению.

—Намерены ли вы оставить Париж? —спросил он у двух друзей.

—Непременно! — отвечали они.

—А для чего?

— Потому, что мы обманулись в своих надеждах, отвечал Виллиам.

—Это несправедливо—сказал отец Иван: —вы имели столько связей, столько знакомств, вы сделали столько добра, что вам должно непременно испытать людей, о которых вы предварены столь дурно по двум примерам. Вы будете жаловаться на Париж, на Францию, на род человеческий, не имея на то никаких основательных причин. Употребите оселок для верной пробы сердца: объявите себя банкротами.

—Но мы ничего не должны, —отвечал Виллиам.

—Знаю, но напечатайте во всех газетах и афишах, что, по причине расстройства вашего состояния, вы продаете с публичного торга всю вашу движимость, а сами предлагаете свои услуги публике за деньги: один в звании доктора, а другой учителя.

—Виллиам и Эдуард посмотрели друг на друга, и не решились.

—Этим средством, —продолжал отец Иван —вы узнаете собственную свою цену, общее об вас мнение, своих истинных друзей и вообще род человеческий.

— Соглашаюсь сказал Эдуард.

Но как мне показаться в большом свете, моим знатым друзьям и знакомым? ... —возразил Виллиам, краснея.

— Вы ищете счастья, — сказал отец Иван: —но без надлежащего познания людей, нельзя быть счастливым: решитесь пройти до конца трудную стезю испытания.

— Хорошо. Соглашаюсь. — отвечал печально Виллиам, и отец Иван оставил двух друзей, взяв на себя объявить в газетах о мнимом их банкротстве.

Друзья остались весь день дома, и велели всем отказывать. Не взирая на дурную погоду, светские друзья беспрестанно подъезжали к крыльцу осведомляться об их здоровье; визитные билеты и пригласительные письма сыпались на стол. От Алины не было никакого известия. Придверник видел, в каком отчаянии Виллиам выбежал из дому; горничная приметила из окна второго этажа, как Виллиам прятался в кустах. Все это рассказано было Алине, и она догадалась, что Виллиам слышал разговор ее с Кассту, знал об их взаимной любви. Она не смела объявить об этом своей матери, и, опасаясь её упреков и гнева Виллиамова, была в величайшем беспокойстве. Между тем г-жа Ваните посылала несколько раз осведомиться о причине отсутствия Виллиама, и получала в ответ, что он выехал за город, и неизвестно, когда возвратится.

На другой день, едва наши друзья встали с постели, отец Иван вошел с торжественным лицом и выложил на стол несколько афишек и газет, с объявлениями о банкротстве. Проходя чрез переднюю, он оставил на столе одну афишу, которая, как искра, брошенная в порох, возродила смятение между служителями. В половине завтрака они толпою вошли в комнату Виллиама, и требовали уплаты жалованья, сказав, что в противном случае, они первые в праве воспользоваться мебелью и другими украшениями дома. Виллиам отпустил всех, заплатив им следующие деньги, и удержал по необходимости несколько конюхов. Один только служитель не являлся: это был отставной солдат, которого Виллиам, встретив некогда больного на улице, принял вовсе без нужды, единственно, чтоб дать ему место для пропитания. Усастый Жорж спокойно прохаживался по комнатам, и с улыбкою посматривал на других слуг, торопившихся забирать

свои пожитки и бежать из дому; он наблюдал при том, чтоб, они ошибкою не захватили господского добра.

— Жорж ты не пришел с другими за своим жалованьем: вот оно, ступай с Богом!

—А кто же останется при вас? —спросил Жорж. — Никто: я не в состоянии платить за услуги.

— И так я в состоянии служить без платы. Вашею щедростью я накопил более сотни луидоров: они ваши. Вы призрели меня больного и бедного, теперь я здоровый буду помогать вам, как умею. На биваках научился я довольствоваться немногим: будем жить по-солдатски: на сегодня и на завтра станет, там найдем работу, а там.... Бог даст. Я люблю вас душевно, и ни за что не оставлю в несчастии.

—Обними меня, Жорж! —сказал в умилении Виллиам: ты— честный человек — и мы не расстанемся.

—Вот видите ли, —сказал отец Иван, когда Жорж вышел из комнаты: —какой клад вы нашли в первую минуту мнимого своего несчастья? Верный и приверженный слуга: это такое сокровище, которое многие Государи оценили бы миллионами. Осмотрим, что будет далее.

Через час, явился один богатый Маркиз, страстный охотник до живописи, который жил на самой дружеской ноге с Виллиамом. Он изъявил свое сожаление о несчастной участи своего друга, и предложил, пред начатием конкурса и описи имения, продать ему за половину цены лучшие картины. Виллиам отказал, а Маркиз откланялся и намеревался выйти.

— У вас сегодня вечер —сказал Виллиам: „и я надеюсь заехать к вам, чтобы, при помощи старых моих друзей, найти себе место учителя Английского языка, управителя, или что-нибудь подобное.

—Нет, любезнейший, —отвечал сухо Маркиз —хотя в продолжении двух лет, в этот день собирались у меня гости, и я вам всегда был рад, но сегодня жена моя не здорова, и к тому же я хочу вовсе отказаться от этих вечеров. Что же касается до места...

то учителей здесь так много.... В управители же кто примет вас, когда вы не могли управиться с своим собственным именем? Прощайте!

Прошло несколько дней, и никто из блистательного круга знакомства Виллиамова не навестил его: тщетно он, по совету отца Ивана, рассылал письма к друзьям, своим и знакомым, прося помощи и покровительства, — не было ответа, и Главный Судья, который прежде столь ласково его принял, приглашал в дом, освободил от наказания Кассту, рекомендовал своим дочерям, теперь погрозил даже посадить Виллиама в тюрьму, будто бы по просьбе его заимодавцев. — Напротив того, к Эдуарду приходило несколько Литераторов; они, изъявив искреннее сожаление об его участи, предлагали принять его в долю, без всяких издержек, в литературные свои предприятия, и пока просили разделить с ними стол и жилище. Эдуард разцеловал Словесников и удостоверился, что любовь к Наукам облагораживает человека и делает его лучше.

— Это правда, — сказал отец Иван: — исключения из сего правила весьма редки, и только самозванцы-Литераторы составляют класс исключительный.

Даже Г. Сантиман прислала осведомиться о здоровье Эдуарда; друг написал Элегию, а муж сочинил пасквиль, в котором поместил в сумасшедший дом прежнего своего друга и благодетеля. Муж г-жи Сантиман имел особенный дар в этом роде, и друзья наши сознались, что, не взирая на черноту души, отвсечивающейся в пасквиле — он мастерски написал.

Но что делала Алина?

Она горько плакала об участи своего благодетеля, и на другой день, собрав все свои бриллианты, послала их к Виллиаму, при следующей записке: — Сердцу нельзя приказывать: я всегда питала и питаю к вам уважение, благодарность, приверженность; — но любила и люблю Кассту. Несчастье ваше не переменит моих чувствований: примите от меня в память плоды вашей щедрости. Я могу обойтись без них, и почту себя счастливою, если они

облегчат вашу участь. Если б я могла более сделать для вас, то верно бы сделала, — но я ничего более не имею. Преданная Алина.

Отец Иван был у Виллиама, когда он получил это письмо, и с удовольствием видел его слезы.

—О непостижимое сердце человеческое! —воскликнул Виллиам: —кто проникнет твои тайны? Из одного источника истекает и яд, и целебный бальзам: зло и добро встречается на всяком шагу. Как предчувствовать их, как распознать без горя, без страданий, без несчастий?

—Любезные друзья! —сказал отец Иван: —сердце человеческое от того кажется нам непостижимым, что мы по большей части рассматриваем его не вовремя и не с настоящей точки зрения. Добро и зло разлито в природе, как разнородные газы в воздухе, которые вредны в частности, и благодетельны в общем составе. Но долго предполагать, что зла более нежели добра; в таком случае, ни мир, ни общество не могли бы существовать, так точно, как беззащитный человек не мог бы жить в лесу, наполненном хищными зверями, или дышать воздухом, напитанным одним углекислым газом. Главное в том, что мы не должны многого требовать от каждого человека в особенности, зная, что добро разлито на всю массу и каждому достался небольшой удел его. После того надобно знать, где сокрыто это добро, чтоб извлечь его из сердца, в случае нужды. Для ясности, я буду говорить примерами и уподоблениями. Положим, что какой-нибудь владетель известился, что в его областях открыты золотые рудники: он велит добывать руду, а посланные, вместо того, чтобы извлекать ее прямо из того места, где она находится, станут подкапываться с противоположной стороны, ломать утесы и рыть подземелья. Не то ли бывает с людьми? Вы хотите, например, возбудить человека к какому-нибудь благородному и великодушному подвигу, в таком случае ищите прямого пути к его сердцу, воспламените в нем господствующую страсть, действуйте этим пламенем для перетопления всех прочих страстей и очистки от них чистого золота. Другая важная вещь — чтобы не вдруг требовать большего количества добра от одного человека, а

извлекать из него доброе понемногу. Когда же вы узнаете всю цену его душевного богатства, и тогда, по мере сил его, должны стараться подчинить злые качества добрым, и дать им постоянное направление. Третье правило состоит в том, чтоб не ошибаться в притискивании руды, или добрых качеств и чувствований благородных и возвышенных. Если вы, например, будете искать золота там, где по положению и приметам находится серебро, медь, железо, олово или сера, кто же будет виноват, если поиски ваши останутся тщетными! — Не требуйте дружбы от человека, который не может наделить вас ничем иным, кроме благосклонности и снисхождения. Не ищите любви, где пылает одно снисхождение или корысть. Не ожидайте самоотвержения для общего блага от человека, который может быть полезен своим богатством, и наоборот, не требуйте от бедного остатков его достояния, когда он готов жертвовать собою. Хотите ли рассеяния, забвения на время физических бедствий человечества: ступайте в большой свет: там блеск и повсеместный отпечаток самодовольства прикрывают все недостатки. Но там чувство эгоизма заглушает все прочие страсти: людям, живущим в большом кругу, много надобно, чтоб блистать. Богатство и честолюбие суть такие предметы, которые требуют много времени и средств к достижению их, и потому занимают всю жизнь. Хотите ли дружбы, любви, благодарности и прочих утешений душевных? Этого надобно искать между людьми истинно образованными и просвещёнными, или между невинными детьми природы. Полупросвещение и полуобразованность суть источники всех пороков. Цель просвещения есть та, чтоб не отдалять, но сближать человека с природою. Науки, Искусства, Философия открывают, нам, сокровищницу Природы, позволяют пользоваться всеми усовершенствованиями ума человеческого, но в душе поселяют чувства невинности и простоты природной. Человек высокого образования не знает другой роскоши, кроме умственной, других наслаждений, кроме сердечных. Он смотрит на светскую суету - как на кукольную комедию, ищет в свете чувствований, а не представлений, — для формы подчиняется иногда наружности, но

в глубине души презирает эти жалкие метеоры, которые ослепляют толпу названием счастья. — Между этими-то людьми ищите душевного покоя, блаженства: но у них золото имеет относительную цену, и не сообщает никаких достоинств человеку, обладающему богатством. Я, может быть, вам наскучил длинной речью; может быть, вы скажете, что я не объявил вам ничего нового. Правда; но людям, которым желаешь добра, хочется высказать все, что лежит на сердце, и что может быть им полезно. А я люблю вас, мои юные друзья!

Виллиам и Эдуард поблагодарили отца Ивана за его советы, но не переменили своего намерения оставить Париж, где они получили столько неприятных впечатлений. Виллиам укрепил на имя Алины дом, в котором она жила, и присоединил к тому значительную сумму денег.

Эдуард раздал своим честным, но небогатым литераторам все свои книги и картины, в память доброго знакомства. Друзья поручили отцу Ивану исполнить их волю, и простившись с ним одним на другой день уехали в Рошфор, чтобы оттуда отправиться в Индию. Не нужно сказывать, что отец Иван не принял никакого подарка: он с чувством обнял новых своих друзей и пожелал им счастья, обещаясь отвечать на их письма.

Эдуард, однако ж принудил отца Ивана взять бутылку воды, приправленной философским камнем, взяв с него слово употреблять ее в случае недуга. Однако ж друзья наши не открыли даже отцу Ивану о своем сокровище.

Эдуард машинально следовал за Виллиамом. Ему наскучило в Париже, и он, для одного только рассеяния желал путешествовать. На корабле Виллиам открыл ему свои планы.

—Благословеннейший в мире край, —сказал Виллиам: — где природа рассыпала все свои дары для счастья человека, Индия находится в самом жалком положении. Невежество, варварство и бедность угнетают её жителей. При помощи моего философского камня, я обогащу самый бедный класс народа, заведу школы, просвещу его и составлю счастье многих тысяч, сих детей

природы. Какая слава, какое счастье, любезный друг! Имя мое перейдет к потомству, а кто знает, может быть ... я сделаюсь независимым владельцем... и тогда....

—Я буду твоим первым Министром —воскликнул Эдуард, как бы пробужденный от сна. —Так любезный друг, —продолжал он: —с нашими средствами долго искать счастья на обширном поприще, не между пресмыкающимися, но между летающими над поверхностью земли. Я одобряю твои намерения—в Индии мы найдем отдельные племена; мы составим их счастье, и будем над ними властвовать. Какое блаженство! ... Отец Иван, впрочем, умный человек, не мог возвыситься до этой точки: он не знал о философском камне. Ах, как он удивится, когда услышит о нас!

Предаваясь сладким надеждам, друзья наши нетерпеливо считали дни и часы своего путешествия. Наконец Мадрасская гавань открылась их взорам, и они благополучно прибыли в сей город.

Первым их старанием было узнать о состоянии того края и различных окрестных народов. В это время жители острова Цейлона восстали против Голландцев, владевших берегами острова, ибо внутренность его населена была диким и независимым племенем. Виллиам накопил пушек, ружей и снарядов, нагрузил ими корабль, пригласил с собою несколько отставных офицеров, и отправился на помощь Цейлонцам. Он был так счастлив, что, с помощью искусных лоцманов пристал к острову в месте безопасном и отдалённом от Голландских поселений, успел свести на берег свой груз, уведомил жителей посредством переводчиков о своем намерении, и был принят с изъявлением величайшей радости. Владетель горных жителей поручил Виллиаму главное начальство над войсками, а Эдуарда сделал своим Министром. Вскоре дикие и нестройные толпы, вооруженные по образцу Европейскому, сделались ужасными малочисленному войску Голландцев. Виллиам одержал несколько блестящих побед, и подступил даже к городу Тринкомале. Здесь владелец горных Цейлонцев был убит ядром, и устрашённое воинство принудило Виллиама отступить. Между тем Эдуард,

оставшийся в горах для надзирания за управлением народа, известился о смерти Владетеля, и успел склонить старейшин к избранию Виллиама, на место погибшего Князя. Воинство с радостью согласилось на сей выбор, и Виллиам провозглашён был Владетельным Князем Серендибским (*).

() Древнее название острова.*

Виллиам желал от всего сердца просветить диких своих подданных. Они имели у себя письма, но весьма немногие знали грамоту. Грубые предрассудки и закоренелые зверские обычаи представляли непреодолимую преграду к скорому введению образования. Нельзя было завести много школ и учить многим предметам, потому что недоставало учителей. По самому верному расчету, Виллиам видел ясно, что настоящее поколение не много подвинется вперед на поприще просвещения; во втором поколении едва десятая часть народа будет знать грамоту, а от сей точки еще останется большое расстояние к достижению цели. — Все его предначертания шли чрезвычайно медленно, и наши друзья скучали среди грубого величия, в горах, куда путешественники весьма редко заглядывали. Виллиам хотел составить у себя общество из старейшин народа и их семейств; сперва это его забавляло, а после наскучило. Простота его первоклассных чиновников и раболепное их снисхождение не могли сообщить приятности разговорам. Никто не смел не только спорить с ним, но даже возражать; всегдашнее да, было ответом на все его вопросы: все ощущения его были одобряемы, все мнения превозносимы. Даже сам Эдуард, в качестве первого Министра, до такой степени подчинился господствовавшему при Дворе обыкновению, что не смел сказать одного слова вопреки Виллиаmu. Несколько примеров строгости, оказанной Виллиамом против непокорных вельмож, устроили Эдуарда до такой степени, что он, боясь его опрометчивости, с раболепством приближался к нему и чувствовал, что различие их состояний слишком велико, чтобы равенство могло сохраниться между друзьями. Виллиам сперва было задумал выбрать себе жену между знатных дам своего народа: но он не иначе хотел жениться, как по

взаимной склонности, а в его звании невозможно было это узнать. Все цейлонские дамы, наперерыв одна перед другою, старались покорить сердце юного своего Владетеля и его первого Министра. Виллиам, для испытания, открывался в любви всем красавицам своего владения, и везде находил признание во взаимной страсти. Эдуард испытал то же самое, и это убедило двух друзей остаться холостыми. Даже старый Жорж, который пользовался неограниченною доверенностью своего господина, должен был с досадою выслушать несколько любовных признаний, за которыми всегда следовали какие-нибудь просьбы, искательства или интриги. Между тем Виллиам беспрестанно делал золото, и выписывал из соседних колоний все потребности для приятной Европейской жизни. Пример его подействовал на всех жителей: вскоре между бедным и воинственным народом водворилась роскошь, а с нею родилось чувство бедности, которая обыкновенно определяется в обществе относительно к наслаждениям жизни. — Родились новые страсти, пороки и преступления; надлежало издавать новые законы, надзирать за общественным спокойствием, соблюдать строгость в наказаниях для пресечения злоупотреблений, и это произвело ропот, неудовольствие. Таким образом друзья наши провели пять лет в беспрестанных заботах, в страхе и почти в уединении. Различные слухи тревожили их: что соседний Владетель старался возмутить народ против Виллиама; то Европейцы из зависти вредили исполнению его намерений; то неблагодарные подданные оскорбляли его своими жалобами; наконец все это до такой степени надоело ему, что он решился отправиться обратно в Европу. Он призвал к себе Эдуарда и Жоржа, чтобы уговорить их к отъезду, и чрезвычайно удивился, когда увидел их радость при сем известии. Виллиам составил совет из старейшин, объявил им, что он намерен отправиться на время в Английские колонии для переговоров о торговых сношениях, и оставил им запечатанную бумагу, которую велел прочесть после своего отъезда. В ней заключались известие о его выезде, и повеление избрать другого Владетеля. С первым прибывшим судном, Виллиам, Эдуард и

Жорж отправились в Мадрас, и вскоре прибыли туда благополучно и весело. Им казалось, что тяжелое бремя спало у их с плеч. Особенно Виллиам радовался как ребенок, что отказался от величия, за которым он гнался с опасностью своей жизни.

В целой Индии знали о правлении Виллиама на острове Цейлоне, и никто не хотел верить, чтобы он добровольно отказался от власти. Губернатор Мадраса предполагал, что он имеет какие-нибудь виды, вредные пользам Индийской Компании, и, под предлогом требования отчета за разграбление нескольких компанийских судов при берегах Цейлона, заключил в тюрьму Виллиама, как Английского подданного, и велел опечатать все его пожитки. Эдуарда и Жоржа оставили на свободе. Губернатор чрезвычайно удивился, не нашедши у Виллиама никакого богатства, как он прежде предполагал, и это заставило его еще строже обходиться с бывшим Владетелем. Тщетно Эдуард ходатайствовал за своего друга у Губернатора и у всех жителей Мадраса: Виллиам казался им столь подозрительным, что Суд вознамерился отослать его в Англию.

Но философский камень был при Виллиаме: он всегда носил его на груди своей. В тюрьме, в которой сидел Виллиам, огромные цепи вделаны были в стену. Он превратил их в золото, и предложил тюремному сторожу за свою свободу. Несчастный не мог воспротивиться искушению и Виллиам, чрез несколько часов, соединился с своими, и уже был на корабле, который, на всех парусах, удалялся от берегов Индии.

Здесь недостает десяти лет в повествовании о жизни Виллиама и его друга, из которой можно было бы составить целый Роман в несколько томов. Известно только, что он в это время странствовал по Европе и Америке был в России везде искал наслаждений, сыпал золото, обманывался в любви и дружбе, наскучил почестями и ласкательством, и наконец возвратился в отечество, в родительский дом, и кончил жизнь в неизвестности, равно как и друг его, Эдуард. Историк Виллиама мог собрать сведения о его похождениях только до возвращения его из Индии, а в заключение своего повествования, он сообщил письмо

Виллиама к отцу Ивану, в Париж, которое в полной мере разрешает сомнения людей, полагающих, что счастье составляют: богатство, здоровье, доброе сердце и ум. Вот это письмо: оно покажет, что при этом еще надобно.

«Я открыл тебе, почтенный друг, что я по случаю владел философским камнем, которого с таким рвением искали древние и новые мудрецы, полагая в нем счастье. Я имел его, и не был счастлив! Искал наслаждений чувственных, рассеянности большого света — и вскоре опомнился, удостоверившись в ничтожности сих мнимых удовольствий, которые не только не наполняют пустоты сердца, но часто поселяют в нем раскаяние и обнаруживают всю тщету условных удовольствий. За мое золото, мне часто являлись призраки любви и дружбы; —но люди от богачей чаще требуют пожертвований, нежели чувствований, и почитают их более орудиями к сооружению своего благополучия, нежели источником чистых наслаждений. Безопасность от недугов и всегдашнее здоровье заставили меня позабыть его высокую цену, и я не чувствовал величайшего из благ земных. Природа одарила меня добрым и сострадательным сердцем, — но удобность благодетельствовать, без малейшей жертвы с моей стороны, до такой степени ослабила чувство сего удовольствия, что я наконец равнодушно рассыпал золото, которое не стоило мне ни труда для приобретения, ни попечений о сохранении. Ум мой дремал в беспечности светской жизни, и, что еще хуже, заблуждался при возможности все иметь и всем пользоваться. На что мне было изоцрять его, приобретать сведения, когда мне и без того удивлялись в свете, когда меня превозносили до небес? — Честолюбие не удовлетворило потребностей моей пылкой души, которая в любви к человечеству искала взаимности, и находила холодную почтительность или неблагодарность. Не зная трудностей, я не знал и удовольствий, и до такой степени остыл душою, что даже возненавидел жизнь. Мудрый мой отец вывел меня из сего затруднительного положения; он заставил меня трудиться, и я в полной мере узнал наслаждение благоденствия, разделяя с неимущими приобретенное

трудом. Исполнение моих обязанностей доставило мне уважение людей, которого цены я не постигал в вихре большего света, принимая ласкательства за изъявление чувствований. Жажда сведений открыла уму моему обширное поприще работы и наслаждений. Друг мой Эдуард у который снова занялся Медициною, еще счастливее меня: он сделался отцом бедных, их благодетелем и советником. Наконец добрая слава склонила двух прелестных сестер, моих соседок, выйти замуж за меня и за моего друга Эдуарда, — и мы в полной мере счастливы в недрах семейств наших, разделяя время между трудом и успокоением, не желая невозможного, насаждаясь умеренно плодами трудов наших. Отец мой, видя, что мечты мои испарились, пригласил меня однажды прогуляться на лодке по устью Темзы, и удостоверившись из моих рассказов, что философский камень не составил моего счастья, и послужил только к приобретению опытности, торжественно бросил его в море, чтобы он не достался в руки человеку, который мог бы сделать из него вредное употребление.» — Письмо это найдено в бумагах отца Ивана после его смерти, с следующей отметкою его руки: „Доказательство, что возможность всем наслаждаться и все иметь заглушает чувства наслаждения и лишает человека величайших удовольствий в жизни: желать и надеяться.

Три листка из дома сумасшедших, или, психическое исцеление неизлечимой болезни.

(Первое извлечение из Записок Старого Врача.)

L'observation et l'expérience nous n'ont fait découvrir les moyens de combattre aussi souvent avec succès, L'état de maladie, l'art qui met en usage ces moyens, peut donc modifier et perfectionner les opérations de l'intelligence et les habitudes de la volonté.

Cabanis, Rapport ou physique et du moral de l'homme. T.1, p.471

.....Возвратясь домой в восемь часов вчера, я нашел на моем бюро письмо, в котором больной просил меня поспешить к нему немедленно. Это был сын одного моего приятеля, которого я был домашним Доктором в течение двадцати лет. Он, вопреки моим советам, вздумал, на старости, укрепить истощенные силы Итальянским воздухом, и умер в тёплом Неаполе, от простуды. С сыном его не встречался я несколько лет. Это был здоровый, сильный и плотный молодой человек, с красными щеками и с пламенными глазами. По устройству своему, он склонен был к воспалительным болезням и к апоплексии, а потому я поспешил к нему, взял с собою шнеппер, чтоб в случае нужды отворить кровь, без отлагательства.

Но как я удивился, когда увидел моего пациента, в состоянии, противоположенном тому, как я воображал себе. В нем не заметно было капли крови! Он был бледен и сух, а впалые его щеки отражались жёлтым цветом. Ещё огонь юности не потух в глазах его, но они уже были безжизненны. Красные веки означали бессонницу. Впрочем, я не заметил в нем ни лихорадки, ни признаков грудной болезни. Голос его был тверд и звучен, как у здорового; все приемы и движения были спокойны. Расспрашивая его и ощупывая около часа, я никак не мог открыть причины и качества его недуга. На вопросы мои, где он чувствует боль, он

отвечал: *не знаю*. Он жаловался только, что уже более года не имеет ни сна, ни аппетита, и не находит ни в чем удовольствия и приятности; что всякое общество ему несносно, каждая книга скучна, в ясный летний день столь же противен, как бурная Сентябрьская ночь.

Признаки ипохондрии были явны, но причины покрыты были тайною, которой я не мог проникнуть, разговаривая с ним до полуночи. Прописав ему прохладительный лимонад, под пышным названием, и дав наставление на счет диеты, я оставил его, недовольный собою, решившись, во что бы ни стало, открыть причины ипохондрии сына моего приятеля.

Целый месяц я навещал его, по два и по три раза в сутки, в разные поры дня, но все изыскания мои оставались без успеха. Наконец мне удалось заглянуть в душу его, и я увидел гнездящегося в нем червя, грызущего ее неусыпно.

Пациент мой читал Сенатские Ведомости, глаза его налиты были кровью, щеки горели, уста тряслись, и он то вертелся на стуле, то вскакивал, ударяя по столу кулаками.

— Посмотрите, Доктор, можно ли и стоит ли после этого жить на свете! — воскликнул он, задыхаясь, и потрясая листом газеты, — Вот люди, которых я знаю, как самого себя, люди, у которых нет столько ума и способности в башке, сколько у меня в мизинце! Люди-машины!.. А вот один из них Начальником Отделения, другой Директором, третий Правителем Канцелярии, четвёртый Губернатором! . . . Все обвешаны орденами! . . . А я . . . я! ...»

Он не мог продолжать, бросил газету, и взглянув на меня жалостно — залился слезами. Я прижал его в своих объятиях, и сам прослезился. Молодой человек был истинно жалок. Ничто не возбуждает во мне такого сострадания, как болезнь души и болезнь ума.

Дело объяснилось. Червь, грызущий душу моего пациента, назывался *честолюбие*. Не будучи в состоянии насытить жадности этого червя, я решился уморить его.

Пациент мой, ища быстрого возвышения и начальника, который бы заметил необыкновенные его способности, беспрестанно переменил места, и наконец остался вовсе без места, в ожидании необыкновенного случая к возношению. Уплывающее бесполезно время, унося с собою старшинство по службе, ниспадало на сердце его по камень, как растопленный свинец, и делало неисцелимые язвы.

Я предвидел всю трудность исцеления, однако ж не отчаивался, а подружившись с молодым человеком, был с ним неразлучен, в часы свободные от моих занятий.

Хоть он был не разговорчив, но иногда мои рассказы и наблюдения ему нравились. Однажды, я завёл речь о сумасшествии, и рассказал ему несколько любопытных анекдотов, которые обратили его внимание на этот предмет. Заметив это, я рассказал ему происшествие, которое нарочно берег для него, как лекарство, намереваясь употребить при первом удобном случае.

— В одной из Европейских столиц, — сказал я, — мне поручено было отделение в больнице сумасшедших. Один больной обращал на себя мое особенное внимание. Он принадлежал к высшему сословию, и более десяти лет содержим был в больнице на счет родственников. Он был тих, но угрюм. Чуждался людей, не выходил из своей комнаты, и ни с кем не говорил. Он беспрестанно занимался письмом, воображая, что управляет Государством. Он писал приказания, проекты, раздавал места и чины, дарил миллионами, делал выговоры. Иногда, воображая, что он окружен своими подчинёнными, он гордо расхаживал по комнате, то бранил, то хвалил, будто предстоящих, и, наконец, раскланявшись, важно подходил к своему столику, и снова принимался за письмо. Меня принимал он с гордостью Паши, важно протягивал руку, когда я хотел пощупать пульс, и после того приказывал удалиться. Иногда сумасшествие его принимало другой вид. Он воображал себе, что заключен в темнице по проискам своих совместников, и тогда предавал отчаянию и твердил беспрестанно о своей невинности. Положение его трогало меня, потому, что даже в настоящем его

положении я мог заметить следы образованности и прежней силы ума. Его приказания в проекты, в которые заглядывал я, когда его заставляли прогуливаться в саду, были написаны превосходно, и хотя помешательство в уме заставляло его вводить нелепицы в свои бумаги, но целое доказывало его прежние способности.

Наконец он заболел физически, и вынужден был слечь постелю. Медленная чахотка, снедавшая его, дошла до последней степени. Не было спасения, и я старался только облегчить его страдания. Больной принимал с благодарностью мои попечения, и однажды, вечером, когда я хотел выйти из его комнаты, он призвал меня, попросил запереть двери на замок, и сел возле его постели. Я исполнил все, в угодность ему. Он присел на кровати, устремил на меня свои мутные глаза, и сказал: «Доктор! вы приобрели мою доверенность и признательность, и я решился оставить вам мою тайну, которая должна была слечь со мною в могилу. Возьмите этот пакет, и прочтите, когда меня не будет на свете. Я написал это нынешней ночью.» Кашель прервал речь его, и он забыл, о чем говорил. Я взял пакет и вышел. На другое утро, когда я возвратился в больницу, комната этого больного уже была пуста: он умерь ночью.

Любопытство заставило меня распечатать пакет, чтоб узнать, в каком роде помешательства был больной, перед своею кончиною. В пакете были три листка бумаги, исписанные кругом. Содержание показалось мне так важным в психологическом отношении, что я сохранил эти листки до сих пор. Не угодно ли послушать?

—Читаете! — сказал мой пациент, и я, вынув из портфеля листки, стал читать громко.

Листок первый.

Люди нечему не верят, кроме вдохновения своего тщеславия в глупости. Они не поверили бы, если б я вздумал объявить им мою тайну. Но, не смея утаить ее при дверях гроба, я, по внушению совести, оставляю ее на бумаге. Делайте с нею, что хотите.

Не знаю, чудом или волшебством я существую на земле. триста десять лет, хотя жил только сто десять лет. В существовании моем находится промежуток времени, именно двести лет, в которые я не жил. Но как, по прошествии этого времени, я сохранил память прошлого, то и эти двести лет включаю в счёт моего существования.

Окончив мое воспитание, я вступил в свет, без громкого имени и без больших денег. Люди не сделали мне никакого зла, но я не мог. любить их. Много мне стоило труда, чтоб удержаться от ненависти к человечеству. Я верил, что люди делают и добро, и зло по одной побудительной причине: из эгоизма. Один школьный мой товарищ, которого я хотя не любил, но переносил терпеливо его общество, думал иначе. Он говорил, что добрый человек делает. добро по внушению сердца, так сказать, против воли, но инстинкту, без всяких расчетов, и что только злой человек, судя по себе, рассчитывает, глядя со стороны на делаемое добро, и приписывает его эгоизму. Это суждение казалось мне. непонятым, и не переменяло моего мнения на счет людей, которых я вознамерился употреблять как орудия, сперва к моему возвышению, а после того к наслаждению жизнью, именно употреблять как животных в упряжку. Природа одарила меня умом необыкновенным: с первого взгляда я понимал то, чего другие не могли постигнуть в несколько лет, при многотрудном учении, и я скорее изучал, нежели другие знакомились с предметом. Но сердце мое было холодно, как камень. Я не постигал ни дружбы, ни любви, ни сострадания, ни ревности ко благу общему, для которого некоторые жертвуют даже собственным счастьем и жизнью. Все это казалось мне смешным и глупым. Я любил женщин как вино и паштеты, любил умных людей как хорошие книги или статьи в Журналах любил до тех пор, пока они доставляли мне приятное рассеянье, и расставался с людьми, как расстаётся сытый с вкусным обедом. Во мне не было никакой страсти; но, как я удостоверился, что для избежания противоречия со стороны людей и неприятностей, надобны власть и деньги, то я решился приобрести их, во что бы ни стало. Я

вступил в службу, и пустил в оборот мой ум. Я служил и прислуживался работал сам в присваивал. себе чужие работы, говорил правду и лгал, когда это было мне полезно, защищал людей, и губил их, когда это было нужно для моего возвышения, жертвовал собственным имуществом, и грабил, смотря по обстоятельствам, переменял образ мысли и поведения, сообразно с моими выгодами, был верным подданным и карбонаром, набожным и безбожником, придерживался всегда торжествующей партии, и изменял каждой, когда это было нужно для того, чтоб двинуться вперёд. Я всем льстил, и всех обманывал, работал за каждого явно и тайно, когда работа приносила выгоды одному мне, и клеветал на каждого, который заграждал мне путь к богатству и власти. Я не пожалел даже отца и родного брата, и устранил их искусною клеветою с поприща, по которому я шествовал, как корабль, при попутном ветре!

Наконец я достиг желаемого. Я приобрёл несколько миллионов. рублей денег, и дошёл до высшего звания в Государстве. Люди подчинялись моей воле, как волны дуновению ветра. Как жалки казались мне эти люди, когда я смотрел на них с моей высоты. Особенно смешны были люди, которые, в некотором роде помешательства ума, гнались за славою. — Бедные Авроры, несчастные Артисты, которые не смели показаться у меня о передней, даже возбуждали во мне невольное сострадание. Стоит ли трудиться, жертвовать здоровьем и спокойствием, переносить бедность, а иногда и гонения, для того только, чтоб оставить после себя имя на заглавии книги или в списке художественных произведений! Так я думал, и смотрел с гордостью и адрес— календарь, где имя мое занимало полстраницы, перебирая в уме все подписанные мною бумаги, был, убежден, что имя мое переживёт, всех этих несчастных бумаго- и холсто-марателей, которые дерзают помышлять, о славе и пренебрегают для нее истинными благами жизни. Прежде, когда я находился в нижних степенях, я иногда находил удовольствие в беседе, Литераторов и Художников; но когда я возвысился, то возненавидел их, за их притязания на славу, на известность, на первенство, на затмение

адрес—календаря. При всяком случае я старался вредить им, и ни один из них не служил под моим непосредственным начальством. Живя в известности, в роскоши, пользуясь уважением, или, что все равно, покорностью слабых и почтительностью вежливостью сильных, насладившись, всеми земными благами, я умер на шестьдесят первом году от рождения, по словам газет: *к общему сожалению*, оставив несметное богатство и громкое имя. Похороны мои были великолепные, надгробный монумент величественный. Весьма многие завидовали моему счастью при жизни моей, и по смерти желали себе подобной участи.

Листок второй.

Прошло сто лет после моей смерти, и я снова появился на свете не знал, каким чудом. При мне остался ум мой, память прошедшего, — но чины мои, богатство, знатность — исчезли. В замен этого, я приобрёл теплоту сердечную, которой мне прежде не доставало. Я вступил в свет уже не с презрением к людям, но с любовью к ним. Я жаждал любви, дружбы, хотел трудиться для общего блага.

Разбирая прежние мои чувствования и поступки, я страшился, чтоб люди меня не узнали. Но, по счастью, через сто лет память обо мне вовсе исчезла; с величайшим трудом отыскал я адрес—календарь, в котором имя мое напечатано было на полстраницы, со всеми титулами, и крайне удивился, что имена современных мне Авторов, которых я презирал, были известнее в потомстве, нежели мое громкое, в свое время, имя! В доме, который я выстроил сам для себя со всеми прихотями барства, жили ремесленники, а в собственных моих комнатах помещался Русский трактир. В моей приемной зале, свидетельнице моего величия, был биллиард; в кабинете моем, где стряпались важнейшие дела, помещался буфет. Великолепная дача моя, чудо роскоши и искусства, превращена была в кожевенную фабрику. Внуки прямых моих наследников пресмыкались в нищете, в невежестве и разврате. Все проекты, выдуманнные исполненные, мною и которые составляли некогда мою славу, вовсе

изменились. Из хлопотливой жизни моей не осталось ни былинки. Это привело меня в отчаяние!

Не доверяя никому и ничему в прежнее мое существование, я, на всякий случай, зарыл в землю на моей даче бочонок с червонцами. Я отыскал мой клад, и купил себе деревеньку, в приятном местоположении, невдалеке от провинциального города. Жалея терять время на приобретение того, чем я уже однажды пользовался, я видел, что мне нечего искать в свете, и удалился на житье в деревню. Я женился, прижил детей, воспитал их, устроил благосостояние крестьян моих, приобрел друзей, выбирал людей не по чинам, но по уму и сердцу, любил их, и был любим, помогал неимущим, хлопотал о беспомощных, украсил и удобрил мое имение, не делал долгов, не вел тяжб, и, наслаждаясь вполне жизнью, умер, по прошествии сорока лет, оплакиваемый родимыми, друзьями и крестьянами. О смерти моей не было напечатано в газетах; на могиле моей поставили простой крест, украшенный благословениями благодетельствованных мною. Хорошо мне было на свете, и я умер спокойно, с чистой совестью, и с надеждою, что насаждённое мною добро не исчезнет.

Листок третий.

Прошло сто лет, и я опять очутился в живых! О какую радость ощутил я, увидев, что деревня моя превратилась в многолюдное и богатое село, с фабриками и мануфактурами. На могиле моей стоял мраморный обелиск, с Надписью: *Доброму помещику*. Внуки мои пользовались в свете заслуженным уважением и довольством. Данное мною хорошее воспитание детям, и старания о обогащении крестьян и приличном их званию просвещении принесли сладкие плоды. Внуки мои гордились мною, и вспоминали обо мне с любовью и уважением. Старики, крестьяне, рассказывали детям своим, что слышали про меня от своих отцов. Никто не спрашивал, какой я имел чин, и какое занимал место в жизни, а все благословляли память доброго помещика и отца семейства.

Тут вся жизнь моя представилась моей памяти. Боже мои! как я был глуп, я первую эпоху моего существования! Из чего я бился, из чего я делал зло людям, из чего льстил им, обманывал их! Они не удостоили памяти моей даже проклятием!

Тяжелая, хлопотная, исполненная опасностей жизнь моя, в первую эпоху, исчезла, как сгнивший лист писанной бумаги. Между людьми я был как камень между камнями, и не доставляя никому радости, не разделяя ни с кем радости, не имел понятия о счастье, и не был счастливым. Чины, богатство, власть доставили мне минутное величие, как разлившиеся воды и тающие внезапно снега превращают сухой овраг в шумный источник. Но величие мое кончилось с жизнью! Как жаль, что я не приласкал ни одного Автора, ни одного Художника, которые могли бы спасти имя мое от забвения, сочетав со своим именем!

В другую эпоху моего существования я жил *сердцем и действовал умом* для счастья окружающих меня и зависящих от меня — и был счастлив. Я вовсе не думал о потомстве, но сделанное мною добро перешло к нему и сохранило мое имя. Верю теперь, что наше счастье, слава, честь и даже наслаждения зависят *от людей*, и так, кто хочет иметь эти блага, тот должен жить *для людей*, а не для себя. Но людей привязывает к нам не ум, а сердце.
».....

Здесь кончится рукопись сумасшедшего, сказал я, положив на стол листки, и смотря внимательно на моего пациента. Он погружен был в задумчивость.

— Дайте мне эти листки! — сказал он, вставая: — Я спишу их, и завтра же возвращу вам.

Я отдал ему листки, и он, простясь со мной, пошёл домой.

На другой день я получил листки, при следующей записке: «Не беспокойтесь, любезный Доктор, навещать меня. Я еду за город на несколько дней, и по возвращении вас уведомя.»

Не получая об нем никакого известия в течении недели, я заехал к нему, но мне сказали в доме, что он сдал квартиру и вовсе уехал из города, неизвестно куда. Я пожалел о несчастном, пенял

на себя, думая, что, не успев приняться за излечение болезни, я наскучил ему и заставил его бежать от меня. Я, наверное, полагал, что он, забившись в какое-нибудь захолустье, кончит жизнь в чахотке. На исцеление его я не имел никакой надежды.

Прошло десять лет, и я забыл о моем пациенте. Между тем к дочери моей посватался добрый, умный и ученый молодой врач, только что вступивший на поприще практики. Он был беден, но и я был небогат. Практика моя была обширная, но я пользовал, по большей части, бедных и не торговался с богатыми, а потому едва имел столько, чтоб прожить без нужды. Больно было моему родительскому сердцу, что я не мог пристроить порядочно милой моей дочери, и снабдить новое семейство всем, что нужно для первого обзаведения. Жена моя плакала. Вдруг входит в мою комнату толстый, здоровый, румяный мужчина и бросается прямо в мои объятия.

— Вы не узнаете меня, Доктор!

— Нет, извините!

— Я ваш старинный пациент, тот самым, которого вы излечили *тремя листками из дома сумасшедших!*

— Как, это вы!

— Да, я, прежний глупец, который чахнул от честолюбия, и растолстел, следуя рецепту, прописанному сумасшедшим, *во втором листке!* Я живу в деревне, женат, имею троих детей, красивых как купидончики, занимаюсь садоводством, земледелием, благосостоянием моих крестьян, любим, уважаем соседями— и совершенно счастлив! Теперь не все люди кажутся мне несносными, не все книги скучными, а Сенатские Ведомости читаю я только для указов, и вовсе не заглядываю в производства, ибо ценю людей по мере пользы, оказываемой ими человечеству. Полезным же человечеству можно быть во всяком звании, а тем более там, где участь многих зависит *от сердца одного...* Но я должник ваш пришел рассчитаться с вами. Я узнал, что вы выдаете дочь свою замуж. Вот десять тысяч рублей за *три листка*, исцеливших меня от сумасшествия! Возьмите, Доктор!

Доставьте мне наслаждение вашим счастьем. Иного счастья я не знаю, как делал других счастливыми....

Я прижал к сердцу прежнего моего пациента, и запросил его на свадьбу моей дочери. Ко мне съехалось много людей чиновных и богатых, между которыми было несколько товарищей, по службе, прежнего моего пациента.

—Как вы счастливы, — говорили ему прежние товарищи, — что можете жить спокойно и счастливо в деревне, делать добро и наслаждаться жизнью.

Мои пациент улыбался.

—А кто же мешает вам сделать то же, хотя под конец жизни? —спрашивает он.

—Но как упустить старшинство! — возразил один из гостей, тяжело вздыхая.

—На это у нашего Доктора есть рецепт, — примолвил мой пациент: *«три листка из дома сумасшедших»*.

Кабалистик.

Предисловие.

Вообще жалуются на журналистов, что они много обещают, а мало дают.

Эй полно! один ли Журналисты поступают таким образом! Как бы то ни было, но я беру на себя ответственность за всех моих собратий, и теперь же намерен заплатить весь наш общий долг. Если вам казалось, любезные читатели, что Журналы не удовлетворяют вашим ожиданиям, то вот я одним разом удовлетворю вас за прошлое и за будущее. Я открою вам *тайну*, за которую гонялись все мудрецы древности и все современные глупцы, тайну, скрывавшуюся некогда в подземельях Египетских храмов, в книгах Сивиллы и под треножником храма дельфийского, а ныне кроющуюся в кофейниках и в колоде карт. Вы догадываетесь, что я хочу нам открыть средство *знать будущее*.

Точно так. Довольны ли вы?

Раздумайте хорошенько. Я уверен, что многие будут весьма довольны. Вообразите, что за радость знать, когда именно старый и ревнивый муж возвратится домой; знать, когда переполнится чаша мздовоздания, и придет сладостное время: *блаженствовать в отставке под судом* (*); знать, что станется с нами, с нашею женою, детьми, родными, приятелями; какой конец примут наши дела и начинания; знать, какая будет погода, читая газеты, разгадывать все запутанности |политики. А если вам угодно будет позабавиться, то вы можете знать все сплетни и все домашние тайны всех ваших знакомых. Вот какую тайну открою я вам, любезные читатели, но только *с условием и не даром*. Вы знаете, что кроме напасти и клеветы, ничто в свете не приходит даром. Вы должны прежде выслушать одно из моих походов,

и, если после этого захотите знать будущее, прошу известить меня. Тайна будет объявлена немедленно. И так просим прислушать.

Отрывок из Памятных Записок.

.... В полку нашем служил Поручиком Князь Иван И., прекрасный молодой человек, с доброю душою, с умом пылким и образованным. Мы были друзьями. — Семейный процесс и предполагаемая женитьба призывали его в Петербург. Меня манила туда любовь. Отправившись в отпуск, мы поехали вместе, на почтовых, в экипаже Князя.

Содержатели почтовых станций в Ост-Зейских провинциях подчинили безусловно своей воле проезжающих по собственной надобности.

Станционный Смотритель или хозяин подают вам, с улыбкою, чёрную книгу, если вам вздумается излить гнев ваш в жалобах; а если вами захочется погорячиться на словах, то они закурят трубку, прождут хладнокровно ваш пароксизм, и, наконец, поставят на своем. Таким образом, не взирая на наши уверения, что коляска наша легка, что дорога впереди хороша, хозяин станции велел впрячь шестерку лошадей, и не согласился дать нам фореитора. Поставленный по наряду с мызы работник на станцию, произведенный накануне из пастухов в ямщики, кое—как взобрался на козлы, взял в одну руку вожжи от шести лошадей, махнул длинным бичом, и лошади пошли с места рысцей. До половины дороги ямщик должен был понукать лошадей, но когда пришло спускаться с крутой горы, то им вздумалось потешиться и поскакать. Передние лошади запутались в постромках и остановились; но накатившаяся коляска ударила дышловых, те дёрнули в сторону; передние, напугавшись, бросились в другую; ямщик кинул вожжи и соскочил с козел, и, в одну секунду, коляска наша попала в ров, опрокинулась на всем конском скаку, и мы вылетели из нее, как пробка из шампанских бутылок. Я уткнулся головой в песок и чуть не сломил шеи, а мои товарищ, Князь,

ударился о камень, повредил кисть правой руки, и больно зашиб ногу. Опомнившись, я бросился помогать ему, но не имел ни каких к тому средств в чистом поле. Слуга наш также больно ушибся, и едва мог стоять на ногах. Я хотел отпрячь лошадь и скакать в ближнее селение, чтоб перевезти Князя на телеге на станцию, как вдруг показался из-за горы экипаж. В прекрасном ландо, запряженном четырьмя отличными лошадьми, сидела дама с двумя детьми и с молодым человеком, гувернером, как после оказалось. Увидев нашу коляску во рву, дама приказала своему кучеру остановиться, и вышла из своего экипажа. Едва я успел ей объяснить наше происшествие, она велела своим людям положить Князя, бережно, в свой экипаж, села рядом с ним, оставила детей с гувернером при мне, и уехала на свою мызу, прося меня подождать несколько. Через полчаса тот же экипаж возвратился за нами, а за пашей коляской прислали лошадей. Проехав с версту по большой дороге, мы своротили в сторону, и чрез несколько минут очутились у ворот великолепной и обширной мызы. Я нашёл Князя в постели и уже перевязанного. Домашним доктор сидел у изголовья его постели, и приготавливал питье. Больной требовал успокоения; мне отвели особую комнату.

Чрез час меня позвали к чаю. В зале встретил меня хозяин дома, Барон N. N., муж той прекрасной дамы, которая так великодушно предложила нам помощь и гостеприимство. Меня подрало морозом по коже, когда я взглянул на него. Он был лет сорока пяти, высокий, тощий, бледный, с прозрачными, неподвижными глазами, с пасмурною физиономией. Взгляд его обдавал холодом; слова, которые он произносил, будто выходили из ледяного погреба. Улыбка, по-видимому, никогда не оживляла лица его. Приняв равнодушно изъявление моей благодарности, он предложил мне место возле жены своей, и, сев в кресло, спустил голову на грудь, и задумался. Несколько раз любезная хозяйка старалась вмешать его в общий разговор, чтоб рассеять его задумчивость, но ответы его всегда были коротки и односложны. Ни ласки детей, ни внимание жены, ни присутствие гостя не могли

извлечь его из мрачной задумчивости и согреть душу. Он был как мраморный.

Выздоровление Князя шло медленно, а между тем я подружился со всеми в доме, и приобрел благосклонность доброй нашей хозяйки. В две недели я не заметил, чтоб Барон хотя однажды улыбнулся, или обратил на что—либо внимание. Он ел, пил, ходил, говорил—как машина, как автомат. Я душевно сожалел о доброй, умной и миловидной Баронессе, осужденной влачить печальную жизнь с этим трупом; сожалел о милых детях, лишенных отцовских ласк и нежности.

Я пытался расспросить доктора и гувернера о причине этой мрачной меланхолии, которою одержим был Барон, слывший, впрочем, человеком умным, сострадательным и благодетельным. Доктор и гувернер пожимали плечами, и молчали. Однажды я осмелился даже спросить Баронессу. Она заплакала и не отвечала. Барон появлялся в семье своей тогда только, когда она собиралась к обеду и к ужину, и все время проводил в уединении, или запершись в своей комнате, или бродя по саду, по парку и по полям.

В доме все означало порядок, довольство и благосостояние. Казалось, все, были счастливы кроме хозяина и хозяйки, терзавшейся страданиями мужа.

Наконец здоровье Князя поправилось. Он мог уже выходить из комнаты, и мы стали собираться в путь. Доктор советовал Князю остаться еще на несколько дней, пока пройдет опухоль, и сам хозяин упросил Князя—не торопиться.

Накануне нашего отъезда мы прогуливались с Князем в парке. Ночь была тихая и теплая. Мы сели на скамью, в беседке из акации, и стали разговаривать о наших делах, планах и надеждах в будущем.

Князь был склонен к мечтательности. Изложив предомною все свои сомнения, все опасения и все надежды на счет будущей своей участи, он сказал:

—Я бы дал десять лет жизни, чтоб прозреть в будущее; чтоб узнать, что ожидает меня впереди, и чем кончатся все мои предприятия. Если я выиграю процесс — я буду богат; если женюсь по выбору моей матери и моему собственному, буду вдвое богаче, и притом счастлив.... тогда я вступлю на дипломатическое поприще, или поселюсь в столице, и стану жить для Наук, Искусств... Как жаль, что в наше время нет ни Астрологов, ни прорицателей! Я бы отдал половину имения, чтоб узнать будущее....

Вдруг листья зашевелились и пред ним предстал Барон, как привидение. Мы так были поражены внезапным его появлением, что не тронулись с места, смотрели на него с каким—то страхом, и не могли произнести ни слова.

— Вы хотите знать будущее, Князь! —сказал Барон, —Да избавит вас Бог от этого! Это величайшее несчастье, какое только может постигнуть человека, потому что познание будущего лишает его единственных благ в жизни: *мечтаний и надежд*... Я знаю будущее, и отдал бы три четверти жизни и все мое имение, чтобы не знать его!

Мы с удивлением посмотрели друг на друга и на Барона, который стоял перед нами неподвижно, устремив взор на небо. Слезы катились по бледному его лицу. Из груди вырывались тяжкие вздохи.

Он сел между нами и сказал:

—Выслушайте несчастную мою историю, и да послужит она вам уроком!

Три года пред сим я был счастливейшим человеком в мире: здоров, богат, чист совестью, муж милой и доброй жены, отец прелестных я умных деток.... Избыток счастья мучил меня и заставлял искать того, что мне было ненужно. Я полюбил мистические гадания и изыскания. Случай свел меня с одним жидом, который постиг древнюю Кабалистику, и смотрел в будущее, как в зеркало. Он умер в моем доме, и при дверях гроба

открыл мне свою тайну. Я только однажды заглянул в будущее, и с тех пор счастье мое рушилось навек!

Вы верно удивлялись холодности моей с женою и с детьми. Могу ли я быть иначе с ними, когда я знаю, что чрез два года она изменит мне, оставит детей и уйдет с любовником! Моги ли наслаждаться невинными ласками детей, когда знаю, что один из сыновей моих кончит жизнь на виселице, другой промотает все мое наследие и с отчаяния бросится в пучину разврата. Может ли радовать меня что—либо в доме, когда я знаю, что через сто лет здесь не останется камня на камне. На самом этом месте будет жестокое сражение. Дом мой, оранжереи будут разбиты ядрами и сожжены, сад и парк вырублены, и чрез десять лет после того, место это зарастет травой и заглохнет. Желая спасти имя мое от забвения и поношения, я хотел было броситься в авторство, в котором имел бы успех; но к чему бы все это послужило, когда чрез пятьсот лет должен произойти переворот во всех планетах солнечной системы, и все наши дела будут погребены в забвение, как после потопа! Пятьсот, тысяча, сто тысяч лет — менее, нежели одно мгновение в сравнении с вечностью! . . . На что я ни взгляну, во всем я вижу только тление и разрушение, вижу зародыши смерти, преступления, забвения, несчастья, страданий. Наслаждения и радости мелькают, как перелётные искры в мраке. Будущее есть мрачная бездна, которая поглощает и века, и минуты, и существенное, и умственное, перед которым прошлое есть то же, что нуль перед цифрою: *ничто!* И так стоит ли жить, стоит ли мыслить.

Барон хотел продолжать, но вдруг подоспел доктор и почти насильно утащил его домой. Мы остались на месте, как громом пораженные, и возвратились в наши комнаты, в безмолвии раздумывая о слышаном. Доктор навестил нас.

—Теперь вы можете разгадать причину меланхолии Барона, — сказал он. —Сегодня на него нашел пароксизм. Он... Доктор замолчал, и только провел пальцем кружок на своем лбу. Мы догадались, что Барон помешался в уме.

Барон помешан. Но кто бы не помешался в уме, если б ему в самом деле открылось будущее, и если—б он видел впереди последствия надежд своих и ожиданий; если бы на лице милых сердцу он читал будущие бедствия и страдания, и если б мир представлялся ему кучею будущих развалин? Князь раскаялся в своем желании знать будущее, и я уверен, что каждый, кто только захочет подумать об этом, сознается, что жизнь наша только и усладительна *ожиданиями и надеждами*, и что существенность хороша только в *воспоминаниях*.

На другое утро мы уехали, не видав Барона. Он лежал больной в постели.

Если кто-либо из читателей захочет после этого знать будущее, я ворочусь к Барону, узнаю от него! кабалистическую тайну, и передам ее, не прикасаясь к ней. — Жду ответа.

() Бессмертный, характеристический стих покойного А. Е. Измайлова, живой отрывок современной Истории: блаженствует в отставке, под судом! Соч.*

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ.

Кто стоял в Польше на квартирах, тот знает, как милы Польки, и как воссело проводят время в деревнях, у зажиточных, гостеприимных помещиков. Там поныне существует похвальный обычай, воспитывать в доме не только бедных родственниц, но и чужих сирот, и даже снабжать приданым или другим образом обеспечивать судьбу своих воспитанниц. Взросшие в доме девицы обыкновенно остаются там до выхода замуж дочерей хозяина; кроме того, дочери окрестных дворян приезжают на несколько недель, а иногда и месяцев, гостить в дом богатого соседа; молодые люд стекаются со всех сторон любезничать, блистать умом, талантами, вежливостью, в кругу прелестных остроумных дам, и таким образом, в местах, (которые иностранцы, рассчитывая по географическим широтам и долготам, по болотистому или лесистому положению, почитают дикими и скучными), в сих мнимых пустынях находится всегда прекрасное общество, где соединяются все утонченности приличий, хорошего тона и вместе с тем невинной, простодушной веселости. — Музыка, танцы, прогулки, кавалькады, посещения соседей, чтение и откровенные беседы окрыляют время, которое мчится среди забав, как приятное сновидение. Дружба и любовь воздвигают свои жертвенники в сих обществах, и Гименей здесь сплетает первое звено своих сладостных уз, которые иногда превращаются в тяжкия цепи. Одним словом, кто провел юность свою в Польше, тот имеет понятие об острове Клипсы, очарованиях Цирцеи и волшебных замках Армиды.

Гусарский полк стоял в небольшом городке, или как там называют, местечке N.N, по близости которого находилось поместье Графа N. Гостеприимство хозяина, любезность его супруги, красота двух дочерей и нескольких подруг их, привлекали в дом Графа множество гостей и почти всех офицеров полка.

В его деревне был на постое взвод гусар с Поручиком А. , любезным, молодым человеком, воспитанным отлично, пользовавшимся общим уважением. Однажды вечером, за чайным столиком, завели разговор о мертвецах и привидениях. началось шутками. Мужчины смеялись на счет трусости женщин, которые весьма часто боятся того, чему сами не верят; женщины утверждали, что и мужчины платят иногда дань природе и первым впечатлениям юности, и также боятся того, чего не должно ни страшиться, ни опасаться.

—В доказательство нашей неустрашимости, — сказала хозяйка, —я вам расскажу анекдот, слышанный мною от отца моего. В одном Немецком городе, в доме Пастора, заспорили точно так же, как теперь у нас, о трусости и храбрости, о привидениях и мертвецах, а более всего о врожденной боязни женского рода. Несколько молодых студентов утверждали, что ни одна женщина не осмелится пойти ночью на кладбище. Дочь Пастора, девица лет пятнадцати, говорила противное, и попалась об заклад, что она завтра же пойдет одна, в полночь на кладбище, и в доказательство своего посещения принесет череп из ямы, где складываются выкапываемые кости. (*) Самые спорщики ужаснулись сего предложения, но девица настояла, и родители её не противились тому, зная образ мыслей своей дочери на счет мертвецов и привидений. Положено было, чтобы молодые люди оставались в доме Пастора, до возвращения его дочери с кладбища. На другой день, около полуночи, молодые люди пришли к Пастору. Время было осеннее, ночь тёмная, ветер холодный, а кладбище находилось с версту за городом. — Студенты хотели отступить от своего заклада, но неустрашимая девица с улыбкою отвернула снисходительное предложение, простилась и отправилась в путь.

(*) Эти ямы существуют за границею и во всех Католических землях. В Польше они называются костяницами.

Вышед за городские ворота, она пошла чрез поле малою стезею, пробираясь почти ощупью к уединенному храму, который, в нескольких только шагах, открылся взорам в виде длинной черной тени. Наконец она приближается к ограде, с усилием отворяет ветхие ворота, которые, медленно поворачиваясь на ржавых завесах, пронзительным скрипом всполохнули хищных птиц и нетопырей, гнездившихся в полуразрушенной часовне. Гул, как унылый стон, пронёсся медленно и замер в отдалении. — Ветер засвистал в окнах колокольни, и с шумом пристукнул ворота; казалось, будто удар повторился под землёю. Но сердце нашей героини пребыло спокойным; она обошла кругом сельский храм, приблизилась к яме, огороженной низкою деревянною решеткою, и протянула руку, чтобы взять череп.

—Оставь меня в покое! “— раздался гробовый голос.

В сем месте рассказа, Графиня заметила, что некоторые из её слушательниц побледнели, а мужчины усугубили внимание. Она прервала свое повествование.

—Что, господа, — сказала Графиня: —вы видите, что это не шутка!

— Продолжайте, сударыня, —возразил Поручик А.

—Ради Бога, продолжайте! —воскликнули несколько дам, и Графиня продолжала: «Девушка хладнокровно бросила череп и взяла другой.

—Оставь меня в покое! —раздался снова ужасный голос; она опять бросила череп, и взяла третий. В третий раз тоже восклицание, и девушка, вместо того, чтобы снова бросить череп в яму, взяла его спокойно и сказала:

—Извините, господин мертвец, в третий раз вы говорите со мною одним п тем же голосом, следовательно, это не может быть ваша голова. Впрочем, я ненадолго нарушу ваше спокойствие, и завтра же возвращу эту голову на свое место.

Сказав это, она хотела удалиться, как вдруг трое мужчин привстали из-за ближней гробницы и громко воскликнули:

—Вы выиграли заклад! —Это были приятели студентов, побившихся об заклад, которые хотели напугать неустранимую девицу, и отучить ее от подобных предприятий. Они изменили сами себе, заставив одного говорить от имени трех мертвецов. Извинившись в своем поступке и посмеявшись на счет своей неловкости, они проводили Пасторскую дочь до родительского дома, где студенты должны были заплатить заклад, который отдан был бедным».

Когда Графиня кончила рассказ, молчание продолжалось несколько минут, и наконец одна дама сказала:

—Это ужасно: я не верю ни привидениям, ни мертвецам, но ни за что в мире не согласилась бы выдержать подобный опыт. Поступок-студентов, засевших на кладбище, кажется мне более нежеле небагоразумным: это могло причинить смерть молодой упрянице от внезапного страха; этому весьма много примеров.

Все дамы были того же мнения, и даже некоторые мужчины пристали к ним, но Поручик А. спорил и уверял, что он во всем этом не видит ни малейшей причины к страху, и что хотя такая неустрашимость весьма необыкновенна в женщине, но что всякий мужчина, разумеется—не легковёрный, почтет подобное приключение детскою забавою. По долгом споре, положено было целым обществом испытать храбрость Поручика, на что он согласился в угодность дамам.

—Я нимало не сомневаюсь в вашей неустрашимости, “сказал Граф: —но вспомните, Г. Поручик, что воображение иногда берет верх над здравым рассудком. Бывают минуты, в которые самый твердый человек трепещет во мраке и страшится бед, порождаемых одним воображением. Ученые много писали о нервной системе, но смело можно сказать, что до сих пор никто не знает утвердительно, от чего раздражительность нервов, так сильно действует на нашу умственную силу, и без всякой причины порождает в голове черные мысли, а в сердце страх, от чего возникают у нас предчувствия, предварительная боязнь и наконец внезапный ужас, и все это вопреки здравому смыслу. Быть может,

что и на вас найдет минута, в которую ваше мужество поколеблется, Г. Поручик, и я советовал бы вам не принимать на себя трудной роли, предлагаемой вам дамами.

Поручик отвечал смехом на рассуждение Графа, и постановление общества осталось во всей своей силе.

Этим кончился вечер.

Зима прошла в праздничных наслаждениях и забавах. — Дамы истощили всю изобретательность женского ума, чтобы испугать Поручика.

Переодевание, фантасмагория, внезапности, все приведено было в действие, — но тщетно. Поручика не успели напугать, но вывели его из терпения.

Он наконец объявил дамам и своим товарищам, что испытание кончилось, и что он более не намерен быть предметом бесконечных их шуток.

— Господа, — сказал он очень серьёзно мужчинам: — даю честное слово, если кто еще вздумает беспокоить меня по ночам — тот должен опасаться пули. — Вы знаете, что я люблю держать данное слово — и так предостерегаю вас. “

С этого времени шутки прекратились. Между тем наступила перемена в картировании полка, и Поручик с своим взводом перешел в другую деревню, верст за двадцать от дома Графского. В начале лета Поручику нездоровилось, и он с неделю не являлся к гостеприимному соседу.

Граф с женою и с целым семейством навестил его. Поручик жил в крестьянском гумне, которое он убрал по-военному, коврами, оружием, конскими приборами. Постеля его находилась под навесом, в роде палатки; кругом поделаны были диваны, набитые соломой, и все убранство было устроено с таким вкусом, что оно чрезвычайно понравилось дамам. После угощения чаем, конфетами и сухими плодами, гости уехали, желая любезному хозяину скорого выздоровления и радостного свидания.

Несколько дней спустя, Поручик, чувствуя необыкновенный жар и немочь в теле, лег рано постелю и выслал слугу. Он долго не мог сомкнуть глаз и наконец, около полуночи, заснул. Вдруг ворота гумна растворяются с шумом настезь; он внезапно пробуждается, поднимает голову и видит печальную процессию, медленно вступающую в его жилище. Два старца открывают шествие, с зажжёнными светильниками. За ними четыре человека вносят черный гроб и ставят его на пол; двенадцать человек с зелеными свечами медленными шагами идут за гробом. Все они одеты были в длинное черное платье, и все казались достигшими маститой старости. Поставив кругом подсвечники, они трижды поклонились гробу, и в безмолвии удалились. — Ворота снова с шумом затворились за ними. Поручик вовсе не расположен был шутить; он тотчас догадался, что это возобновление конченного условия с дамами, но пренебрежение его угрозе взбесило его. Он в досаде прилёг на подушку, не спуская однакож глаз с гроба. Чрез несколько времени крышка начала приподниматься сама собою и мертвец гигантского роста, окованный цепями, с головою скелета необыкновенной величины, встает потихоньку из гроба и подняв одну руку с окровавленным кинжалом, медленно идет к постели Поручика.

—Прошу убраться прочь! —закричал Поручик грозным голосом: —или я пуцу пулю: клянусь честью, что эта шутка кончится весьма дурно.

Мертвец в безмолвии продолжает шествие по одному направлению. Поручик схватывает заряженный пистолет, висевший над его изголовьем, пробует его шомполом и повторяет угрозы. Мертвец, не внимая им, идет вперед. Поручик приходит в бешенство.

—Так знай же, что слова мои не ветер! —воскликнул он, прицелился, спустил курок, выстрел раздался, и — пуля покатилаь назад к постели, по глиняному полу. Этот случай внезапно наводит на него ужас; он схватывает другой пистолет, стреляет — пуля снова падает на пол, и катится назад к постели.

Поручик вскрикивает диким голосом, волосы поднимаются на нем дыбом, глаза наливаются кровью, и вдруг смертная бледность покрывает его лицо, он простирает вверх руки, хочет кричать, испускает стон и падает навзничь без дыхания.

Офицер, игравший роль мертвеца, вскакивает на землю с кодулей, снимает с себя маску и саван, сбрасывает цепи и стремится к своему товарищу, кричит, призывает на помощь; является целое семейство Графа, которое ожидало за ворота ми развязки этой неуместной шутки, но все это было уже поздно. Все усилия, чтобы привести в чувства несчастного, остаются тщетными. Пробуют отворить кровь — но она оледенела в его жилах. Поручик умер от ужаса!

Слезы отчаяния и раскаянья заступили место предположенного удовольствия в доме Графа. Все его семейство надело траур и во всю жизнь не могло себе простить этого неумышленного убийства. Я, двадцать лет спустя, слышал это происшествие от старшей дочери Графа, которая, вышедши за муж за одного богатого человека, была сама любезною и приветливою хозяйкою, но строго запрещала в своем доме стращать для забавы, мертвецами и привидениями. Да послужит это происшествие уроком для всех, потому, что никто не может отвечать за последствия! Бренный наш состав не всегда может выдержать сильные впечатления внезапного ужаса.

Читатели, может быть, захотят знать, каким образом пули покатались по полу и не попали в страшилище. Игравшие сию несчастную комедию знали, что пистолеты заряжены; они в тот самый день во время прогулки Поручика, разрядили их, и офицер, представлявший мертвеца, имел в руке две пули, которые он покатыл по полу, после каждого выстрела. Древние латы и шлем с забралом, хранившиеся в оружейной Графа, предохраняли его от действия холостого заряда. Вот вся развязка происшествия, которое стоило жизни отважному человеку!

ПРЕДОК и ПОТОМКИ

(Сатирическая повесть)

ГЛАВА I

Гроза на съезде двора. Писарь Михеич. Добыча.

Один из частных приставов Санкт-Петербургской полиции, получив выговор от обер-полицеймейстера и узнав в управе благочиния, что три дела, представленные им в сие присутственное место, решены иначе, нежели он надеялся, возвратился домой в величайшем гневе. Несколько дворников, обвиненных квартальными надзирателями в неисправности, были первыми жертвами гнева частного пристава; потом несколько несчастных пьяниц, поднятых ночью на улицах, подверглись той же участи, и поделом. Собравшиеся в канцелярии квартальные надзиратели и писцы предчувствовали для себя худые последствия от гнева начальника и с трепетом слышали, в отдалении, грозные его речи; а некоторые просители заблагорассудили возвратиться домой и выждать благоприятнейшее время для объяснения своих дел. Наконец частный пристав взбежал, запыхавшись, на лестницу, толкнул ногою дверь в канцелярию, бросил шинель на стол, прикрыв ею трепещущего писца и его бумаги, и скорыми шагами пошел в свои комнаты. Супруга его, получив новый чепец в подарок от модной торговки, недавно переехавшей в часть, выбежала к мужу, чтоб обрадовать его обновкой, которая была ей весьма к лицу, по уверению кухарки, но увидев, что супруг ее весь был в поту и бросал вокруг себя огненные взоры, она побежала назад.

— Куда, сударыня! — воскликнул грозно частный пристав. — Подай водки! — И с сими словами снял шпагу, бросил шляпу и растянулся на канаве, бормоча: — Постой же, я им дам! Я их проучу! Черт их всех побери! Вымешу я на других! Никому ни копейки более!

Между тем жена внесла графин с настойкою густого темно-коричневого цвета, рюмку величиной в полчетверти и несколько тонких ломтиков черного хлеба, крепко натертых солью. Частный пристав влил в горло три рюмки водки, одну за другою, закусил, прошелся несколько раз по комнате и грозно завопил:

— Гей, кто там! трубку!

Тотчас явился сын его, мальчик лет четырнадцати, который воспитывался дома, под надзором нежных родителей, учился грамоте у главного частного писаря, а светскому общению и ловкости у надзирателей, бравших его с собою в театры, в трактиры и в другие публичные заведения. Главная обязанность сынка состояла в том, чтоб набивать рубку папеньки и ходить к главным жителям части с изустными его поручениями. Сынок, в изодранном нанковом сюртуке, без галстука, предстал с большою деревянной трубкой, которую сам раскуривал, и подал ее отцу. Но отец грозно посмотрел на сына и, схватив за включенные волосы, вытолкнул его за двери, промолвив:

— Негодяй, неряха!

Если б съезжий двор мог колебаться, как некогда колебался Олимп от гнева Юпитера, то верно в эту пору не осталось бы камня на камне в сем средоточии порядка и расправы от гнева частного пристава. Сын его, потеряв клоч волос, пробежал по всем коридорам с визгом, возвещая грозу, а супруга сердитого начальника скрылась в кухне.

Но люди сердятся, веселятся, хворают, прыгают, умирают, а бумажные дела текут, текут, как вода в море! Человеческие глупости бесконечны и безостановочны! Невзирая ни на гнев, ни на веселость частного пристава, чернила лились рекою в его канцелярии и, чудесною силою превращаясь в хлеб и вино, утучняли полдюжины писцов, украшая их лица багровым цветом.

Ударил роковой час, и главный писец должен был явиться с кипюю бумаг к своему начальнику. Писец этот, узнав на съезде дворе всю суету мира сего, сделался философом цинической

секты. Хотя он имел угол для своего ночлега, но, подобно Диогену, любил проводить время если не в бочке, то возле бочки и часто отдыхал, по трудах, за нею. Весь гардероб его составляли нанковый сюртук, неизвестно какого цвета, и фризловая шинель, имевшая некогда цвет гороховый. Он так редко брился, что знакомые не узнавали его, когда он являлся на улице выбритый. Однажды в год он ходил на Апраксин двор, в лавки, где продается готовая одежда, и там, подобно улитке, сбрасывал с себя старую оболочку и наряжался в новую. Но этот день был триста шестидесятый от того, в который писец переменял свою оболочку на толкучем рынке, и девятый с тех пор, как чугунная бритва со звоном прошла по щетинистой его бороде, а от того она была теперь как сапожная щетка, а нанковый сюртук похож был на рогожку из сального буяна.

— Есть *делишки* к подписанию и арестанты к выслушанию, ваше высокоблагородие! — сказал писарь.

— Провались ты с делами! Арестантов допросил — да и в преисподнюю, а завтра в управу... Черт вас всех побери!

— Есть одно дельцо *казусное*, ваше высокоблагородие. Из второго квартала доставлен беспаспортный человек...

— В управу! — закричал частный пристав, прервав речь писца.

— Жаль отослать его в управу, ваше высокоблагородие! Человек этот, как кажется, безумный, сиречь сумасшедший...

— Ну, так к Обухову мосту...

— Позвольте высказать, ваше высокоблагородие! При нем найден целый бочонок с новенькими голландскими червончиками да бумажник, полный новеньких беленьких бумажек, только что с иголки...

— Где он, где он?..

— Деньги отданы на сохранение почтеннейшей супруге вашего высокоблагородия Акулине Матвеевне, а человек в арестантской.

— Ах, ты, окаянный! Ты безумный, а не он!.. Ко мне его, сейчас перевесть в мою комнату! А кто допрашивал его?

— Надзиратель второго квартала — и я.

— Беги и приведи тотчас арестанта: я сам допрошу его, а квартальному скажи, чтоб пришел чрез кухню в заднюю комнату и подождал меня.

— Просители дожидаются...

— Пусть выслушает их дежурный... мне некогда я имею поручение... скорей приведи арестанта!

Писец побежал опрометью за двери, а частный пристав закричал:

— Акулька, Кулинька, Акулина Матвеевна!

Жена явилась из кухни, в страхе и трепете.

— Куда ты припрятала деньги, которые дал тебе квартальный?

— Какие деньги, батюшка, Никита Игнатьевич?

— Червонцы и бумажки!

— Знать не знаю и ведать не ведаю, батюшка, Никита Игнатьевич.

— Как, что! Ты не знаешь, где девался бочонок с червонцами и бумажник с ассигнациями?

— А, бочонок и узелок! Так это червонцы и бумажки? У меня, у меня! Ведь квартальный не сказал, что это такое, а просто внес с писарем да велел беречь до твоего прихода. Вот здесь, под кроватью!

Частный пристав пошел в спальню, посмотрел с улыбкой на бочонок, поднял узелок и положил в комод; потом перевел дух из всей силы, как будто для того, чтоб изгнать из сердца всю злость и досаду, и наконец поцеловал жену и сказал:

— Ох, тяжела служба, любезная жена! Если б удалось... но увидим! Вот уже пришли... останься здесь!

Частный пристав возвратился в первую комнату, куда писец ввел человека средних лет, в русском кафтане, с русою окладистою бородою, высокого, широкоплечего и краснощекого. Частный пристав смотрел пристально в глаза арестанту, но не заметил в них ни мутности, ни других примет сумасшествия. Арестант поклонился приставу и сказал:

— Прошу тебя, кормилец, скажи мне, за что меня заперли в тюрьму и отняли мои деньги? Я ни в чем не провинился и не заслужил на то, чтоб меня встретили тюрьмою в моем отечестве, на святой Руси!

Частный пристав не отвечал ни слова и не сводил глаз с незнакомца; наконец сел и, кивнув головою писарю, сказал:

— Садись и пиши, Михеич!.. Изволь отвечать на мои вопросы/

ГЛАВА II

Допрос и сказочные ответы.

— Как тебя зовут? — спросил частный пристав арестанта.

— Сергей Сергеевич Свистушкин, — отвечал незнакомец.

— Готово! — сказал писарь, отряхнув перо и обтерши об рукав бесцветного сюртука.

— Молчи и пиши, Михеич! — возразил пристав. — Откуда ты родом?

— Из Москвы.

— Из какого звания?

— Из дворян московских, стольник его царской милости.

— Что такое? Придворный столяр и из дворян! — сказал пристав в недоумении и снова посмотрел быстро в глаза незнакомцу.

— Прикажете записать, ваше высокоблагородие? — спросил писарь.

— Нет, постой! Что ты несешь околесную! — примолвил пристав, обращаясь к незнакомцу. — Как может быть, чтоб дворянин был столяром? Какой ты дворянин в русском кафтане и с бородой?

— Я, батюшка, не столяр, а стольник его царской милости, царя, государя и великого князя Алексея Михайловича всея России, — отвечал важно незнакомец. — Ношу я кафтан, в котором ходили предки мои и все русские князья и бояре. Бороду не брею, потому что ни один из предков моих не брил ее и что я русский, а не немец.

— И я, братец, не немец, а природный русский, из города Чухломы, — сказал пристав, — но если б явился с бородою к начальнику, то меня выгнали бы в толчки. Об каком ты царе толкуешь? У нас царь, его императорское величество Александр Павлович, а не Алексей Михайлович... Михеич, не знаю, писать ли это? Он несет ахинею! — При сих словах пристав провел пальцем возле своего лба, чтоб дать знать, что у незнакомца вертится в голове. Потом, обратясь к незнакомцу, сказал:

— Послушай-ка, Сергей Сергеевич Свистушкин, не говори о царе Алексее Михайловиче! Ведь за это, брат, попадешь в беду: я не враг тебе и хочу тебе помочь как-нибудь. Где твой паспорт?

— А что такое паспорт?

— Как, ты не знаешь, что такое паспорт! О, это уже слишком! Ты хочешь шутить со мной; так я же тебя проучу! В кандалы!

— Помилуй, отец родной, сжался надо мной и выслушай, ради Бога! Мне говорят, что я в России, а я, русский человек, ничего не понимаю здесь, и меня никто не понимает. Ради Бога, скажи мне, где я? Ужели есть другое царство русское? Все, что я здесь вижу, непохоже на русское, только в речах узнаю русские слова. Ради Бога, объясните мне, где я и что со мною делается!

Частный пристав встал со стула, подозвал к себе писца и сказал:

— Михеич! Что ты думаешь об этом? Надобно ли написать весь вздор, что говорит сумасшедший?

— Разумеется, ваше высокоблагородие: это послужит доказательством, что он сумасшедший. И тогда, — промолвил он вполголоса, — не поверят, когда он скажет, что у него были деньги.

— Правда твоя, Михеич! Послушай-ка, господин придворный столяр, из дворян, небывалого царя Алексея Михайловича! Рассказывай, что тебе угодно. Пока тебя заставят признаться, нам надобно знать, что ты говоришь о себе. Начинай, как ты вышел из Москвы, где был, что делал и как попал сюда без паспорта. Прежде выслушай, Михеич, а после напиши своими словами и вели подписать ему, если он знает грамоте.

— Как мне не знать грамоте! — возразил незнакомец.

— Итак, говори! Мы слушаем.

— В... году, в апреле месяце, царь государь и милостивец наш, Алексей Михайлович, призвал меня к себе, в свои царские кремлевские палаты, в Москве белокаменной, и сказал:

«Сережка! Поезжай к городу Архангельску, да высеки порядочно воеводу и его дьяков, да подьячих, за то, что сдирают лишние подати и берут взятки с православных и немецких купцов, а чтоб плуты не разжирели чужим добром, имение их опиши в мою казну, государеву. После этого сядь на ладью да съезди на Соловки и отдай архимандриту церковную утварь и ризы, которые я обещал на церковь. Всем чернецам дай от меня по пяти алтын, чтоб молили Бога за меня, за деток моих и за всех православных моих подданных. На обратном пути заезжай в Лонь, да высеки пристава, чтоб не крал муки, которую я посылаю лопарям из Архангельска. Потом возвратись в Москву и предстань пред светлые очи мои, государевы...»

Частный пристав прервал речь незнакомца:

— Помилуй, братец, да это сказка! Начать бы тебе: «В некотором царстве, в некотором государстве!...»

— Мне известно «Уложение» царя Алексея Михайловича, — сказал писец, — и я вычитал в «Зерцале Российских государей» ... Позвольте! Полезная книжица сия имеется у сына вашего благородия, Пантелеймона Никитича: мы тотчас увидим! — Писец пошел в другую комнату и возвратился с книгою. — От смерти царя Алексея Михайловича сто... лет. Сколько тебе было лет от роду, когда тебя выслал царь в Архангельск?

— Тридцать шесть, — отвечал незнакомец.

— Дважды два, семь и семь... следовательно, тебе должно быть теперь сто... с лишком лет, — сказал писец, посмотрев насмешливо на знакомого.

— Итак, царь, государь и милостивец наш, Алексей Михайлович, преставился, — сказал незнакомец. — Вечная ему память и царство небесное! Воля ваша, честные господа, но вы шутите надо мною, несчастным, говоря, что мне сто лет с лишком!

— Не ты ли шутишь над нами, братец? — сказал частный пристав. — Смотри только, чтоб не поплатиться за шутки! Впрочем, ври что угодно, это не наше дело. Только говори скорее.

— Приехав в Архангельск, я исполнил царское повеление, высек батогами взяточников и отправился с богомольцами на Соловки. К вечеру настала жестокая буря, и нас понесло Бог знает куда! Хлеба и воды у нас было только на шестеро суток, а нас несло ветром ровнехонько две недели. Умирая с голоду и жажды, мы каждый миг ожидали гибели и уже перестали править ладью, как вдруг восстал еще сильнейший ветер и пригнал нас к ледяным горам. Мы было подумали сперва, что это земля, и обрадовались, но вскоре надежда наша исчезла. Между тем волнение занесло ладью на льдины, и она разбилась вдребезги.

Я не помню, что со мной было, что я делал, где был; долго ли, коротко ли, только, проснувшись, почувствовал, что я лежу во льду. Надо мною была ледяная кора, не толще полуаршина. Солнечные лучи проникали лед насквозь, он таял постепенно сверху и допуская теплоту ко мне. Мне стало так хорошо, когда я

почувствовал, что в жилах моих переливается теплая кровь и что отвердевшие члены снова принимают свою гибкость! Я стал дышать теплым паром, и вскоре ледяное пространство, в котором я был заключен как в гробу, сделалось обширнее, и наконец верхняя льдина лопнула от удара моих ног.

Я вылез из льда, как бабочка из мешочка, и, вздохнув свежим воздухом, чуть не умер от радости и ослабления. Солнце сильно пекло, и со льда текли ручьи пресной воды. Я утолил жажду и укрепился.

Лишь только я вышел из своего ледяного заточения, одежда моя тотчас свалилась с меня и рассыпалась в прах. Это меня несколько обеспокоило, но провидению угодно было спасти меня чудом и довершить избавление чудом же.

В нескольких шагах от меня я увидел трех мертвых белых медведей, как будто околелых от ран, нанесенных клыками каких-то животных. Я, отыскав свой нож, уцелевший от нетления, и содрав шкуру с одного медведя, прикрылся ею, а из других шкур сделал для себя постель во льду. Впрочем, я так закалился, что мало чувствовал действие холода. На берегу ледяного этого острова было много мертвой рыбы и разных улиток; я питался ими и проводил время, смотря в открытое море. Ночи не было в этом месте, и я тогда только ложился спать, когда совершенно выбивался из сил. Страх быть съедену белыми медведями или другими животными не давал мне покоя; но они не осмеливались приближаться ко мне, и лишь только я начинал кричать, то они бежали от меня опрометью. Других зверей я не видел, кроме китов: одного мертвого кита выбросило бурей на лед, что доставило мне не только обильную пищу, но даже оружие из костей этого животного.

Не знаю, сколько времени провел я таким образом, думаю, месяца два, как вдруг поднялась жестокая буря, о какой я и в сказках не слыхивал! Ледяной остров качало, как щепку, и я ожидал, что его или разобьет, или что он канет на дно. На противоположном берегу я слышал страшный стук и грохот и

думал, что ледяные горы уже разрушаются. Сотворив молитву, я прилегал на льду и ожидал смерти. Но вскоре гром и стук исчезли, а через несколько времени буря утихла.

Я взлез на возвышенность льда и увидел, что часть моего ледяного острова отломало и что на берегу лежат обломки корабля. Надеюсь найти человека, спасшегося от кораблекрушения, я побежал туда, но обманулся в ожидании. На льду лежало несколько бочек и бочонков, куски дерева, канаты, а не было ни одной живой души. Со слезами бросился я обнимать куски дерева, давно не виданного мною, и лобызал их как земляка, как вестника с земли, с которою я был разлучен и отдален морем и льдами.

В бочках нашел я сухари и сельди. Я не питался, но лакомился ими, зная, что это последнее средство к моему спасению, если море откажется выбрасывать мне гнилую рыбу и звери найдут другое место для пожирания своей добычи. В бочонках были червонцы; со презрением смотрел я на золото, которое не могло мне принести никакой пользы, и употребил бочонки на то только, чтоб сложить из них род стены, которую прикрыл досками. Положение мое улучшилось, но я боялся наступления зимы и недостатка в пище. Страх будущего тревожил меня в настоящем. Все время проводил я в молитве, приготавливаясь к смерти. Однажды я увидел вдали, в открытом море, движущееся белое пятнышко; я думал сперва, что это стадо китов, но вскоре мог рассмотреть, что это корабль на всех парусах. Не могу рассказать, что я тогда чувствовал! Сперва я бросился на колена и поблагодарил Бога, а после взбежал на высокую льдину и стал махать моей медвежьей шкурой, кричать и прыгать от радости. Ветер был боковой, с корабля увидели меня в подзорную трубку и наконец и услышали мой крик. Вскоре я увидел, что корабль направил путь к моему ледяному острову. Наконец он бросил якорь на малом расстоянии и выслал за мной шлюпку.

На берег вышли немцы. Они осмотрели меня с ног до головы и подумали, что я дикий человек. Наконец мне удалось растолковать им, что я русский. На корабле находился один

матрос, бывший в России; за ним тотчас послали, чтоб он служил переводчиком. Я рассказал мое приключение и заметил, что мне не верили, когда дошла очередь до моего сна внутри льда. Корабельщик и матросы думали, что я помешался в уме; но когда я им указал на бочки с золотом, то они признали, что я в полном уме и даже очень умен. Бочонки и меня взяли на корабль и, не занимаясь более китовою ловлею, отправились в голландскую землю, в город Амстердам. Там взял меня к себе в дом хозяин корабля и при разделе червонцев дал мне два бочонка; один бочонок хозяин променял мне на какие-то бумаги, за которые я должен был получить деньги от здешних немецких купцов, а другой бочонок я взял нераскупоренный и с первым кораблем отправился в Россию.

Третьего дня я прибыл в какой-то город, на острове, в тридцати верстах отсюда, и мне сказали, что я в России. Я думал, что надо мной издеваются, потому что я едва увидел там несколько русских людей, а все прочее там немецкое. Пробыв там несколько часов, корабельщик повез меня с собой на большой лодке, как он говорил, в столицу русского государства, привез в этот большой город и поместил в немецком постоялом дворе. Я стал расспрашивать людей: в каком я царстве? И мне говорят, что я в России. Не знаю, чему верить; только я вижу здесь мало русского. Вероятно, что немцы поселили здесь русских пленных, ибо кроме черного русского народа здесь нет вовсе никого из русских. Немцы разъезжают в дорогих колымагах, а русские развозят их. Немцы живут в высоких каменных палатах, а русские сидят на лавках и лабазах. Русские таскают воду и дрова, чистят улицы, строят хоромы, а немцы только расхаживают да разгуливают. Я не верю и не могу верить, что я в России, и мне все кажется, что надо мной смеются.

Наконец, дело это кончилось тем, что у меня отняли мои червонцы и посадили в тюрьму — ни за что, ни про что! Я, право, в самом деле сойду с ума от всего, что я здесь вижу и слышу!..

Пока арестант рассказывал, частный пристав выкушал раза три водочки и, обернувшись спиною к рассказчику, задремал.

Писец воспользовался этим случаем и выпил остатки, то есть половину графина. Наконец, когда арестант умолк, писец громко сказал:

— Конец и Богу слава! Что прикажете, ваше высокоблагородие?

Частный пристав проснулся на громкое призывание писца, а он повторил:

— Допрос кончен; что прикажете, ваше высокоблагородие?

— В тюрьму! — сказал сквозь зубы пристав, протирая глаза.

— Помилуйте, сжальтесь надо мною! — воскликнул арестант.

Пристав посмотрел на него и, вспомнив дело, сказал:

— В дом сумасшедших, к Обухову мосту! Михеич, напиши отношение в больницу.

Арестант хотел что-то говорить, но замолчал. Он в самом деле начал сомневаться, точно ли он в здравом уме; а наконец решился: лучше быть в руках докторов, нежели тех, которые его допрашивали. Он, в безмолвии, последовал за писцом, который тотчас изготовил отношение, а дежурный квартальный надзиратель отвез несчастного в больницу.

ГЛАВА III

Перемена участи арестанта. Никита Игнатьевич Когтев и его супруга. Следствия откровенности.

Частный пристав, Никита Игнатьевич Когтев, будучи еще брандмейстером, женился, для приобретения покровительства, или, как он говорил, из протекции, на теще своего начальника, частного пристава. Через четыре года брандмейстер, узнав, через жену свою, многие тайны частного пристава, по части карманной, по врожденной откровенности объявил это начальству. А как

начальство знало брандмейстера с хорошей стороны, по рекомендации обвиненного пристава, то обратило на откровенного чиновника особенное внимание, и через год он получил место прежнего своего покровителя. До сих пор Акулина Матвеевна имела первенство в доме, но, когда зять ее перестал быть начальником мужа, Никита Игнатьевич дал ей почувствовать, что он женился на ней *из протекции* и что ей сорок пять лет от рождения. Из полной хозяйки она сделалась первою служанкою в доме, и хотя муж позволял ей принимать подарки, но только самые безделицы, а наконец дошел до того, что первые порывы своего гнева всегда устремлял на жену и даже несколько раз осмеливался прикасаться дерзко ладонью к ее ланитам, где прежде ничего не бывало, кроме румян и поцелуев. Одним словом, жена без протекции, красоты и денег была в тягость Никите Игнатьевичу, а Акулине Матвеевне был несносен муж грубиян и деспот. Они оба желали избавиться друг от друга, но не знали, как.

Наконец Акулине Матвеевне пришло в голову употребить то же средство, каким избавился муж от своего покровителя, то есть откровенностью пред начальством. Она переговорила с квартальным надзирателем, принесшим бочонок с червонцами и узелок с ассигнациями; надзиратель посоветовался с писарем Михеичем, и как уже прошло полторы недели, а частный пристав не говорил ни слова о деньгах ни жене, ни надзирателю, ниже писарю, то однажды вечером потребовали его к начальнику переговорить о сем приятном предмете, и разговор кончился тем, что Никиту Игнатьевича посадили под арест, деньги запечатали и отдали на сохранение в приказ общественного призрения, а несчастного Сергея Свистушкина потребовали для объяснения.

Лекарь, пользовавший его в больнице, почел его лишенным ума. Сергей Свистушкин беспрестанно утверждал, что он стольник двора его царской милости царя, государя и великого князя Алексея Михайловича; не признавал русскими безбородых короткокафтанников; утверждал, что над ним издеваются, говоря с ним языком полурусским и полунемецким, и просил, ради Бога, отпустить его на святую Русь, в Москву белокаменную, к царю-

государю. Но полиция судила иначе, нежели доктор. Она предполагала (и весьма умно), что Сергей Свистушкин, вероятно, какой-нибудь плут или вор, который похитил деньги и, будучи пойман, старается увернуться от расспросов и наказания притворным сумасшествием. Иначе и нельзя было предполагать, и потому Сергея Свистушкина перевели из больницы в тюрьму. Тогда лекарь, пользовавший его, сжалился над его участью (при мысли о бочонке) и представил в полицию ученую диссертацию, в которой доказывал возможность прожить сто лет во льду. Он подкреплял свои предположения всеми известными случаями, а именно, найденными в граните живыми лягушками и змеями, и мухами в янтаре. Хотя лекарь причислял подобные случаи к чудесам природы, однако ж предполагал возможность оных и указывал на ласточек, кочующих зимою (якобы) в воде!

Один антикварий доказывал, что в том именно годе был послан стольник Сергей Свистушкин в Архангельск, при блаженной памяти царя Алексея Михайловиче, и в «Дворцовых записках» (разумеется, рукописных) показан погибшим в переезде на Соловки. Между бумагами Сергея Свистушкина отыскан паспорт из Голландии и свидетельство, что он найден на плавающих ледяных горах, возле Шпицбергена. Об этих бумагах ничего не знал Свистушкин и не понимал их содержания, так же как не знал достоинства ассигнаций.

Все сии доводы послужили одному знаменитому стряпчему удовлетворительными для освобождения Сергея Свистушкина с его деньгами из тюрьмы, что наконец и последовало. *«Слушали и приказали:* Сергея Свистушкина, освободив, отдать на руки родственникам, буде таковые имеются, оставить в сильном подозрении. В чем подозревали его, сумасшествия или похищения денег, о том не упомянуто в решении. Стряпчий называл это лазейкою.

ГЛАВА IV

Перебор родни.

Освободители Сергея Свистушкина: лекарь, антикварий и стряпчий — собрались для совета, к которому из родственников должен он отправиться и в какие войти с родными сношения. Все те, о которых говорил Сергей Свистушкин, как о живых, давно уже покоились на лоне Авраама. Итак, надлежало иметь дело с их потомками, которых вовсе не знал Сергей Свистушкин. Антикварий сидел за столом с адрес-календарем, стряпчий со справками, доктор с сигарой во рту, и все они, выпив по стакану вина, которое бывший стольник называл романею, открыли заседание.

Антикварий. Платон Осипович Свистушкин, кригс-комиссариатский чиновник. Что вы скажете о нем, господа?

С. Свистушкин. Ах, батюшки, боюсь! Это, верно, не из нашего рода, а из немцев. Да я не выговорю его прозвания... крыс, косе...

Лекарь. Этот человек мне не нравится. Я был однажды в тех странах, где он закупал вещи для казны, а если он так же будет соблюдать выгоды Сергея Сергеевича, как казенные, то бочонок скоро превратится в наперсток. Нет ли другого?

Антикварий. Павел Петрович Свистушкин, обер-гитенфер-вальтер.

С. Свистушкин. Опять немец. Не знал я, что в Неметчине у меня столько родни! Видно, бабы наши перебесились да все вышли за немцев. Бог с ними! Поищи-ка между русскими.

Собеседники улыбнулись, а стряпчий сказал:

— Этот обер-гитенфервальтер был добрый человек, но уже два года, как он умер.

Антикварий (перебирая адрес-календарь). Оттого-то и вписан в адрес-календарь, потому что в нем именно не помешают живущих, в два и три года, после определения в службу, а на несколько лет оставляют умерших. Но вот порядочный человек: Иван Иванович Свистушкин, унтер-шталмейстер.

С. Свистушкин. Да отвязись ты со своими немцами! Не хочу, решительно не хочу!

Стряпчий. И я также. Иван Иванович, сколько мне известно, нуждается всегда в деньгах, проживая, тридцать лет сряду, более, нежели сколько позволяют ему доходы. Червончики могли бы ускакать в галоп из бочонка, под руководством господина унтер-шталмейстера. Но зачем стало дело: я предлагаю Кузьму Петровича Свистушкина, обер-прокурора, чиновника степенного, порядочного.

С. Свистушкин. Опять немец! Вы, право, ребята, сговорились, что ли, свести меня с ума! Не хочу, да и только!

Антикварий. Кузьма Петрович поехал к водам, в чужие края.

С. Свистушкин. Вишь какого басурмана хотели навязать мне! Коли б он был русский, то покинул ли бы святую Русь, чтоб идти в чужую землю за водою! Куда же бы он залетел за хлебом? Хорош гусь!

Собеседники рассмеялись, и антикварий сказал:

— Знаете ли, что, господа? Пошлем Сергея Сергеевича к Никандру Семеновичу Свистушкину. Он поэт и притом разгульная головушка. Если ему и перепадет червончик-другой, то, право, не жаль!

Стряпчий. Дельно! Когда поэт будет управлять делами, то, вероятно, без нас не обойдется, а мы из дружбы к Сергею Сергеевичу будем наблюдать за порядком.

С. Свистушкин. Что такое, потомок мой поэт? Где? Верно, на клиресе!

Антикварий. Потомок ваш не поет, но пишет, а между прочим и песенки, которые поют другие, потому что у него самого козлиный голос. Он сочинитель, сиречь человек, который для забавы других слагает вирши, сочиняет сказки и разные другие побасенки.

С. Свистушкин. Понимаю! Это должен быть веселый человек, словно наш Кирша Данилов. Не правда ли, ты, умная голова!

Антикварий. Да, он будет весел до тех пор, пока вы станете хвалить его вирши, а чуть намекнете, что нехороши, так и укусит...

С. Свистушкин. Так зачем же не посадят его на цепь, когда он кусается?

Антикварий. Сорвется! Но я шучу, почтенный Сергей Сергеевич! В излишней щекотливости и в страсти к похвалам нельзя обвинить одного нашего потомка. Ведь все почти стихотворцы на один покрой, до тех пор хороши, пока их похваливаешь, а за каждое словцо — тотчас готовы в драку. Я думаю, и ваш Кирша Данилов был таков.

С. Свистушкин. Точнехонько! Бывало, как напьется пьян, окаянный, так и на всех брешет, аки пес, ни за что, ни про что; а как похвалишь его песенку, так лижется и смирен, как овечка.

Антикварий. Ну вот видите! Впрочем, ваш, право, малый добрый, а если б у него было столько ума, сколько кудрявых слов и складных речей, и столько чувства, сколько тщеславия, то он далеко бы ушел.

С. Свистушкин. Вы меня так настращали своими немцами, что я боюсь выбирать, а пойду к этому весельчаку. Пускай на старость утешает меня сказками и прибаутками, да складывает песенки. Все это лучше, чем обдирать безвинных людей и запирать в доме сумасшедших!

Лекарь и стряпчий согласились на выбор антиквария, и Свистушкин отправился с ним к своему потомку.

ГЛАВА V

Старое и новое мнение о России.

Бывший стольник не хотел сесть в карету, сказав, что только женщинам прилично ездить в закрытых колымагах. На дрожки он взглянул и засмеялся во все горло, ибо в это самое время проехал в этом экипаже мужчина с женщиной, в самом странном положении. Верховой лошади не было, итак, стольник вознамерился идти пешком.

— Ты мне кажешься человеком умным, — сказал Сергей Свистушкин антикварию, — потому я намерен открыть тебе, что я думаю обо всем, что здесь вижу и слышу, а вместе с этим прошу сказать мне всю правду. Я читал в хронографах, что когда варяги пришли в Новгород и завладели славянскою землею, то в народе была великая смута, оттого, что дружина Рюрикова хотела господствовать и вводить свои обычаи, а славяне желали остаться при своем и принудить варяг жить по-своему. Что я вижу здесь, походит на это. Все вы называетесь русскими, а вы так же похожи на русских, как я на кита или на белого медведя. Посмотри на себя, умная голова! Ведь ты одет шутю. Твой кургузый кафтан ни греет тебя, ни прикрывает. Безбородое лицо твое походит, прости Господи, на окорок. На голове у тебя хохол, как у индейского петуха, грудь прикрыта лохмотьями, шея лохмотьями — срам, да и только! Где я ни был с тобой, иконы не доищешься, а стены испещрены всякими погаными изображениями: собаками, голыми людьми да идолами! В пятницу и в Филиппов пост в русских харчевнях едят мясо и курят табачище люди, называющиеся русскими! Ты сам, умная голова, ел, на мой счет, поганые яства: раковины, раков, угрей, как будто с голоду, на ледяном острове. Редкий из вас крестится перед церковью и перед иконою на улице, а в избе так вы и не думаете о молитве! В язык русский напутали вы каких-то чухонских слов и говорите между собою такой вздор, что уши вянут! Всех русских купцов заперли вы в гостинный двор, а в домах своих открыли лавки и посадили туда немецких баб да

девок. Господи, прости и помилуй! Суший Содом и Гоморра! Скажи, пожалуйста, откуда вы взяли это?

— Вы смотрите на предметы с одной точки зрения. Сын блаженной памяти царя Алексея Михайловича, Петр Алексеевич, справедливо названный Великим, поехал в чужие страны посмотреть, как живут на свете Другие народы, которые присылали к нам свои товары, своих мастеров и всяких искусников. Петр Алексеевич убедился, что если Россия будет оставаться в своем невежественном положении, то есть не станет учиться тому, что знают иностранцы, то кончится тем, что ее покорят, разделят и русских сделают рабами иноплеменников, ибо ум и искусство торжествуют всегда над силою и покоряют ее так точно, как человек умом и искусством ловит слона, льва и кита. Татары покорили Россию оттого, что были искуснее нас в военном деле, а поляки, при самозванцах, не страшились десятками нападать на наши сотни, потому что лучше нас знали военное ремесло. Чтобы не покупать втридорога нужного для нас у иностранцев, надобно было учиться у них выделять разные товары дома и для этого надобно было знать разные науки, равно и для того, чтобы уметь пользоваться дарами нашей земли русской, управлять ею для блага всех, по воле добрых наших царей, и защищать престол, церковь и отечество умом и оружием от лукавого и сильного врага. Плоды этих начинаний мудрого Петра удостоверили нас в истине, что просвещение есть первое благо для царей и народов. Во сто лет мы побили всех соседей, отняли древние наши области, покорили целые царства и имеем, или по крайней мере знаем, что можем иметь, все то, что имеют иностранцы. Всем этим обязаны мы наукам и искусствам! В эти сто лет, обращаясь непрерывно с иностранцами, мы переняли многие их обычаи, ввели в употребление много новых слов, перешедших к нам с новыми вещами и новыми понятиями, и переоделись по-иностранному, чтоб не отличаться от других просвещенных народов, составляющих одно европейское семейство. Вот вам, Сергей Сергеевич, объяснение той перемены, которую вы нашли по прошествии ста лет. Но верьте, что мы в

душе остались те же русские, любим царей наших, знаем православную нашу веру, следуем святым ее уставам и преданы Отечеству.

— Дай Бог, чтоб все это была правда, что ты говоришь, умная голова! — сказал бывший стольник. — Только едва ли не лукавый опутал нас. Даст Бог, поживем — увидим!

ГЛАВА VI

Новые обычаи и старые грехи.

— Скажи, пожалуйста, зачем все эти дома испачканы надписями на иностранном языке? — спросил Сергей Свистушкин антиквария, проходя с ним по улицам Петербурга.

— Это вывески, указание места, где живут разные ремесленники и где находятся лавки, или складка товаров на продажу.

— Зачем же это написано не по-русски в русском городе? Постой, постой! Понимаю! Вероятно, русские хотят, чтоб приезжающие сюда иностранцы знали, где что можно сыскать и купить, и для того наши пишут по-немецки. Не правда ли?

— Нет, это не так. Напротив того, это надписывают иностранцы, чтоб русские знали, где сыскать их лавку или мастерскую.

— Помилуй, брат! Как это? Для русских в русском городе пишут по-немецки? Да в этом нет толку.

— Толку мало, но таков обычай. Русские покупают охотнее в той лавке, где надпись на иностранном языке и в которой торговец не знает по-русски. Равномерно мы иностранных мастеровых предпочитаем своим.

— Так где же ваше просвещение, которым ты хвастал передо мною! Из этого видно, что иностранцы лучше работают и торгуют лучшими товарами.

— Совсем нет. Иностранцы торгуют товарами, сделанными в России, русскими людьми, а только лавку свою называют немецкою, голландскою или английскою. У немецкого мастера работают русские, а он покуривает табак да собирает денежки. Но к иностранцам идут все; оттого... я, право, не умею сказать отчего... ну, вот так, затем, что они иностранцы.

— Спасибо за такое просвещение!

— Это остаток старого предрассудка. Сначала все лучшее делали у нас иностранцы, так и теперь осталась мысль, что они умнее русских. По несчастью, покупатели редко заглядывают в мастерские, а немногие знают, что лучшие товары изготавливаются русскими.

— А просвещение-то на что? Я думал на то, чтоб рассуждать, соображать, мыслить...

— Так быть должно, но как это тяжеленько, то большая часть заставляет других думать за себя, а сами пользуются готовым. Точно так, как барин велит повару готовить яства, а сам только кушает во здравие.

— А если повар окормит его мухоморами?

— Туда и дорога!

— А если, вместо рябчика, попотчует вороньим мясом?

— Подсластить, так и не узнает, что за мясо.

— Так вы живете, зажмурия глаза, и позволяете водить себя за нос иностранцам!

— Да, потому, что это находят очень приятным. Достоинство вещи зависит от мнения, которое об ней имеют. Какая нужда, что мой кафтан сшит русским, если я воображаю, что его сшил француз и, верю, что он лучше, когда его сшил француз!

— Мороченье, обман! Смешны вы мне, с вашим просвещением! Прочти-ка мне хоть одну из этих надписей.

— Я не могу вам перевести этого буквально, потому что в этой иностранной надписи вовсе нет смысла. Догадываюсь только, что здесь продают шелковые товары.

— Ну, брат, мудреные вы люди, когда для вас пишут на иностранном языке, да еще и без смысла. А я думал, что к вам заезжает все народ умный!

— И точно неглупый, но неученый. Притом же не всякой обязан знать тот язык, на котором пишет свою вывеску. У нас и чухны слывут парижанами, как заведут французского подмастерья или сидельца да напишут свое имя по-французски. Даже русские надписывают по-французски над своими заведениями

— Да, это, брат, сушая умора! И вы хотели запереть меня в дом умалишенных? Не перенести ли надписи из той больницы, где я был, к городским воротам?

— Другие времена, другие нравы!

— Ну, а эти иностранные торговцы и мастеровые навсегда поселились в России, что ли? Присягнули на подданство?

— Весьма немногие. Сюда приезжают только затем, чтоб составить капитал, а как карман полон, так они едут домой, в свою землю, да и бранят еще русских.

— А русские, верно, ездят за тем же за границу?

— Я не слыхал ни про одного русского купца, который бы разбогател за границей, не знаю ни одного, который бы имел торговое заведение в чужих краях. Об мастеровых даже и говорить нечего! Даже русские купцы, живущие здесь, не торгуют прямо с чужими краями, а делают это здешние иностранцы.

— Посмотри-ка мне в глаза! Нет, воля твоя, а мне кажется, что на нас подуло каким-то ветром, который всем вам вскружил головы! Ведь во всем, что ты мне говоришь, нет ни здравого смысла, ни толку! Право, сумасшедшие лучше знают свои выгоды.

— Отчасти правда! Но что делать, обычай!

— Скажи: дурачество, сумасшествие!

В это время встретились с ними три мальчика, весьма чисто одетые, в сопровождении наставника. Антикварий остановился и поговорил с детьми и с наставником на иностранном языке.

— Это, верно, также иностранный купец, который собирает в России наследство для своих деток? — спросил Сергей Свистушкин.

— Нет. Это дети русского князя, с наставником своим.

— Зачем же ты не поговорил с ними по-русски?

— Они не умеют говорить по-русски, — отвечал антикварий с улыбкою.

— Шутишь, что ли?

— Клянусь честью, что это дети природного русского князя, русские по отцу и по матери, и что они не знают ни словечка по-русски!

— Как же это случилось? Верно, остались сиротами в чужой земле?

— Это дело не случая и не сиротства, но обычая. У нас знатные господа не говорят между собою по-русски и часто вступают в службу по такой части, где даже не нужно им ни писать, ни читать по-русски. А как произношение французского языка довольно трудно, то детей от колыбели учат французскому языку, дают им сперва няньку, а потом дядьку из французов и до вступления в службу держат при них иностранцев.

С. Свистушкин прервал речь антиквария:

— На каком же языке они молятся, эти русские?

— По-французски!

Сергей Свистушкин остановился, воздел руки к небу, потом перекрестился, и слезы градом полились из глаз его.

— Боже мой! Для того ли ты избавил меня от смерти, чтоб я был свидетелем поношения моих потомков? Русские не говорят между собою по-русски! Русские молятся не по-русски русскому Богу! Русские отдают детей своих на воспитание иностранцам!.. Послушай, брат, правду говоришь?

— Клянусь Богом, что правду! Но вы должны знать, что не все русские так делают, а только некоторые из знатных и богатых.

— О, зачем я не умер, зачем не лишился ума! — воскликнул Сергей Свистушкин. — Мне было бы легче, если б я нашел Россию, покоренную иноземцами: тогда, по крайней мере, была бы надежда свергнуть с себя иго, подобное тому, как мы свергнули и иго татарское и самозванцев. Но это добровольное порабощение, это постыдное сознание своего ничтожества, это желание казаться не тем, чем Бог нас создал, это отречение от языка предков... есть верх унижения и постыдно не только для русского народа, но для всего человечества! О, зачем я не умер, зачем не лишился ума!

Это случилось с ними возле одной церкви. Поравнявшись с нею, С. Свистушкин вошел в церковь, распростерся на помосте храма и, громко рыдая, взывал к Богу русскому, чтоб он просветил потомков его и избавил их от ига чужеземных, бесполезных обычаев, а с тем вместе от посрамления.

ГЛАВА VII

Русский книжный магазин.

Молитва облегчила грусть Сергея Свистушкина, и он вздохнул свободнее. Вышед на улицу, антикварий сказал ему:

— Не угодно ли завернуть в лавку, где продаются книги? Там мы узнаем, где жилище вашего внука.

— Пожалуй! Любопытно посмотреть на книги. Я, бывало, любил проводить время в монастырских книгохранилищах. Посмотрим, что-то написано о наших временах!

Они вошли в лавку или в магазин. Уже было около 6 часов вечера, и запах рома слышен был в лавке, вероятно, для предупреждения гнилости и для истребления неприятного запаха от сырой бумаги. В лавке было два торговца, из которых один казался хозяином, а другой слугою, хотя между ними было что-то общее. Тот, который казался слугою, беспрестанно смотрел на своего товарища (вроде господина) и передразнивал все его ухватки. Если первый улыбался, то и другой делал то же; первый

кланялся — и другой гнулся; первый бежал за книгами — и другой спешил туда же. Это припоминало несколько Дон Кихота с его Санчо Пансой.

— Сядьте и отдохните, Сергей Сергеевич, — сказал антикварий, — вы устали, и я также.

Хозяин лавки, почитая Свистушкина богатым иногородным купцом, пришедшим покупать книги для пожертвования какому-нибудь училищу, чтоб приобрести медаль, поспешил подать ему стул. Товарищ его хотел предупредить его, и они так жестоко стукнулись лбами, что раздался стук, как от удара двух спелых арбузов. Сергей Свистушкин охнул и примолвил:

— Видно, крепколобого десятка!

— Есть ли у вас сочинения Никандра Семеновича Свистушкина? — спросил антикварий.

— Как не быть! Есть-с, — отвечал хозяин.

— Есть-с! — примолвил его товарищ, бросился к полкам и принес целую кипу тоненьких книжонок.

Сергей Свистушкин взял в руки одну книжонку, развернул ее и остановился.

— Что это? Разве это по-русски напечатано? — спросил он у антиквария.

— Это гражданские буквы, изобретенные при царе Петре Алексеевиче, — ответил антикварий. — Старинные буквы употребляются только для печатания церковных книг.

При сих словах книгопродавцы, думая, что Сергей Свистушкин безграмотный, но богатый купец, удвоили к нему свое внимание, ибо книгопродавцы весьма уважают безграмотных покупателей, которым могут сбывать с рук залежалые книги своего издания, писанные на заказ по рублю за лист, а продаваемые по десяти и более рублей. Хозяин сделал гримасу, означающую улыбку, и с поклоном сказал:

— Прекраснейшая книга-с! Славного, знаменитого и модного сочинителя!

— Прекраснейшая книга-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— Прочти-ка заглавие, разумная голова! — сказал С. Свистушкин, подавая книгу антикварию.

— «Воры». Поэма, сочинение Никандра Свистушкина, в стихах.

— Что ты говоришь? Мой потомок пишет о ворах! Разве он служит в сыском приказе?

Книжники посмотрели друг на друга в недоумении и не знали, что отвечать.

— Это выдумка, сказка, — сказал антикварий.

— В наше время так няньки, дядьки и холопы слагали сказки, а ныне, видно, дворянским сынам нечего делать, когда они взялись за это ремесло. Я никогда не воображал, чтоб мой потомок попал в сказочники!

— Сказки неравны, Сергей Сергеевич! — возразил антикварий. — От старинных сказок ничего не требовалось, кроме того, чтоб связать кое-как выдуманное происшествие. А ныне от сказки, называемой по-гречески поэмой, требуется гладких стихов, силы воображения, картин, списанных с природы, познания человеческого сердца, глубокой нравственности, философии.

— Перестань, умная голова! — сказал Сергей Свистушкин. — Зачем столько мудрости, чтоб описывать житей-бытьё воров? Стоит ли умному человеку ломать себе голову, чтоб узнать то, что известно каждому тюремщику! Ты морочишь меня.

— Нет, я говорю правду, Сергей Сергеевич. Здесь дело не о ворах, а об искусстве в рассказе. Один знаменитый немецкий стихотворец, по имени Шиллер, прославился, написав трагедию, или, как в ваше время называли, «Камедь о разбойниках», так и наши пустились тем же путем. Это мода, обычай века, чтоб

описывать и выводить напоказ все, что есть худшего в мире: воров, убийц, бездушных изменников, бешеных — словом, всякого рода злодеев.

— Хорош обычай! Уж лучше бы описывать каких-нибудь витязей, хоть вымышленных, каковы, например, Полкан-богатырь, Бова Королевич и тому подобные.

— Вот другое сочинение нашего потомка, под заглавием: «*Жиды...*» — сказал антикварий, развертывая книгу.

— Ну их к черту, — возразил Сергей Свистушкин. — Этакой проказник мой потомок! Я думаю, что он скоро доберется до чертей.

— Вот-с, прекраснейшие-с стихи-с, столь же знаменитого по-эта-с, как и Никандр Семенович Свистушкин-с, — сказал книгопродавец с улыбкою, подавая несколько томов. — Здесь более чертей-с, нежели в самом аду-с, и столько мертвецов-с, что не поместятся на всех наших кладбищах-с! Прекраснейшие книги-с!

— Прекрасная книга-с! — примолвил товарищ хозяина, также улыбаясь.

— Отвяжитесь вы от меня, греховодники! — сказал с гневом Сергей Свистушкин и встал со стула.

— Вы не любите-с чертовщины-с, — сказал книгопродавец. — Жаль, а это и в моде, и доставляет великую славу и уважение-с. Не угодно ли-с?

— Чертовщина доставляет славу и уважение! Да вы с ума сошли! — сказал С. Свистушкин.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с, — сказал книжник.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с, — примолвил товарищ хозяина. — Сочинитель пишет в древнем вкусе-с.

Сергей Свистушкин не удостоил ответом книжников и посматривая на полки, спросил:

— Неужели все это русские книги?

— Никак нет-с. Русских книг есть гораздо более, нежели сколько их здесь видите-с, — отвечал хозяин. — Но если что прикажете, то я тотчас пошлю в другие лавки.

Товарищ хозяина тотчас бросился к дверям и, держась за ручку замка, сказал:

— Что прикажете? Сейчас принесу!

— А ты сам пишешь ли книги? — спросил Сергей Свистушкин.

— Это не наше дело, — сказал книжник.

— Итак, ты торгуешь чужим умом, чужим добром и чужим трудом! — примолвил Сергей Свистушкин. — Видно, за то немного и барыша!

— Очень-с немного! За чужой товар я получаю *только* по двадцати копеек с рубля.

— Только! За это *только* надобно было бы подержать тебя на правее! Ты, брат, как я вижу, не жнешь, не сеешь, а хлебец собираешь!.. Это что за книжонки?

— Детские, в пользу воспитания юношества, не прикажете ли-с?

— А кто их пишет? Верно, отцы семейств, люди, занимающиеся воспитанием юношества?

— Никак нет-с. Отцы семейств и наставники покупают-с, а сочиняет кто попало, большею частью молодые люди, на заказ.

— Посечь бы этих ребят за то, что пишут для детей, едва вышед из детства, и тех, которые заказывают! — сказал Сергей Свистушкин. — Это что за кипы тоненьких книжонок и листов?

— Журналы и газеты-с. Не угодно ли подписаться-с?

— А что такое... как бишь их, журналы, что ли, и газеты?

Книгопродавцы и антикварий улыбнулись, и сей последний сказал:

— Журналы суть книжки, выходящие в известные сроки. Издатели их обязуются помещать новые небольшие сочинения и

разбирать, то есть оценят по достоинству отдельно выходящие книги.

— Так, стало быть, эти издатели умнее и опытнее других в книжном деле? — спросил Сергей Свистушкин.

— Так быть должно, но, по несчастью, по большей части дело идет напротив. Судят и рьят те, которые сами не могут и не умеют написать трех строк порядочно, а осуждают тех, которые их умнее.

— У вас, как я вижу, все идет наоборот!.. А *газеты* что такое?

— В них извещают о всех происшествиях, случившихся в целом мире, — отвечал антикварий.

— Вот это славно! И что ж, обо всем пишут правду?

— Не всегда. Иногда умалчивают о том, что знать всем должно, а извещают о том, чего знать вовсе не нужно, и представляют вещи не так, как они есть, а как надобно, чтоб было иногда и выдумывают небылицы...

— Что за чудеса, все идет наперекор здравому смыслу!.. Это что за книги?

— История Российская-с. Превосходнейшая-с! Не угодно ли-с?

— То есть летописи и хронографы, пересказанные другими словами, украшенные вымыслами, рассуждениями, или распространенные по воле сочинителя, по надобности и по духу времени, — сказал антикварий.

— Так, стало быть, те же сказки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, а это что за книги?

— Землеописание Российского государства-с! Не угодно ли-с? Прекраснейшая-с книга-с!

— А справедливо ли все описано?

— В этом нельзя поручиться, — отвечал антикварий. — Сочинители, описывая страну, сами не ездят по ней, не меряют, не считают, не поверяют, не наблюдают, а извлекают известия из

разных старых и новых книг, составленных также по слухам; и прибавляют все, что им кажется справедливым. Оттого выходит, что часто жители какого-нибудь города читают, что про них пишут, да посмеиваются, находя совсем противное на бумаге тому, что есть на деле!

— Так какая же из этого польза? Те же сказки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, брат, охотники вы до сказок, и не мудрено, что вы мои похождения назвали сказкою! Странное дело, ваше просвещение! Намереваетесь делать одно, а делаете другое, знаете сами, что пишете ложь, а принимаете за правду и вместо того, чтоб прославлять великих мужей, описываете воров и негодяев!.. Пойдем, брат, отсюда; здесь потеряешь ум, а не научишься ничему доброму. Однако ж я зайду к тебе на досуге и выберу кое-что для себя, чтоб посмеяться.

— Милости просим-с! — сказал книгопродавец, с поклоном и улыбкою.

— Милости просим-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— А где живет Никандр Семенович Свистушкин? — спросил антикварий.

— Недалеко отсюда. Но вы его не найдете теперь дома; теперь такое время, что он сидит где-нибудь в кругу своих знаменитых друзей и принимает дань удивления и похвал. Поезжайте

к его закадычному другу, барону Шнапсу фон Габенихтсу. Он получил сегодня за треть жалованье: так, верно, у него происходит жертвоприношение трем божествам вечно новых поэтов: Вакху, Лени и Свободе. Барон Шнапс фон Габенихтс живет за Конной, в доме Запивошкина.

— Неужели ваши писцы идолопоклонники? — спросил Сергей Свистушкин. — Я боюсь за моего потомка.

— Не бойтесь! Жертва не есть еще вера, — возразил антикварий.

Антикварий с бывшим стольником вышли из лавки, наняли крытые дрожки и поехали к барону Шнапсу фон Габенихтсу.

ГЛАВА VIII

Заседание любимых сынов Аполлона, поклонников Вакха, Лени и Свободы.

Антикварий с бывшим стольником вошли в ворота дома Запивошкина, чтоб спросить дворника о жилище барона Шнапса фон Габенихтса. Дворник указал им на окна третьего этажа, под которыми лежала куча обломков бутылок, и повел их по узкой грязной лестнице. В передней они увидели остатки, или барельефы пиршества: обороченные жестяные судки, соленые огурцы на промокнутой бумаге, которою наделяют покупателей в мелочных лавочках, соль, рассыпанную на столе, квас в умывальнике и т. п.

Вошед в первую и последнюю комнату барона Шнапса фон Габенихтса, они увидели собрание... (листы рукописи затеряны, а когда найдутся, то будут напечатаны в новом издании, в 1930 году).

Бывший стольник царя Алексея Михайловича так испугался своего потомка, что, воспользовавшись замешательством вакхической беседы, бросился за двери и, сбежав с лестницы, пустился во всю прыть по улице. Антикварий догнал его и удержал за руку.

— Что с вами случилось, Сергей Сергеевич? Неужели вы испугались деревянного кинжала в руках вашего потомка?

Бывший стольник молчал и только пыхтел. Антикварий продолжал:

— Напрасно вы испугались, Сергей Сергеевич! Ваш потомок и его товарищи, право, в существе добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар от самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувствования. Они сами не знают, чего хотят и что делают! Вопят противу всего, в

чаду винного упоения; помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования, а на деле лижут прах ног каждого сильного из одной надежды получить что-либо и ради обеда прославляют в посланиях блистательных шутов. Ей-Богу, они только смешны, достойны сожаления, но вовсе не опасны со своими кинжалами и перунами! Я бы советовал вам взять вашего потомка к себе на дом и запереть на некоторое время, чтоб разлучить с его демоном-соблазнителем, с его друзьями, а может быть, вам удалось бы исправить...

— Да перестань! — воскликнул с досадой Сергей Свистушкин. — Что ты меня морочишь! Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое животное; не человек, а обезьяна! В этом ты не переуверишь меня, хоть божись, хоть клянись! Пускай себе она хоть утонет в вине... я знать не хочу!

ГЛАВА IX

Модная дама.

Проезжая по одной улице, антикварий велел остановиться перед освещенным домом и сказал Сергею Свистушкину:

— Помните, что вам, по решению суда, должно непременно войти в связь с кем-нибудь из ваших потомков. Вот здесь живет одна молодая женщина, из рода Свистушкиных, вышедшая недавно замуж за камергера Бамбулинского. Мне сказывали, что она очень добрая и хорошо воспитанная женщина, а как женский пол вообще лучше мужского, то я надеюсь, что она не станет вас царапать и угрожать зубами, подобно вашему кинжалоносному потомку... Не угодно ли войти?

Сергей Свистушкин, не говоря ни слова, охнул только и слез с дрожek.

По какому-то необыкновенному случаю в передней не было лакея, и антикварий вошел со своим спутником прямо в залу, а потом в гостиную. Там вокруг чайного столика сидело несколько молодых дамочек и разряженных франтов. Хозяйка вскрикнула от

ужаса, увидев в своей гостиной человека в русском кафтане и с бородой.

— Ah, mon Dieu! un Russe! une barbe! (ах, Боже мой! русский бородач!) — воскликнула она и хотела бежать.

— Чего вам угодно? — спросил один из рыцарей пустословия, смело подошел к антикварию.

— Этот господин, предок почтенной хозяйки дома, хочет познакомиться с нею, — сказал антикварий.

— Что? Мой предок, русский, бородач! — воскликнула дама. — Господа, избавьте меня от этих дерзких!

— Сударыня! — сказал антикварий. — Предки наши ходили с бородами и в русских кафтанах, и стоящий пред вами есть стольник двора его царского величества, человек не нашего века... — Тут антикварий принялся рассказывать историю Сергея Свистушкина, но ему не позволили продолжать, и хозяйка убежала с дамами в другую комнату, восклицая:

— Мой предок с бородой! Это ужасно! Если б он имел миллионы, я не хочу иметь предка в русском кафтане и с бородой. Это сделано кем-нибудь нарочно, чтоб взбесить меня, верно, из ревности или зависти. Предок с бородой! *Fi done!*

Сергей Свистушкин должен был выйти из дому. Некоторые щеголи хотели кончить прием грубостями, но крепкие мышцы бывшего стольника и гневный взгляд умирили их.

Вышед на улицу, Сергей Свистушкин сказал:

— Вот этого я еще не ожидал, чтоб потомки стыдились своих предков, чтоб страшились, как сумы, русского с бородой! Ай да просвещение!

— Эта барыня не виновата: она воспитана француженкою в совершенном невежестве насчет всего отечественного, невзирая на то, что она очень добрая и милая женщина. Если б я имел время растолковать, объяснить ей...

— Не беспокойся, — возразил Сергей Свистушкин, — я не признаю моими потомками тех, которые бегают от бородачей:

если б она даже полагала, что я русский мужик, то по боярскому обычаю должна была бы принять меня вежливо и выслушать.

— Если б вы пришли в наряде французского мужика или матроса, то эти бабенки верно бы расплакались от радости! Согласен с вами, что это глупость, но утешьтесь, это пройдет, ибо это происходит от головы, а не от сердца.

ГЛАВА X

Заключение.

Возвратясь в свою квартиру, Сергей Свистушкин сел за стол, посадил напротив себя антиквария и сказал:

— Прошу тебя отвечать на мои вопросы кратко и ясно.

— Извольте!

— Берут ли взятки судьи ваши и дьяки?

— Ох, берут!

— Так было и у нас! А исполняют ли во всей точности законы и царскую волю?

— Если б это исполнилось, то мы были бы счастливейшими людьми! Большая часть подьячих исполняет закон, поколику он ему полезен...

— Точно так, как было у нас! Берегут ли и хранят ли у вас по совести казну государеву?

— Казна, как масло, как пройдет по рукам, так растает и останется на пальцах.

— Точнехонько, как было у нас! Чем у вас достигают скорей до желаемого: умом или хитростью?

— Чаще хитростью.

— Ни дать, ни взять, как было у нас! Ведется ли между вами клевета?

— Ох, ведется! Чуть человек обратит на себя внимание чем-нибудь, едва выступит из толпы, тотчас на него и накинется все, как коршуны!

— Так бывало и у нас! Что у вас предпочитается: ум или деньги?

— Деньги!

— То же самое, что было у нас! А уважаются ли у вас честность и заслуга?

— Честные утешаются пословицею, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадет. Только б царь узнал о честности и заслуге, тогда верно наградит... А на других плохая надежда!

— Точнехонько, как было у нас, даже и пословица нашего времени! Верны ли ваши жены?.. Послушны ли мужья?

— На это трудно отвечать! Есть всякие. Впрочем, мы за этим не гонимся!

— Вот это не так, как было у нас! Первыми добродетелями жены почитались у нас верность и послушание. Не мудрено, что я не могу отыскать потомка, похожего на предков, и что ты мне представил обезьяну вместо потомка! А мужья?

— Об этом и говорить нечего; Впрочем, у нас супруги редко даже видаются между собою; каждый живет на свой счет, а разъезжает другим путем, за границей!

— Не так, как было у нас! Если б у нас жена вздумала разъезжать без мужа, то ее заперли бы в монастырь, на покаянье, и поделом!

— Без сомнения, поделом!

— А дети ваши послушны ли, почтительны ли?

— Да, когда у родителей есть деньги и когда у детей в виду богатое наследство.

— Это опять не так, как было у нас! У нас сын, хотя был бы знатнее царского тестя, а богаче первого боярина, то уважал родителей, если б они даже были нищими... Но я вижу, что мне не кончить с тобой до завтра. Скажи мне наконец: какую же пользу

принесло вам это просвещение, которое ты столько выхваляешь передо мною? Я думал, что оно введено для того, чтоб вы были лучшими, а вижу, что вы не только не отстали от наших пороков, но еще приобрели новые; а что всего ужаснее, забыв страх Божий, променяли русский язык на какое-то лепетанье и отдали детей своих чужеземцам, чтоб они истребили в них любовь к Отечеству и возбудили привязанность к чужой стране! Этот грех не стоит того, что вы приобрели просвещением, то есть что оделись в кургузые кафтаны и выбрили подбородки! Царь Петр Алексеевич не того хотел от вас, когда вводил иностранное просвещение. Он без сомнения желал, чтоб вы отбросили старые пороки и приобрели новые добродетели. Для вас пишут хорошие законы, заводят школы, строят великолепные города, об вас цари пекутся, как о детях, а из всего этого, как я вижу, мало толку, и твое хваленое просвещение не искоренило ни взяток, ни клеветы, ни гордости в боярах, ни глупого тщеславия в юношестве, а из боярских деток, боярчонков и боярышень наделало каких-то полунемецких кукол. Сердце болит, когда подумаю об этом! Спасибо за просвещение, если от него вся польза — кургузый кафтан и бритый подбородок.

— Все, что вы приписываете просвещению, есть действие невежества, — отвечал антикварий, — которое только прикрыто лаком образованием. Просвещение есть дерево, которое скоро произрастает, скоро расцветает, но поздно приносит зрелые плоды. Придет время, и мы вкусим плоды, которые теперь еще не созрели! Главное препятствие к искоренению пороков есть *ложно понимаемая любовь к Отечеству*. Наши современники не любят, чтоб им говорили правду, чтоб указывали на их слабости и предрассудки, но хотят, чтоб их хвалили, превозносили. В этом похожи они на устарелую красавицу, которая, нарумянив и набелив лицо, думает, что никто этого не видит, потому что никто не говорит ей этого в глаза. Но если мы образумимся и нападём общими силами на зло, то оно непременно исчезнет, потому что посеянные семена добра уже взошли и обещают богатую жатву.

Не отчаивайтесь, Сергей Сергеевич, придет время, что потомки затмят даже предков!

— Дай Бог, чтоб так было, — сказал Сергей Свистушкин, — но пока это наступит, я не могу признать моими потомками русских, которые говорят между собою не по-русски, предпочитают иностранцев своими соотечественниками... и выродились до того, что даже мой потомок похож на обезьяну, а книжник назвал еще его славным человеком за то только, что он пишет сказки о ворах и негодях! Нет, если нельзя переменить решения суда, то я лучше возвращусь в дом сумасшедших, чем жить с вашими умниками! Прощай!

Старый знакомец.
Фантастическая повесть.

„Ne dites donc pas que je mens, mes seigneurs; car à l’instant même où votre bouche me dit : tu mens! vous savez bien que je ne mens pas.

Jules Janin.

В некотором царстве, в некотором государстве, молодой человек привлекательной наружности сидел в театре, и смотрел на сцену со всеми признаками неудовольствия. Возле него сидел пожилой человек, который беспрестанно хлопал в ладоши, улыбался или хохотал от души; повторяя: «Браво, брависсимо! Точно так! правда! прекрасно! нельзя лучше!» Молодой человек с удивлением и досадою поглядывал на своего соседа, изъясняющего столь противоположные чувствования. Лицо и все ухватки пожилого человека были необыкновенны. Небольшие черные глаза его сверкали, как пламенеющие уголья. Малые, чуть приметные губы странно искривлялись, когда он смеялся. Широкия ноздри его дивного ястребиного носа пыхтели, как у хищного зверя. Выдавшиеся щеки трепетали от судорожных движений. В оживлённой его физиономии отражались колкая насмешка, пронизательность, коварство; но при всем том лицо его не было отвратительно, и, напротив того, приковывало к себе любопытный взгляд. Занавес после четвертого акта опустился, и пожилой человек, прохлопав в ладоши, постучав ногами и воскликнув брависсимо, развалился в креслах, и посмотрел на молодого человека, который потупил голову и задумался.

— Вы не любите Бомарше? — сказал пожилой человек, обращаясь к юному своему соседу. — Это единственный Комик, который поймал натуру в действии, и после Тартюфа, *Женитьба Фигаро* первая в единственная Комедия в мире. Все прочее в этом

роде — ложь, мелочь, вздор, плоскости, надутости, риторство — словом, искажение природы.

— Я не разделяю вашего мнения, — отвечал юноша.

— Потому, что вы молоды — и Поэт!

— А почему вы знаете, что я Поэт? “

— „Как же не знать? О! я знаю весьма много такого, чего другие не знают, “возразил пожилой человек, с лукавою усмешкою. „Вы Поэт, и мы старые знакомцы.

— А с кем имею честь говорить? ...

— Вы это после узнаете, а на первый случай скажу вам только, что если вы Поэт, то я Поэзия, вдохновение, хотя и не во всех родах, но, например... в роде Гете, Байрона, Данте, иногда и в роде Клопштока...

— Не много ли берете на себя? — возразил юноша насмешливо.

—Я не говорю вам, что упражняюсь в сочинениях; я только внушаю вдохновение. Вы можете спросить об этом у Поэтов, пишущих в ином роде.

— Род возвышенный, божественный! —воскликнул юноша.

—Не всегда! —сказал пожилой человек с значительною улыбкой. —Но вы после узнаете меня покороче, а теперь позвольте обратиться к прежнему предмету. Почему вам не нравится Комедия Бомарше?

— Потому что он смотрел на свет в черное стекло, закоптелое в адском дыме ...

—Браво! Вот что правда, то правда! —примолвил пожилой человек, прервав речь юноши. Поэт продолжал: —Что вы видите в этой Комедии? Муж обманывает жену, жена мужа, барин слугу, слуга барина, жених невесту, невеста жениха, любовник любовницу и обратно. Судьи кривят душой из платы и угождения знатности, знатность унижается до гнусного сладострастия и смешных мелочей; все дружатся, любятя, обнимаются, целуются,

а все они презирают друг друга, все любят одну корысть, все ищут чувственных наслаждений . . . Это ужасно, гнусно, возмущает душу!

—А между тем правда! —возразил пожилой человек, улыбаясь и потирая руки. —Я знал Бомарше, был его искренним другом и сам собирал материалы для его Комедии. Бомарше был *земной человек*, и смотрел на людей с земли, т. е. с настоящей точки зрения. Бы Поэт, не знаете земли и носитесь над землею, между небом и адом, не избран еще ни точки зрения, ни оседлости для своей Музы. Вы справедливо сказали, что Бомарше в своем лорнете имел стеклышко, закопчённое в адском дыме; но вы впали в другую крайность. Вы смотрите на свет сквозь радужное стекло фантазии, вылитое в *несуществующем* мире. Бомарше недоставало того, чем вы преисполнены, т. е. Поэзии, а вам недостаёт того, чем преизобиловал Бомарше, т. е. земного чувства. Но Бомарше имеет пред вами то преимущество, что он знал свой предмет совершенно, а вы никогда не постигнете своего, и никогда не произведёте ничего замечательного, знаменитого, пока не смешаете своих пиитических, небесных вдохновений и видений с земным чувством Бомарше, ибо предметом Поэзии и всякого Искусства должен быть человек, а он создан из земли для земли, и должен обратиться в землю. Только одна частица его существования может парить и возноситься к небу; но эта частица так скованна земными узами, что Поэт, желая проникнуть к ней, должен непременно обладать земным чувством. Приобрести это чувство иначе нельзя, как живя с людьми, и плывя вместе с ними в океане страстей, на ладье дурачества, т. е. находясь в так называемом большом свете, и участвуя, но всех глупостях и заблуждениях человечества. В бессмертном творении Поэзии должны быть вместе небо, ад и земля, и от того велики и славны Байрон, Гете и Данте!

Пожилой человек замолчал и посмотрел лукаво на юношу, который сидел в задумчивости, потупя глаза в землю, и казалось, еще напрягал внимание, чтоб слушать.

— Чтож вы не возражаете на мои замечания? —сказал пожилой человек.

— Я... я... почти... согласен с вами! —отвечал юноша: — но каким образом приобрести это земное чувство для слития его с Поэзией?

— Опытностью и размышлением, —отвечал пожилой человек. — Для приобретения опытности надобно много времени в случаи- продолжал он. — Время перед вами, но случай не в вашей власти. Вы расточаете в стихах своих рубины и алмазы, но в существенности вы богаты только талантом. Вы с родни Музам и Аполлону, но эта знатная фамилия на Парнасе стоит в светской родословной ниже разбогатевших откупщиков и целовальников, породнившихся с увядшими Княжнами и промотавшимися Князьками. Без денег и без фамильных связей вам мудрено, почти невозможно попасть в так называемый свет, потому что благородство души вашей сделало спинную кость вашу нестигаемой, а от пиитического лепета язык ваш затвердел для лести. Но вы любите Гете и Байрона, а я, родня первому и искренний друг последнего, притом же — старый ваш знакомец. Я хочу помочь вам, и в один вечер доставлю вам опытность долгой жизни в свете. Подождем до конца прославления.

Представление кончилось, в пожилой человек предложил Поэту сесть в его карету. Юноша чувствовал какую-то непреодолимую силу в словах и взглядах незнакомца, в не смел противиться. Когда карета тронулась с места, пожилой человек сказал:

—Я повезу вас к одному знатному человеку, у которого сегодня бал и собран, как говорится, *целый город*, т. е. человек триста, почитающих себя единственными обитателями города, в котором до полумиллиона жителей. Здесь вы узнаете, откуда Бомарше почерпал материалы для своей Комедии. Но прежде выслушайте меня внимательно. Человек, отдаляясь в течение веков от природы, утратил многие дары щедрой матери природы. У вас для того два глаза и два уха, чтоб одним глазом видеть вещи

явные, а другим *сокрытые*, и одним ухом слышать *речи*, а другим подслушивать *мысль*...

— Вы шутите надо мною! — прервал юноша.

— Ни мало! Я вам докажу это на опыте. — отвечал пожилой человек. — Если вы смотрите теперь на предмет в оба глаза, и слушаете обоими ушами, то это только от дурной привычки, так точно, как большая часть людей, по привычке, дали преимущество правой руке, почти не действуют левою, и жуют одной стороною, лишая сами себя половины силы. Я сам одарен этой способностью, видеть скрытые вещи и подслушивать мысли, и могу сообщить ее вам. Но предуведомляю вас, что с этой способностью надобно иметь дьявольское терпение, не оскорбляться тем, что вы услышите на свой счет, ни на что не сердиться, не гневаться, и смотреть на людей, точно, как на актеров на сцене, или лучше сказать, как на кукол.

— Вы удивляете меня! — сказал в недоумении юноша.

— Удивление ваше скоро превратится в другое чувство; будьте только терпеливы. Но вот мы уже у крыльца. Позвольте мне обнять тебя. Этот братский поцелуй сообщит вам мою способность видеть и слышать то, что люди скрывают друг от друга.

Пожилой человек обнял юношу и промолвил важно: — Во имя мое прозри и услышь!

Сердце в юноше сильно билось. Какой-то внезапный страх овладел им. Пожилой человек дружеским пожатием руки успокоил его.

По лестнице, убранной цветами, они взошли в великолепные комнаты, наполненные гостями. В двух залах играла музыка, и кабинете разложены были на столах эстампы и альбомы, которые гости небрежно рассматривали. В боковых комнатах играли и вист, и кребс, в экарте и в другие, так называемые *коммерческие* игры. Группы расхаживали по комнатам, или остановясь, разговаривали, т.е. менялись пустыми вопросами и еще пустейшими комплиментом. Поэт в первый раз в

жизни попал и высшее общество. С подобострастием и некоторым благоговением он смотрел на шитые золотом кафтаны, испещрённые орденами, лентами разных цветов, звездами. Сердце его трепетало при виде толпы красавиц, в одежде коих сосредоточивались все вымыслы и все произведения промышленности, вкуса и моды. Ловкость во всех приемах и движениях, какал-то нежность и утонченность в обхождении очаровывали юношу, и он думал:

—Вот крайняя степень образованности и просвещения! вот, к чему должен стремиться род человеческий! Теперь я понимаю, что человек есть царь земли!

Мы, люди бедные, мы только одой чертой отделены от черни, а чернь одой же чертой отделена от бессловесных. Но здесь, в большом свете, храм человеческого совершенства, здесь жертвенник, на кото ром рабствующая земля приносит дань властелину своему, человеку!

Здесь сущность всех Наук и Искусств, здесь сама Поэзия! Это не земля, но элизиум, обитаемый высшими существами!

Легкий толчок вывел его из размышления.

—Следуйте за мною, смотрите и слушайте! — сказал пожилой человек, привезший его из театра: —при первом пожатии руки, вы получите способность, о которой я говорил вам. Пойдемте!

Проходя чрез ряд комнат, юноша заметил, что все пожилые мужчины и дамы весьма благосклонно приветствовали его товарища, как старого знакомца; молодые люди фамильярно здоровались с ним, а девицы поглядывали на него нежно, как бы испрашивая покровительства. Юноша получил высокое понятие о своем товарище. Все звали его, все обходились с ним дружески, и он был и гостях, как хозяин и доме.

— Имею честь представить вам моего родственника, Поэта, —сказал пожилой человек хозяйке: —прошу любить его и жаловать.

Хозяйка, сорокалетняя дама, бывшая некогда красавицею, с потерей красоты сохранила все притязания на оную, и с помощью косметического искусства умела скрывать, при свечах, десяток годов. Сказав обыкновенную вежливость на французском языке, она измерила глазами высокого, статного и красивого лицом юношу, и улыбнулась весьма приятно. В это время пожилой человек пожал руку Поэту, и он услышал левым ухом легкий шепот мысли и голове хозяйки: «Мой приятель, мосье Грандбет, возвращается и Париж. Этот юноша, с своей простодушной физиономией, мог бы заступить место домашнего друга: он, кажется, довольно глуп и верно беден.»

Поэт покраснел, а хозяйка пригласила его бывать почаще и доме, особенно по вечерам, когда она остается одна, потому, что она любит беседу с умными людьми, охотница говорить о Словесности, и даже сама занимается, тайно, сочинением Романа. В эту минуту подошла к хозяйке дама с двумя девицами, и все они начали лобызаться с изъявлением нежнейшей дружбы.

—Ах, ma cousine! —сказала хозяйка: —как я рада, что наконец залучила вас к себе. Вас так долго не видели! Уж не рассердились ли вы на свет за излишнюю и привязчивую его любовь к вам? — Ах, как вы милы, как вы прелестны сегодня, mes cousines! - примолвила она, целуя девиц. Это было сказано громко, но Поэт слышал другое левым ухом. Мысль хозяйки шептала: «Проклятая кокетка, гнусная сплетница, как бы я рада была, чтоб ты провалилась сквозь землю и с твоими уродами, дочками! Если б не интриган, муж твой, который умел сделаться нужным между людьми, как плевательная чашка между мебелиям, то я бы велела швейцару прищелкнуть дверьми твой длинный, набелённый нос.»

— Ma bonne cousine! — отвечала гостья громко: —не поверите, как я страдала, не видав вас долго, и это даже усиливало мою нервную болезнь. Я только тогда спокойна и счастлива, когда с вами, милая кузина!

Мысль гостьи шептала: «Верно она имеет нужду в моем муже, или подцепила нового любовника, что так приветлива и

нежна со мною эта гордая и злая баба. Если б мне не надобно было вывозить и свет дочерей моих, на показ женихам, то я бы никогда не завернула к тебе, хотя б даже от одного моего взгляда зависела жизнь твоя». Дамы снова начали обниматься и целоваться, а Поэт дёрнул за кафтан своего товарища, и отошел и сторону. Пожилой человек ничего не говорил, только посматривал на Поэта и лукаво улыбался. Они подошли к хозяину, которому пожилой человек рекомендовал Поэта в самых нежных выражениях. Хозяин дружески пожал руку юноши, и сказал ему с видом простосердечия:

—Я давно слышал о вас, восхищался вашим талантом и желал с вами познакомиться, ибо я истинный патриот и чту отечественные дарованья. Старый мой приятель оказал мне большую услугу, познакомив нас без дальних церемоний. Будьте у меня, как дома, как у родных. Я во всякое время рад буду видеть вас у себя.

Восхищённый Поэт собирался благодарить, но вдруг и левом его ухе раздался звук мысли хозяина. «Старый мой приятель имеет страсть вводить в дом мой оригиналов и разных бродяг! Но что нужды! Одним дураком менее или более — не мешает! Этот Поэт может иногда послужить забавой для нужных мне людей, если им придёт охота потешиться. Эти Поэты, скоморохи чувствительности, иногда весьма забавны, а теперь же нет ни вантрилоков, ни гримасников, для рассеяния и длинные вечера!»

Поэт вспыхнул от негодования едва не забылся; но взгляд товарища удержал его, и юноша, поклонясь принуждённо, вышел один в другую комнату.

В досаде, он хотел уйти домой, но наружная прелесть невиданного им дотолле зрелища удержала его. Чтоб отдохнуть и собраться с духом, он вышел и боковую комнату, и сел возле мраморного столика, облокотился и задумался. По другую сторону стола сидел старик, с почетными знаками на груди. Старик погружен был также в размышление и тихие звуки его мысли доходили до левого уха Поэта. «Наконец после

сорокапятилетней службы и я попал в золотообрезную *колоду*, и теперь сам *фигура*. Одному из сиятельных моих подчинённых вздумалось жениться на моей дочери, и вот я в родне с теми, которые, за сорок лет пред сим, казались мне созданными не из глины, как мы грешные, но по крайней мере из фарфора. Суета сует и всяческая суета! Глина и фарфор та же тленность, и для голодного лучше глиняная чата с яствою, чем пустая фарфоровая. Еще б была половина беды, если б фарфоровая чаша была пуста; но когда она наполнена ядом или помоями, тогда и глиняная плошка лучше её! Талант, питающий душу мыслящих существ, презрен по тому, что не может упитывать желудков праздных обжор. Голова, в которой вмещается вселенная, должна склоняться пред позлащенными истуканами, потому только, что не в состоянии располагать блистательным уголком на земле, для прыганья и болтанья! Благодарю Тебя, Боже, что Ты, возвысив меня из праха, не позволил лукавому ослепить меня пустым блеском, который, подобно летучему огню, часто заводит и болото заблудшего странника! Какое право имеет хозяин этого праздника на уважение света, на милости, снисхождения? Что заставляет его гордиться, презирать талант и заслугу?

Он имеет великолепный дом, заполненный картинами, бронзою, серебром, золотом, драгоценными камнями и даже — книгами. Он умеет прекрасно распорядиться блистательными балами и прельщает гостей отборными яствами. Но он, дожив до седых волос, не приобрёл трудами даже столько, чтоб починить одну печь и доме! Он не нарисует правильно не только головки, но даже глазика, и судят о живописи *чужим* толком! И этих люстрах, и канделябрах, и пламени восковых свеч, сгорают лесные дачи я тает наследие предков! Он от его роду не ведал и книге ничего, кроме переплета и заглавия! Любовь, дружбу, супружеское счастье, родительскую и детскую привязанность он знает только по слуху из Французских комедий и водевилей. Заслуга его — искусный повар, ум — сотни три вытверженных фраз, оборачивающихся в голове, как в калейдоскопе; душа его бездонная бочка, в которой ни какое *чувствование* не остается, а

одни только *ощущения* оседают по краям. Однакож есть глупцы, которые его уважают, завидуют ему, и даже есть такие, которые ему поклоняются!»

Поэт не хотел слушать долее, встал и пошёл и танцевальную залу.

И дверях он должен был остановиться. Он увидел молодых супругов, разговаривающих нежно между собою. Муж, прекрасный собою молодой человек с порядочным состоянием, поставленный судьбою на *видном месте* в свете, — жена молодая, ловкая, миловидная и богатая до излишества, обращали на себя внимание целого города, и Поэт знал их с виду и по слуху. Мужчины и женщины завидовали счастью юной четы, одаренной всеми благами фортуны.

— Не слишком ли много ты танцуешь, милая? — сказал муж: — я беспокоюсь за твое здоровье!

— Ах, друг мой! — отвечала жена. — Я живу, дышу для одного тебя и отказалась бы от всех удовольствий, если б знала, что причину тебе беспокойство. Но не бойся, я не чувствую ни малейшей усталости!

Мысль мужа молчала и в голове его раздавалось эхо, как в пустой пещере; но мысль жены проворчала: «Скорей бы ты отвязался, несносный теленок! Эта глупая физиономия терзает меня! До сих пор глупец не догадается, что я вышла замуж за него только для имени, и что он должен иметь притязание только на мои деньги, а не на сердце».

Жена сказала громко:

— Поди, друг мой, и залу, а я хочу освежиться.

Муж едва отворотился, как вдруг подбежал к жене молодой вертопрах, на лице которого начертаны были наглость, самохвальство и разврат — он подал ей конфеточную обертку и сказал громко: — Посмотрите, угадаете ли вы эту шарадку?

Поэт видел левым глазом, что вертопрах пожал руку молодой дамы, что она ответствовала тем же, и что на обертке

написано было карандашом: *пора*. Мысль вертопраха шептала: «Эту ветреницу надобно также вписать и мой Дон Жуановский список и отблагодарить мужу за дружбу, угождая воле жены». Мысль после сих слов продохотала.

Дама скрылась во внутренних хозяйских комнатах, и вертопрах последовал за ней. Поэт покачал головою и сказал про себя: а я, дурак, завидовал мужу!

В комнате перед танцевальной залой чувствительная сцена обратила на себя внимание Поэта. Два высшие чиновника, слывшие в свете друзьями, Орестом и Пиладом, разговаривали между собою с нежностью, и пожимали друг другу руки с видом живейшего участия.

— Дела службы разлучают нас, любезный друг, — сказал один: — и почётное звание мне в тягость, потому что лишает наслаждений дружбы. Я только счастлив в мечтах, вспоминая то блаженное время, которое мы проводили вместе, и утешаясь мыслию, что твои достоинства оценены и награждены прилично.

— А я счастлив тем только, что могу быть тебе полезным, — отвечал другой. — Ты, может быть, не знаешь, сколько имеешь завистников и врагов! Они перетолковывают все, твои дела и даже мысли, и хотят погубит, тебя клеветою. Я один защищаю тебя.

Поэт между тем прислушивался, левым ухом. Мысль первого говорила: «Гнусный лжец! Я знаю, ты опаснейший враг мой, потому что, прикрывая свою злобу и зависть дружбою, клеветешь на меня, принимаясь извинять приписываемые мне недостатки-, от всего сердца желаю твоей гибели».

Мысль, второго проворчала: «Ты мне опаснейший соперник, мой старый приятель, ибо ты умен и с твердым характером. Но я погублю тебя непременно одними шуточками на твой счёт. Довольно ты погордился на своем месте; пора долой, приятель!»

Так вот дружба, о которой мне рассказывали чудеса! — подумал Поэт, и с горькою улыбкою перешел в танцевальную залу.

Он остановился возле толпы мужчин, чтоб услышать их разговор. Все поздравляли жениха и восхищались невестою, которая в это время танцевала Французскую кадрили с молодым офицером. Жених был красивый мужчина лет тридцати пяти. Он принимал поздравления с улыбкою, и весело посматривал на ловкую и прелестную свою невесту.

—Ты счастливейший человек и мире, mon cousin, — сказал жениху стоявший возле него человек, средних лет, и шитом кафтане. — Красота, знатность, родство, связи, случай и богатство — все соединено в твоей невесте. Но главное: ваша взаимная любовь! Примечаешь ли, как нетерпеливо она посматривает на тебя? Кажется, что она считает потерянными минуты, которые должна проводить с другим, а не с тобою. Вот истинное счастье!

Поэт посмотрел левым глазом на невесту, и увидел, что она пожимает руку молодого офицера, своего танцора. И это время мысль жениха пролопотала: «Глупцы! Они завидуют небывальщине! Мой будущий тесть кандидат и банкроты, и держится только своим значением, а я женюсь на этой кокетке только для связей и для возвышения. Она не стоит башмака моей Катюши! Одно утешение в этом глупом браке есть уверенность, что она оставит меня и покое наслаждаться жизнью, и занимаясь кокетством и нарядами, не будет мучить своею ревностью». «Танцы кончились, и невеста подошла к жениху.

—Я принесла для вас жертву, друг мой, — сказала она: — но вы должны вознаградить меня за это и не оставлять целый вечер.

Она подала ему руку, которую жених поцеловал с восторгом. Мысль невесты прошептала: «Ах, скорей бы дело это кончилось свадьбой! Тогда я буду свободна, и могу наградить за любовь моего милого Марса! Этот будущий муженёк несносен! Холоден как лед, занят собою, эгоист и годится только на *вывеску мужа*».

Поэт не мог удержаться от смеха, вспомнив, что он слышал об этом браке, и сколько было завистников счастью будущих супругов!

—Ну, что, любезнейший, —сказал один молодой человек своему товарищу: —как идут твои дела? Ты хотел ехать и Париж, и кажется, что если кто может насладиться вполне жизнью, так это — ты! Богат, один сын у отца, который любит тебя без памяти; тебе недостает ничего к полному счастью."

В это время отец, почтенный старик, подошёл к юноше и сказал ласково:

—Что ж ты не веселишься? Я нарочно бросил карты, чтоб посмотреть на твои танцы, а ты сидишь и углу, угрюм и скучен. Пожалуйста, развеселись! Твоя радость составляет счастье последних дней моей жизни.

Сын не отвечал ничего, но мысль его прошептала: «Несносная, мучительная нежность! Какая мне польза от твоей привязанности, добрый старик? Она тягостна мне, как оковы, в которых ты держишь меня при себе, заставляя жить по твоей, а не по моей воле. Старание твое о повышении моем и чинах есть удовлетворение твоего собственного честолюбия, и для того ты не пускаешь меня и чужие края! Лучше б было, если б ты поменее нежился, а давал поболее денег и свободы».

Поэт с негодованием удалился от неблагодарного, которого, однако ж поставляли в свете в пример детям, как нежного, послушного и почтительного сына. «Из этого шалуна ничего не будет, —думал отец: —если я не потороплюсь женить его на какой-нибудь умной женщине, которая, льстя его самолюбию, умела бы возбудить и нем страсть к почестям. Он только и помышляет об удовольствиях, а я должен платить долги его! Проклятый повеса! если б я не надеялся, что он поддержит упадающее мое значение, я бы выгнал его из дому и отдал все именьё моим милым *воспитанницам*, которых он ненавидит, подозревая близкое свое родство с ними!»

—Довольно этого! —воскликнул Поэт. —Все попрано все презрено, любовь, дружба, супружество, родство! Прочь отсюда, прочь!

С сими словами он выбежал на лестницу, и пока ожидал лакея, который пошел к карете за шинелью, тихий разговор в тёмном углу сеней поразил его слух.

—Сегодняшний бал дополнил мой капиталец, —сказал дворецкий пригожей девушке: —Я опасаясь оставаться долее и этом доме, потому, что банкротство барина весьма близко. И так, милая Маша, не упрямься и дай руку! Через месяц ты будешь моей женой!

— Тише, тише, я боюсь, чтоб нас не подслушали, и не донесли барину, —отвечала горничная: —Ты знаешь, как он ревнив! Но я тебе советую подождать с полгода, пока привезут оброк из деревень. Барин обещал мне десять тысяч рублей, и даже дал расписку, а барыня также у меня в должку за доставку записочек Мусье Грандбету.

«Вот и верные слуги! —подумал Поэт: —только этого не доставало».

Лакей принёс шинель, и Поэт хотел идти домой, не дожидаясь своего театрального знакомца; но вышед за двери, он увидел, что карета у подъезда, и знакомец сидит уже и ней и ждет его.

—Садитесь! —сказал пожилой человек.

Поэт сел, и карета покатила по мостовой.

—Ну, что вы теперь скажете? —спросил пожилой человек: —прав ли Бомарше?

Поэт, вместо ответа, ахнул и задумался.

— Вы поторопились оставить общество, —сказал пожилой человек: —и не видали а не слышали сотой доли...

—Довольно! с меня довольно! - возразил Поэт. —Но вы дали мне слово объявить, кто вы таковы. Не мучьте меня, ради Бога! Я непременно хочу знать!

—Вы тотчас узнаете это, —отвечал пожилой человек, улыбаясь: —Я вам сказал, что я *старый ваш знакомец*. Вы читали Гете?

—Я знаю его наизусть!

— Помните ли Фауста?

— Как не помнить: это лучшее пиитическое произведение нашего века.

— И так знайте, —примолвил пожилой человек, —что я — Мефистофелес — а по-Русски: *Чорт!*

— Вы Мефистоф...

Но Поэт не успел кончить, и очарованье уже исчезло. Он очутился в своей комнатке, на софе, погруженный в думу. Свечка догорала: било 12 часов ночи. Поэт не мог вспомнить, спал ли он или мечтал, и не знал, чему приписать виденное им, сновидению ли, или просто вымыслу, произведению согретоного воображения. Пришед в себя, он подумал: «О, нет, это сон, а не существенность! Люди так добры, а большой свет есть средоточие всех добродетелей и всех достоинств. Эти мечтания и голове моей — не что иное, как наитие злого духа, Мефистофеля. С нами крестная сила!». Поэт бросился на постель и заснул спокойно, не страшась ни воров, ни кредиторов, потому, что не имел ни денег, ни кредита.

Чертополох, или новый Фрейшиц без музыки

(Отрывки из волшебной сказки, найденной в лоскутках)

ЛОСКУТОК ПЕРВЫЙ

...Солнце скрылось за небосклоном, и ночь одевала мраком город, над которым вился туман и, подымаясь, исчезал в лучах. О, если б все дурные желания испарялись ежедневно из больших городов, и любовь к человечеству освежала сердце вместе с благодатною росой! Но природа отдыхает и очищается, а злому человеку нет отдыха, нет освежения. Чертополох сидел в мрачной задумчивости на высокой горе и вперял взоры в город, как будто хотел его поглотить. Наконец здания скрылись в темноте, и Чертополох все сидел и думал:

—Все для меня исчезло в здешнем мире! — воскликнул он: — черт меня возьми!

Ненадобно шутить с чертом. Лишь только Чертополох промолвил последнее слова, он почувствовал, что кто-то ударил его тихо по плечу. Он обернулся и увидел перед собою человека, высокого роста, окутанного плащом; темнота препятствовала видеть черты его лица. Незнакомец вынул потайной фонарь, и Чертополох ужаснулся, взглянув на него. Незнакомец был исполинского роста: глаза его сверкали, как уголья, нос походил на ястребиный, черные усы ниспадали на грудь, а в широком рту блестели волчьи зубы.

—Ты звал меня, — сказал незнакомец: — и вот я перед тобою. Я, Адрамелех, падший дух, или, по-вашему, черт. Ты отдаешь себя мне; пожалуй — у нас для всякого сброду места довольно.

Чертополох, по обычаю всех негодяев, более боялся временного несчастья, нежели вечной гибели. Он не только не испугался черта, но обрадовался приятному знакомству.

—Потише, потише, господин черт, — сказал Чертополох. — Ты, вероятно, знаешь пословицу, что даром и веред не сядет. Если ты хочешь иметь меня, то поторгуйся. Что ты дашь мне за душу мою?

— Ни гроша! — отвечал черт: — это уж старая шутка! Вы, люди, почитаете нас весьма некстати дураками, повторяя беспрестанно при всяком новом дурачестве наших собратий: да разве черт велел ему это сделать? Черт его сунул туда! — и т. п. Не клепите напраслину на черта: он берет только готовое, а вы сами трудитесь в его пользу. Ты, любезный Чертополох, столько накутил в жизни, что душа твоя давно уже наша собственность; но как я рад служить добрым приятелям, то в угоду твою готов купить твое тело.

— Как тело! — воскликнул Чертополох: — что ты будешь с ним делать?"

— Уж это не твоя забота, — отвечал черт. — Но я обещаю не только не лишать тебя жизни преждевременно, а напротив того, помогать сколько возможно дожить до тех пор, пока тебя станут называть моим именем, т. е. старым чертом. Кроме того, я обещаю пособлять тебе во всех твоих замыслах, сколько придется по цене.

— Согласен, — сказал Чертополох Адрамелеху: — но прежде условимся: станешь ли ты помогать мне в клевете? Я страстный охотник до этой маленькой забавы.

— Изволь, — отвечал черт.

— Можешь ли ты прославить меня?

— Пожалуй, — отвечал черт. — Мои приятели, Картуш и Ванька Каин, не тебе чета, а слывят (т. е. слывят мошенниками) в целом свете; и тебя будут все знать.

— "Прекрасно! — возразил Чертополох: — но я промотавшийся дворянин, и мне жить нечем.

— Об этом не заботься, — сказал черт: — и на привязи не умирают с голоду, а я тебе дам всего вдоволь.

— Итак, по рукам! — воскликнул Чертополох, — я твой и телом, и душою.

Они ударили по рукам и поцеловались нежно.

—Послушай же, приятель, — сказал черт: — другие времена, другие нравы: теперь я не могу тебя ни носить по воздуху, ни водить на прогулку по морю, аки посуху, ни наделять талисманами. Если я тебе буду нужен, запишись один в комнату, ударься кулаком в лоб и воскликни: Адрамелех, помоги! Я тотчас явлюсь к тебе. Теперь прощай, вот уж петух проснулся, поднял шею, тряхнул гребешком и хочет крикнуть кукареку. Этот звук для нас ужаснее пушечных выстрелов. Но это наша тайна, прости!

ЛОСКУТОК ВТОРОЙ Разговор на бульваре

А. Смотри, вот идет Чертополох.

Б. Счастливец! любовь и дружба украшают жизнь его лучшими своими цветами; слава разносит по свету имя его, на печатных листах; в доме у него приволье. Завидная участь!

А. Неужели бы ты захотел поменяться с ним своею тихою участью? На Чертополоха взглянуть страшно. На черно-желтом его лице видно чертово прикосновение, а в лукавом его взоре отражается луч адского пламени. Он полухром, полуслеп, полуглух и весь измят, как будто истолчен в чертовой иготи. Имя его, как язва, устрашает добрых, смиренных граждан. Присутствие его отравляет невинные забавы: всякое его суждение — клевета, каждая мысль — хитросплетение, каждое слово — ложь, лесть или обман. Общее презрение тяготит его существование. Нет, ты шутишь, любезный друг, говоря, что завидуешь участи Чертополоха.

Б. Но фортуна рабски повинуется ему. Он делает, что хочет, и во всем успевает.

А. До поры до времени, любезный друг! Законы нравственного мира так же непреложны, как и физического, и злые возвышаются для того только, чтобы их падение было виднее и подало спасительный урок неправедным искателям счастья. Подождем конца!

ТРЕТИЙ ЛОСКУТОК

Чертополох в бешенстве вбежал в свою комнату, прихлопнул дверь, ударил себя кулаком в лоб и громко воскликнул: «Адрамелех, помоги!»

Черт немедленно предстал перед ним и сказал:

— Готов служить сердечному другу. В чем дело?

— Ты изменил мне и не сдержал слова, — сказал Чертополох.

— Извини, любезный, — возразил черт. — В этом вы, господа люди, перещегооляли нас. Я все сдержал, что обещал.

— Я хотел прослыть сочинителем, — сказал Чертополох: — хотел быть славным, стал писать, и ничего не слышу, кроме брани в журналах, кроме смеху в обществах. Разве ты не обещал мне известности, славы?

— Обещал и исполнил, — отвечал черт. — Известность и слава бывают двух родов: дурная и хорошая. Как же ты мог быть так прост, чтоб требовать доброй славы от черта? Ты стал писать о любви, о дружбе, о честности, о должностях человека — ну, словом, о таких вещах, которые не по нашей части и в которых черт не может ниспослать вдохновения. Чтоб хорошо писать о предметах возвышенных, надобно иметь душу, а твоя душа — наша собственность, и мы не позволим тебе дурачиться. Самый простой человек тотчас догадается о подлоге, когда черт начнет проповедовать нравственность, или, как гласит французская пословица, *quand le diable preche la morale* (Когда дьявол проповедует нравственность (фр.)). Ты хотел известности — имя

твое всем известно, но каким образом — это не мое дело. Хочешь ли писать хорошо, пожалуй, я научу тебя; но в таком случае примись за пасквили. Это наше дело! Ручаюсь, что ты всех перещеголяешь, когда сам черт будет твоею Музою!

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛОСКУТОК
Разговор в кофейном доме

В. Читал ли ты стихи Чертополоха, в которых он отделал всех своих приятелей и знакомых?

Г. Мастерское произведение! Уж верно сам черт надиктовал ему. Резко, зло, умно и как написано! Какие плавные, непринужденные стихи, какие легкие обороты, какой вымысел! Вот наконец Чертополох взялся за свое настоящее ремесло, попал на свой путь и загладил весь прежний свой вздор.

В. Но к чему это ведет? Сатира поправляет, пасквиль только гневает без поправы. Впрочем, сбить в одну кучу и добрых, и злых, и умных и дураков, и друзей и врагов доказывает, что у Чертополоха нет души, нет утонченного чувства изящного и что не любовь к добру водила его пером, а злоба и зависть.

Г. Однако ж согласишься, что стихи хороши.

В. Об этом нет спора, но я бы не хотел такой славы.

Г. И я также!

ПЯТЫЙ ЛОСКУТОК

Осенний ветер ревел в трубе; крупные дождевые капли ударили в окна; на улицах было темно и пусто. Чертополох прохаживался один по своей комнате и беспрестанно подходил к двери, на которой что-то было написано карандашом. Вдруг он остановился, ударил себя кулаком в лоб и закричал:

—Адрамелех, помоги!

Черт тотчас явился и сказал: —Что нового?

— Ты опять обманул меня! — воскликнул Чертополох.

— Ты судишь о других по себе, — возразил черт: — я твердо держусь условий и в точности исполняю все твои поручения.

— Смотри на эту дверь, — сказал Чертополох: — здесь написано около ста имен моих приятелей, людей знаменитых, известных в обществе умом и поведением; а вот на этой мраморной доске начертаны имена моих закадычных друзей. Что пользы из всего этого, когда все они называются моими друзьями и приятелями, а между тем презирают меня, бранят в глаза и за глаза и обходятся не как с другом, а как с тряпицею. Разве я искал этого, когда просил у тебя друзей? отвечай, вероломный!

Черт улыбнулся.

— Итак, имена твоих друзей и приятелей начертаны у тебя на дереве и на мраморе, а не в сердце? — сказал Адрамелех, поглядывая исподлобья на Чертополоха: — Достойному достойное. Как ты мог подумать, бессмысленный, чтобы черт взялся доставить тебе наслаждение душ беспорочных, дружбу истинную? Ты мне продал тело: итак, требуй телесного, а не душевного. Можно ли требовать от черта, чтоб он возбудил в душах благородных, не принадлежащих ему, любовь, склонность к своему приятелю? Нет, Чертополох, ты не в своем уме. Тебе надобна была помощь человеческая, и я привел в движение целый ад, чтоб разными обманами заставить добрых людей помогать тебе и принудить легковверных верить, что они друзья твои. Будь этим доволен и пользуйся обстоятельствами, но не желай от меня невозможного. Я могу доставить тебе приверженность людей бездушных, подобных тебе: будь доволен и этим и не имей притязаний на уважение и на дружбу людей благородных; и сверх того, не смей обременять меня несправедливыми упреками и требовать от черта того, что дает одно Небо. Прости!"

ШЕСТОЙ ЛОСКУТОК
Разговор в гостиной

Первый друг Чертополоха. А я тебя ждал вчера целый вечер у Чертополоха.

Второй друг Чертополоха. Признаюсь, что я лучше готов толочь в иготи сухой ремень в угарной комнате, нежели быть вместе с этим негодяем, Чертополохом. Я, сколько возможно, избегаю его.

Третий друг. Отвратительное животное. Лижется, пресмыкается, в глаза льстит, превозносит — а отворотившись, вам же строит козни, или клеветает, или лжет.

Первый друг. И беспрестанно просит каких-нибудь одолжений.

Второй друг. И всегда почти к ущербу ближнего.

Третий друг. Он во всем любит загребать жар чужими руками.

Беспристрастный. Но если вы знаете Чертополоха таким образом, зачем ездите к нему, зачем позволяете ему называть вас своими друзьями, зачем помогаете ему в кознях?

Первый друг. Я езжу к нему за тем... за тем... чтобы встретиться у него с любезными мне особами.

Второй друг. Я позволяю ему называть себя другом, но только не в глаза. Мы вместе воспитывались, и его связь с моими друзьями заставляет меня терпеливо сносить это, поистине постыдное для меня название.

Третий друг. Сам черт навязал мне родство с Чертополохом, и я поневоле должен помогать ему, сам и посредством друзей моих, потому что с участью его сопряжена участь родственников и так далее.

Беспристрастный. Странные вы люди, господа, что при всем своем уме и при вашей испытанной честности вы позволяете негодьям ловить себя сплетением разных обстоятельств и

отношений, как мелкие птицы сетью, при помощи ученого коршуна. Неужели вы не обращаете внимания на то, что кто обнимается с трубочистом, на том остаются черные пятна, хотя бы он и не принадлежал к ремеслу.

СЕДЬМОЙ ЛОСКУТ Волшебный фонарь

— Не моя вина, — сказал черт: — что ты всегда нуждаешься в деньгах. Расчет, бережливость, приличное употребление богатства, все это по части нравственной — а моя часть телесная, и я не мешаюсь в распоряжение твоих страстей. Чтоб распорядиться деньгами, надобно более ума, нежели чтоб приобрести их.

Чертополох слушал и молчал, наконец он сказал:

— Ты давно обещал мне открыть будущее: когда же сдержишь слово?

— Пожалуй, хоть сейчас; только я не советовал бы тебе заниматься этим.

— Я непременно хочу.

— Итак, изволь. — Черт задул свечу в комнате, вынул из кармана волшебный фонарь и сказал Чертополоху: — Смотри!"

Вдруг стена исчезла, и взору открылась обширная равнина, покрытая народом. Одни рылись в земле; другие, сложив руки накрест и вздернув нос, смотрели вверх; третьи бегали и прыгали как дети и ловили мыльные пузыри; четвертые толкались и ссорились между собою за разноцветные обрезки шелковых материй и игрушки, которые им бросали на драку; некоторые, взлезши на камень, что-то говорили, но их никто не слушал; иные ползали под ногами и похищали у других разные вещи; некоторые, взявшись за руки, смело пробивались через толпу, расталкивая зевак и отнимая насильно, что было под рукою. Но картина сия была столь разнообразна, что Чертополох утомился, смотря на нее,

и взоры его, разбегаясь, не могли остановиться на одном предмете. Черт приметил это и, сказав:

— На этой равнине люди готовятся в дорогу, — повернул фонарь. Представилось другое зрелище. В конце необозримого пространства, пересекаемого морями, реками, горами и оврагами, возвышалась Вавилонская башня, в несколько тысяч ярусов; над нею развевался флаг с надписью: «Хороший конец, всему делу венец». Люди плыли туда, ехали, бежали, шли и ползли, каждый с тяжелою котомкой за плечами. В воздухе кружились какие-то светлые призраки с лучезарными крыльями и черти в разных отвратительных видах. Светлые призраки указывали только путь, но не ускоряли шествия странников и не облегчали их тяжелой ноши. Черти кричали: «Кто хочет к нам, мы тотчас приставим на место». Чертополох увидел себя ползущего по большой дороге: он усугубил внимание, и вдруг черт схватил его представителя за волосы и поднял вверх. «Ах, какой счастливец» — воскликнули из толпы. Черт понесся с представителем Чертополоха к башне и, добравшись до самой высоты, пустил его, — и он упал в пропасть. Черти захопалали в ладоши, раздался свист, и виденье исчезло.

Более лоскутков не отыскано, и сей последний кончится змейкою, какая делается иногда при пробе пера. На обороте последнего лоскутка было написано другим почерком (вероятно, рукою нашедшего сии отрывки) следующее: «Какая нравственная цель этой сказки? Поставьте слово порок вместо черта — и все разгадано».

Юмористика

ДУХ ФОНВЗИНА НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ.

(Сновидение бодрствующего.)

Чацкий.

Дома новы, но предрассудки стары:
Порадуйтесь, не истребят
Ни годы их, ни моды, ни пожары.

Фамусов.

Эй! завяжи на память узелок!
Просил я помолчать — не велика услуга.

Грибоедов. (Горе от ума.)

С необыкновенным чувством смотрел я на площадь, покрытую движущимся толпами народа, на этот маскарад, в котором переметаны разнородные племена, с различными понятиями о Боге, о Природе, о гражданственности, о наслаждениях и горестях, и соединенные одною притягательною силою — выгодною.

Выгода! вот тот Архимедов рычаг, которым можно сдвинуть с места мир, опершись на сердце человеческое; выгода? вот фокус того зажигательного стекла, которым можно сжечь вселенную, сосредоточив на одну точку лучи всех страстей.

Скажите мне, философы что поддерживает шаткий гражданственный мир? ... Разум, добродетель.... Верю! верю!

Но ты, просвещённая, могущественная Англия, сознайся мне, для чего содержишь ты многочисленные флоты, которыми ты опоясала земной шар? Уже ли для распространения законов Ньютона и Роджера Бекона, для водворения правил Бентама и Говарда, для сообщения красот Шекспира и Байрона?

А ты, могучий исполин, Наполеон, зачем ты овладел Италией и Германией, зачем хотел поработить Пиренейский полуостров и устремился на Россию?

Не уже ли для распространения открытий Шанталя, Тенара, Кюзье, для просвещения умов гениальными произведениями Монтеня и Монтескье? для доставления наслаждений прелестями любимого твоего поэта, Корнеля?

Всего этого я не нахожу ни в Английском тарифе, ни в континентальной системе! ...

Вижу беспрестанно, что люди действуют умом, силою, жертвуют добродетелью для приобретения выгод, не жалеют для этого ни крови, ни пота; но до сих пор не подметил, чтоб они жертвовали выгодами своими для приобретения ума и добродетели....

Не подметил от того, что я принадлежу к старому веку, к веку скептицизма, эмпиризма. к веку положительных познаний и суждений, основанных на опыте. Наш век еще носил на себе клеймо Феодальной грубости, которое новые преобразователи хотели смыть нашею кровью. Мы были еще простодушны и в открытиях наших, и в заблуждениях, и шли ощупью к усовершенствиям, не доверяя своим силам. А теперь я слышу, что настал век совершенства, век всезнания, в котором все решается по теории вероятностей (*calcul de probabilité*), а точность и опыт и положительность почитаются принадлежностями невежества. Смирюсь и сознаюсь в ничтожестве моем пред нынешним величием! Я не понимаю нынешнего века, и потому не умею судить об нем, как судят современные Философы. Я должен верить им на слово, что нынешний век лучше прошлого, ибо спор не поможет. Мы чувствуем, мыслим и понимаем иначе. Мы почитаем даром неба простое изобретение прививания оспы, а ныне поют похвальные песни холере и чуму выводят на комическую сцену. Мы заботились о прокормлении рабочего класса, а ныне думают только о подмазывании машин. В наш век

писали против убийств, насилия, разврата, грабежа, а теперь только и пишут, что об убийствах, разврате и злодействах.

Ныне тем *смешат*, чем прежде *стращали!*

В наше время были еще *Недоросли*, а ныне молодые дворяне в лета Митрофанушки уже законодатели и Философы. В наше время *Бригадиры* бивали жён своих, а *Бригадирши* скряжничали; ныне жены водят за нос мужей, почище Бригадира, и не только Генеральши, но Прапорщицы и даже купчихи умеют мотать по всем четырем правилам Арифметики. Я должен верить, что нынешний век лучше и просвещеннее нашего прошлого века, и если б теперь появился Фонвизин, он должен был бы переломить перо свое...

— Он здесь! — раздался голос позади меня.

Я обернулся, и увидел незнакомца в кафтане старинного Французского покроя, в треугольной шляпе, со взбитыми пуклями на висках, под пудрою. Лице его было полное, красное, взор пронизательный. Он смотрел на меня, прищуря глаза, и улыбался иронически.

— Я тот самый Денис Иванов сын Фонвизин, о котором ты вспомнил теперь, — сказал он, приподняв шляпу и поклонясь мне вежливо.

— Как! Автор *Бригадира*, *Недоросля*, *Послания к слугам!* — воскликнул я в недоумении, заметив с удовольствием, что незнакомец точно похож на портреты и на бюст Фонвизина.

— Тот самый!

— Помилуйте, да вы умерли! — сказал я в страхе.

— Умер Денис Иванович Фонвизин, Статский Советник, чиновник Коллегии Иностранных Дел и Член Российской Академий, — отвечал он, улыбаясь, — но Автор Фонвизин — жив!

Ты знаешь, что Авторы, признанные публикою в сем звании — бессмертны!

— То есть... — Я хотел возражать, но он не дал мне вымолвить ни слова и сказал:

—Ты сомневаешься! Безрассудный! Если ты можешь верить в Гомеопатию, в справедливость современной Истории, в Метафизику, в магнетическое ясновидение и во множество вещей, которых я не хочу называть по имени, то как же не хочешь верить, что дух мой, дух Фонвизина, может навещать иногда писателей и беседовать с ними! Покайся — и верь! Я дух Автора *Бригадира и Недоросля*: я Фонвизин! Я сжалился над тобою, подслушав, что ты мелешь вздор, пустившись в глупые Философические рассуждения, которых публика не любит, как больной лекарства, и пришел потолковать с тобою...

—Помилуйте, Денис Иванович! Я хотел философствовать. Ныне век Философии...

—Такой же век глупостей, как и прежний, — возразил дух Фонвизина.

—Извините, Денис Иванович! — Ныне век разума и гениальности. В этом уверяют меня все внуки мои и племянники, и их приятели. Прежде надлежало век учиться и пописать Фолианты, чтоб прослыть Философами, а ныне, безбородые юноши, которые не умеют написать правильно трех строк сряду, судит о том даже, чего вовсе не знают, и решают то, о чем не имеют понятия ... Ныне...

—Та же глупость, только в другом виде, — подхватил дух Фонвизина.

—Видно вы редко посещаете здешний мир, Денис Иванович, когда изволите так говорить. — Я слыхал, что вы списывали с природы все действующие лица в Бригадира и Недоросля. Уверяю вас, что ныне все изменилось, и что вы не найдете теперь в целой России, не только Бригадира и Недоросля, но даже ни одного лица из их свиты, кроме Кутейкина, который ныне сделался великим Философом и обучает уже задам не Митрофанушку, но учит задам целый мир по теории Изящных Искусств и Умозрительной Философии....

—Новое доказательство глупости нынешнего века, — примолвил Дух Фонвизина. — Но верь мне, что не один мой

Кутейкин существует и здравствует во всей красе. **Все** мои детки живут, растут, зреют, плодятся и населяют землю, как было прежде.... Только, подобно Кутейкину, в другом виде, в других Формах.

—Как, неужели и Недоросль? — спросил я недоверчиво.

— Митрофанушек—то именно и более всего, — отвечал дух Фонвизина. —Смотри, вот целая их толпа перед нами!

—Помилуйте! Все эти молодые люди мне знакомы. Один из тих чиновник, числящийся по особым поручениям и находящиеся в бессрочном отпуске, другой отставной Гвардии Прапорщик, поселившийся в деревне для личного собрания доходов и наслаждения свободой. Третий Остзейский неслужащий дворянин, который целые три года состоял в Университетском списке. Четвертый, Русский дворянин, который от того только не служит, что не хочет начать с мелких должностей, и что у нас нет обычая поступать прямо из школы в Министры. Пятый, сын богатого купца, который ждет только, пока сестра его выйдет замуж за Генерала или за значительного статского чиновника, чтоб определиться в службу, потому, что имеет отвращение от купеческого звания, будучи воспитан вместе с дворянскими детьми во Французском пансионе. Шестой, Литовский *Панич*, который не хочет служить от того единственно, что надеется, со временем, быть избранным в Короли. Седьмой не может принять на себя никакой обязанности, потому, что занят Шеллинговой Философией, в которой уже дошел до Абсолюта, т. е. до *нуля*. Восьмой....

— Довольно, довольно и этого для доказательства, что Митрофанушки не перевелись у нас! —сказал дух Фонвизина, с улыбкою. —Скажи мне, по совести, разве от этих господчиков более пользы отечеству и человечеству, чем от моего *Недоросля*? Разве их занятия важнее, чем Занятия Митрофанушки на голубятне?

Вся разница в том, что нынешние Митрофанушки говорят вздор готовыми Французскими фразами, одеваются не в Тришкин

кафтан, а по Парижским картинками, и что они находятся под покровительством, не няни Еремеевны, а каких-нибудь знатных или богатых тетушек и бабушек.

В Русской Грамматике нынешние Митрофанушки, право, не сильнее моего Недоросля, хотя и знают, что дверь не есть имя прилагательное, потому что прилагается к ушкам на крючьях; при всем том они, также, как и мой Митрофан, не напишут письма без двадцати ошибок в десяти строках... Нынешние Митрофанушки, хотя знают наизусть *имена* всех Наук, но смыслят в них едва ли не столько, сколько смыслил мой *Недоросль* в *Географии* и *Истории*. Мой Митрофан был еще умнее нынешних Митрофанушек, потому, что сознавался чистосердечно: что *не хочет учиться, а хочет жениться*, и не судил о том, чего не понимает; а нынешние Митрофанушки, мало того, что судят о том, чего не понимают, но хвастают ученьем, ничему не выгучившись, и женятся без охоты, по расчету. Верь мне, что ныне Митрофанушек столько же, сколько их было и в мое время; но мой Митрофан был в *черне*, а нынешние Митрофаны *отделаны окончательно* и покрыты лаком! ...

Я не смел спорить, но хотел другими примерами заставить его признать нынешний век превосходнее прежнего и сказал:

— Пусть так; но где же вы отыщете ныне маменьку Митрофанушки, Простакову? Где ныне подлинник её мужа?

— Да их, братец, полным полнехонько? — отвечал дух Фонвизина. — Конечно, ныне деревенская барыня не дерется сама с лакеями и кучерами, но поручает эти хлопоты приказчику или дворецкому, предоставляя себе истинное наслаждение трепать по щекам приближённых своих служанок. Нынешняя барыня не станет, как моя Простакова, ссылаться на Указ о вольности Дворянства, чтоб поддержать права сван на произвольное наказание своих людей, но подведет вам указец кстати и ввернет крючок не хуже подьячего, выгнанного из службы за взятки.

Нынешняя Простакова не станет называть покорного мужа своего, при людях и в глаза, дураком и болваном, но будет дурачить его всю жизнь и обходиться с ним, как с болваном

В это время подъехала к гостиному двору огромная четвероместная карета, сложенная дома, собственными мастеровыми, запряжённая шестью разношерстными лошадьми. Из кареты вышла сперва толстая барыня в модном чепце, надетом на затылок, в фальшивых пуклях, в цветном клоке, вышитом узорами домашними швеями. За него вылез тощий муж, в изношенном сюртуке, и мальчик лет тринадцати, который, вылезая, ударил щелчком в нос лакея, взявшего его под руку. — Барыня остановилась, посмотрела гневно на кучера, и, сказав: «Постой, любезный, ужо я прикажу рассчитаться с тобою дворецкому!» — пошла к лавкам. Увидев лужу, она обернулась к лакею и закричала: «Что ты, болван, не возьмёшь на руки ребенка! Разве не видишь!». Потом взглянув с презрительною улыбкою на мужа, примолвила: «Ну, что ж ты, Иван Егорович, призадумался? Ведь, кажется, надобно подать руку жене!» Потом, покачав головою, примолвила в полголоса: «Господи, воля твоя, что это за человек!»

Муж подбежал к жене, покашливая, и она, опершись на него, храбро перешагнула через лужу в сажень длинную, и пошла в лавку. Муж последовал за него в молчании, ощупывая бумажник, а сынок, которого нес лакей, тормозил его за усы, хохоча во все гордо. Лакей морщился, приговаривая: «Да не извольте драться, Никита Иванович! Ведь ей, ей больно!»

—Ну... вот тебе и полный экземпляр семейства Простаковых! —сказал дух Фонвизина. —Разница в том, что муж — бывший Земский Судья и Штаб-Офицер, что жена говорит по-Французски Нижегородским, наречием, и что при Никитушке не Вральман кучер, но спасшийся от рекрутского набора (конскрипции) Француз, подмастерья часовых дел, который, оставшись на квартире, в это время объясняется в любви с старшею дочерью современной Простаковой....

— Признаюсь, что это немножко походит на семейство Простаковых, — сказал я. — Но уж воля ваша, Денис Иванович, а вы верно не найдете в нынешнее время ни одного Тараса Скотинина!

Дух Фонвизина расхохотался:

— А как ты назовешь помещика, который, закупорившись в деревне, не знает и знать не хочет ничего, кроме своих крестьян и доходов; который не заботится ни о славе отечества, ни о благе человечества, ничего не читает, кроме *прибавлений к ведомостям*, ничего не пишет, кроме явочных прошений; для которого не существует ни литература, ни Изящные Искусства, который знает о Политике только по рекрутским наборам? — Разве у нас нет таких помещиков?

Правда, что нынешние Тарасы Скотинины могут прочесть сами *скорпись*, и даже отвечать на письмо— (без *ятей* и знаков препинания), что у них уже страсть не к свиньям, а к благородным животным, к лошадям, к собакам, или к мериносам; но существенное все то же: та же страсть к скотам и то же отвращение от всего человеческого, т. е. от всего, что облагораживает человека.

Нынешние Скотинины не отзовутся на переключке громким голосом, как отзывался мой Скотинин на Съезжей; но уверяю тебя, что мой Тарас был не последний в роде, и что племя его не перевелось, а блаженствует на Руси тихомолком.

Загляни в Газетную Экспедицию Почтамта и во все списки подписчиков на книги! Там ты не найдешь имени Скотининых, но за то имена их покоятся под спудом в Архивах следственных дел и сияют в Казенных Палатах, в росписи недоимок. Нет, любезнейший! Скотинины не выдадут меня: крепколобый их род живуч, как племя воронов!

— Я согласен с вами, Денис Иванович, что вы в некотором отношении правы, а потому спорить и прекословить не намерен; но что касается до характеров, изображенных вами в Комедии

вашей *Бригадир*, то решительно объявляю, что ныне не существует даже подобия их....

—И я скажу то же, что ты в некотором отношении прав, —возразил дух Фонвизина. —Между нынешними военными нет моего Бригадира, потому, что ныне нельзя получать чинов в военной службе, лежа на боку, как было в наше время, в которое новорожденный был уже сержантом Гвардии, а при отнятии от груди, Ротмистром или Капитаном по армии. Действительная военная служба вышколит хоть какого неуча! Мой *Бригадир* поступил теперь в разряд *современных Скотининых*, и господствует в своей деревне, в чине Губернского Секретаря, а много Тегулярного Советника, в звании бывшего Земского Судьи или Заседателя.

Жена его, т. е. моя *Бригадирша*, научилась ныне грамоте, читает Сонники и Романы Московской книжной Фабрики, а играет не в чушки и в дурачки, но в бостон по грошу, или по пяти копеек.

Конечно, ныне нет таких простодушных *Советников*, как мой Советник в Бригадире! Ныне никто не даст почувствовать, что он нажил именье взятками, крючками, ложным толкованием Указов и прижимкою правого и виноватого.

Ныне именья *благоприобретаются службою* или *на службе*. Ныне нет лихоимства, а есть только мздоимство, т. е. награда за труд и время и за хождение по делам, иногда в звании, а иногда только на правах поверенного. В мое время не знали еще этого рода промышленности, и брали взятки на прямик, а ныне это делается весьма благопристойно. Вы имеете дело, например, в одной инстанции, а ваш поверенный служит в другой инстанции, которая состоит в непосредственных сношениях с первой. Рука руку моет и обе белы! То, что делается в одном Суде для вашего поверенного, он делает для чиновников того Суда, и таким образом, в этой круговой поруке, тот только в Дураках, кто беден, или кто не смышлен.

Что же касается до моей *Советницы*, то согласен, что нынешние Советницы гораздо скромнее и смышленее: они делают

тихомолком то, о чем моя Советница только говорила, и чего только хотела сделать. А мой Иванушка, сын Советника — вот у нас перед глазами!»

—Извините, Денис Иванович! Я знаю этого молодого человека. Это сын препочтенного отца, получил первоначальное воспитание в Гофвиле, под руководством знаменитого Песталоцци, кончил курс Наук в Париже, и теперь служит отлично по дипломатической части. Пишет он по-Французски, как природный Француз, и, хотя не знает вовсе по-Русски, да это там не нужно.

—Не нужно! —воскликнул грозно дух Фонвизина. — Русскому не нужно знать по-Русски! А на каком же языке он станет молиться Богу в Православной церкви? — Стыд и срам!

Неужели для Французской переписки мы должны воспитывать Русских дворян вне Русских обычаев, отучать их от отечества и Веры? Твой знаменитый Песталоцци не может влить в душу Русскую любви к России; не может дать об ней понятия, потому, что сам ее не знает. Может ли этот Русский Француз быть таким дворянином, как требуется от него по благотельной Дворянской Грамоте, когда он чужд своему крестьянину и чужд даже своему равному? Это не воспитание, а дрессировка ...

—Успокойтесь, Денис Иванович! Ныне запрещено строжайше, воспитывать детей в чужих краях....

—Честь и слава Правительству, долголетие Царю! -сказал дух Фонвизина. Давно бы пора! Когда я читал Великой Екатерине моего Бригадира, Она похвалила меня за осмеяние безрассудной страсти к иноземному в лице моего Иванушки; но не хотела принять мер решительных к устранению этого зла, надеясь на благоразумие отцов.... Но они до сих пор не образумились, да и вряд ли скоро образумятся, и даже при запрещении фраицузить детей своих за границей, верно заведут здесь свою полу—Французскую колонию для дрессировки своих деток. Впрочем, я весьма далек от того, чтобы почитать изучение иностранных языков вредным. Напротив, я верю, что образованный человек

должен знать не только дипломатический язык, но и все Европейские языки, которые процветают, возделываемые Науками и Литературою. Но это не должно мешать знать и любить свой природный язык, наше богатое, звучное, милое Русское слово!

Чем более доставляет нам наслаждения иностранная Литература, тем более мы должны стараться возделывать, усовершенствовать нашу собственную. Любовь к отечеству возлагает на нас обязанность прославлять его не одним оружием, но и произведениями ума и Изыщных Искусств. Было время, что и Турки, и Татары были славны победами, но как победы их не упрочивали, но разрушали дела разума, то они и остались бесплодными. Слава оружия ввела нас в Европейское семейство, и мы должны стараться сравняться в образованности с нашими родными, чтоб пользоваться их уважением.

— В этом я совершенно согласен с вами, Денис Иванович.

— Но все ли твои современники согласны со мною? Смотри! Вот книжная лавка!

Тысячи человек проходят мимо, и едва один из тысячи заглянет туда!

Правда и приманка плохая! Безжизненные романы, бездушные повести, безграмотные переводы, запоздалые и нелепые толки о Науках—не пища для ума и сердца! — Но кто виноват в этом?

Из числа людей высокого образования не многие пишут по-Русски, а ищут счастья и почестей на другом поприще, предоставив Литературу безграмотным, или что еще хуже — полуграмотным. У вас, однако ж, есть образцы. У вас есть сочинения Карамзина, И. И. Дмитриева, у вас есть Крылов, Пушкин, и Грибоедов и, что важнее, у вас есть теперь *Русская Грамматика* Греча, которой мы не имели и должны были писать, так сказать, ощупью. Трудитесь, учитесь, терпите, страдайте даже, если нужно, для пользы и славы Литературы, которая, что бы ни говорили, есть, *основа народной славы*, ибо народ без Литературы

и при том без Литературы *возделанной*, ничем не упрочит в веках и, своей славы и своего существования: так думала Великая Екатерина, трудясь Сама на поприще отечественной Словесности....

—И ныне так думают,

— И слава Богу! прощай и не сердись за правду!

Сказав сие, дух Фонвизина исчез, а я остался один на берегу Оки. Народ шумел, вокруг раздавался звук, монеты и клятвы купцов, что у каждого из них все лучше и дешевле. Один призывал в свидетельство своего праводушия Далай-Ламу, другой Магомета, третий Брамму, и все лгали без милосердия. Толпы покупателей вертелись, вокруг, гор чая, сахару, вокруг бочек и ящичков, с вином и ромом. Драгоценные шали и парусина, модные чепцы и тряпки, кожа и войлоки, все имело своих любителей и требователей, а Русские книги отдыхали уединенно, и праздный сиделец дремал над Романом самородного гения, который всему выучился самоучкою и все постиг, — кроме здравого смысла и Русской грамоты. Я вошел в лавку и почувствовал благодетельное действие современной Словесности. Приятная, сладкая дремота овладела мною... проснувшись, я очутился в моих креслах, а перед собою увидел несколько листов исписанной бумаги. Уверен будучи, что эта статья произведет такое же спасительное действие и на моих читателей, я печатаю ее для общей дремоты, которая есть также *польза*, ибо гораздо лучше усыпить *правдою*, чем разбудить *ложью*.

ПОХОЖДЕНИЯ МИТРОФАНУШКИ В ЛУНЕ

(Бред неспящего человека)

Не любо — не слушай,
а лгать не мешай

Есть люди грамотные на святой Руси, которые не только не читали комедии Фонвизина «Недоросль», но даже не видали ее на сцене, потому что чтение русских книг не входит в число их ежедневных занятий, а в театр они не ездят на воскресные русские спектакли. Теперь же «Недоросль» поступил, вместе с оперою «Мельником», в число воскресных, то есть народных пьес. Туда же метит и «Горе от ума»! Для знаменитых писателей это кажется унижением, а мы почитаем это возвышением, и ничего не желаем столько для себя (*prima charitas ab ego*) и для наших приятелей, как того, чтоб сочинения наши были известны как «Недоросль», «Мельник» и «Горе от ума». Из гостиных книги выметают, как сор, а в домишках (красных не углами, а пирогами) для книг есть уютное местечко. Для знаменитых авторов высокая участь: журнальный Парнас, а для воскресных писателей смиренная доля... местечко в народной памяти!..

Итак, большая часть русских грамотных людей знает и помнит, что имение помещика Простакова было взято в опеку и что при этом случае жена его, урожденная Скотинина, упала в обморок. Чиновник Правдин, исполнив указ, сказал недорослю Митрофанушке: «С тобой, дружок, знаю, что делать. Пошел-ка служить!..» Митрофан бодро отвечал, махнув рукою: «По мне куда велят!..» Когда слух об этом дошел до Петербурга, многочисленная родня Митрофана, особы обоего пола из фамилии Простаковых и Скотининых, вознамерились вывести Митрофана в люди. Он был единственный наследник полуторы тысячи душ отцовских и материнских и имел в виду наследство в пятьсот душ, принадлежавших дяде его, пожилому холостяку Тарасу Скотинину, знаменитому любителю животных, презираемых

евреями и мусульманами и доставляющих славу и богатство почтенным немецким колбасникам и французским шаркютье (char-cutiers), то есть свиноварам. Митрофан был завидный жених! Он имел все нужные для этого качества, то есть деньги, высокий рост, крепкие мышцы, румянец в лице, много смелости и громкий голос. Ему недоставало только чина и светского образования, и эти блага взялись доставить ему родственники. Дядя его, действительный статский советник Простаков, занимавший видное место в столице, убедил мать Митрофана прислать к нему недоросля для определения в службу, представив ей, что это единственное средство к освобождению имения из опеки. Г-жа Простакова, пролив реки слез (слог XVIII века), наконец согласилась. Митрофана записали сержантом в гвардию и выпросили для него отпуск на неопределенное время, для окончания воспитания. Так водилось в то время.

Дядя поместил Митрофана в своем доме и приставил к нему в гувернеры немца, родом из города Швейнфурта, доктора философии Готлиба Францовича Цитатенфрессера, и француза, мусье Генриха Эдуардовича Бонвивана. Им предоставлено было преобразовать Митрофана при помощи танцмейстера, фехтмейстера и берейтора.

В компаньоны или товарищи Митрофану дал дядя русского дворянина, чудака в полном смысле слова. Он остался сиротою в детских летах, учился в Московском университете, потом путешествовал, лет шесть, по Европе и Америке, промотал все свое наследство, во сто тысяч тогдашних рублей, на книги, на переезды из одного места в другое, на знакомство с учеными мужами, на физические и химические опыты; день и ночь читал, учился и тогда только опомнился, когда остался без гроша. Иван Петрович Резкин был человек лет тридцати двух от рождения и некогда был красив лицом и строен; но от занятий своих он похудел, поседел, сгорбился и казался вдвое старше мусье Бонвивана, которому хотя было уже лет за сорок, а по живости и по виду он был еще молодцом. Дядя Митрофана находился в дружеских связях с отцом Резкина и даже был крестным отцом

сироты. Не видя никаких средств помочь своему крестнику, потому что он не хотел вступить в службу, довольствуясь званием отставного гвардии сержанта (хотя не видал в глаза полка, котором был записан), г. Простаков поместил его с Митрофаном, на всем готовом, возложив на Резкина обязанность толковать по-русски уроки, преподаваемые немцем и французом, и возбуждать в Митрофане охоту к учению. Как мы не пишем истории Митрофана Простакова на Земле, но ограничиваемся кратким изложением происшествий, приведших его к путешествию на Луну, то выбираем из жизни его только те обстоятельства, которые могут служить к объяснению последующего.

Хотя вообще все Простаковы и Скотинины чрезвычайно долговечны, но судьбам Всевышнего угодно было, чтоб в течение четырех лет скончались отец, мать и дядя Тарас Скотинин и действительный статский советник Простаков. Митрофан был уже совершеннолетний и вступил во владение всем именем. У него было 2000 душ и 200 000 наличных денег. С таким богатством человек никогда не услышит от других, что он глуп; а Митрофан был неглуп от природы, следовательно, его величали мудрецом; невежество его распестрили множеством отрывчатых познаний, и он казался в гостинной и за столом (особенно за столом) весьма порядочным молодым человеком, каких мы встречаем в обществе целыми сотнями. Митрофан порядочно шаркал и кланялся, мог объясниться по-французски о погоде и происшествиях на балу, танцевал, хотя тяжеловато, но довольно правильно; знал, что история не птица, химия не насекомое, а физика не четвероногое животное. Из географии и из истории он выучил даже множество собственных имен, знал, что Париж находится при реке Сене, а Рим при реке Тибр и что Любек и Квебек не одно и то же. В многочисленной фамилии Простаковых и Скотининых Митрофан слыл даже из ученых, и многие отцы из этих древних родов поставляли Митрофана в пример своим деткам, внукам и племянникам. Хуже всего знал Митрофан арифметику и имел такое отвращение к числам, что подписывал счета своего

поверенного, не заглядывая в них. Да притом же он не имел к тому времени.

Митрофан подружился со множеством премилых, прелюбезных и превеселых ребят, с офицерами гвардии, с камер-юнкерами, с чиновниками из хорошей фамилии. Они также нашли в Митрофане предоброго малого, у которого всегда были наличные деньги, при необыкновенной услужливости и добродушии, и страстно полюбили его беседу и его стол. Некоторые из приятелей научили его играть в карты, для препровождения времени; другие возбудили в нем охоту к изящным искусствам и познакомили с отличными певицами и танцовками. Время летело быстро и весело.

Наконец, чрез пять лет, грянула гроза! На все имение Митрофана наложено запрещение и объявлено, что оно за частные и казенные долги продается с публичного торга. Митрофан был уже в отставке, в чине прапорщика. Ему запрещен выезд из города, за мелочные долги каретникам, магазинщикам, погребщикам и проч. и проч. и проч. С первого дня объявления о банкротстве Митрофана приятелям его стало недосуг заезжать к нему, и он никогда не мог застать их дома. Тут он опомнился.

Митрофан был в самом деле добрый малый. Он не согнал со двора своих гувернеров и своего компаньона, оставшись хозяином своей воли, но поместил их в нижнем этаже своего дома, велел выплачивать им жалованье, кормить и поить и позволял им пользоваться книгами, которые он накупил в первый год, по совету Резкина. Несколько раз Резкин хотел открыть ему глаза и объяснить, что он разоряется, но Митрофан запретил ему говорить об этом. Мусье Бонвиван, напротив, видя, что советы друзей его питомца сильнее голоса рассудка, молчал и сам участвовал в забавах Митрофана, приняв на себя заведование кухней и погребом. Наконец, когда все рушилось, Митрофан собрал на совет немца, француза и своего русского компаньона и объявил, что он более не в состоянии содержать их, потому что дом его назначен в продажу и что у него, кроме нескольких дорогих вещей, нет ничего.

— У меня есть тетка, — примолвил Митрофанушка, — которая не отказалась бы помочь мне, если б мне удалось попасть к ней, в ее саратовскую деревню. Писать к ней дело лишнее. Она плохо знает грамоту, а при ней живет родственница, полуграмотная старая дева, которая прочит ее наследство своему воспитаннику, найденьшу. Эта старая дева перетолкует письмо мое или вовсе не отдаст его. Тетка давно уже приглашала меня к себе... но тогда я не хотел, а теперь нельзя... Мне не выдадут ни паспорта, ни подорожной... Мне очень прискорбно расставаться с вами, любезные друзья, но делать нечего... Если б я не был из рода Простаковых и Скотининых, то меня бы посадили в тюрьму. Теперь меня оставляют на свободе; но я не знаю, что начать с собою... Ах, если б мне можно попасть в деревню тетушки!..

— Да за чем же дело стало? — сказал Резкин. — Разве нельзя выбраться отсюда без паспорта и без подорожной?.. Ведь для этого изобретено воздухоплавание. В воздухе нет застав, а капитан-исправниками и заседателями там коршуны, которые для нас не страшны. Если б вы собрали несколько тысяч рублей, мы бы, с Готлибом Францовичем, устроили для вас шар и отвезли бы вас куда угодно...

— Ja wohl! — сказал Готлиб Францович. — В моих университетских тетрадках есть рецепт, как надувать шар...

— Я знаю, что на немецком языке есть много рецептов, как надувать, только я хочу устроить шар по новой методе, — возразил Резкин.

— Несколько тысяч рублей у меня наберется, если продать все вещи, — сказал Митрофан, — только не опасно ли будет пускаться по воздуху?..

— Пустое, — возразил Резкин, — на земле опасность от воды, от воздуха, от огня, от дерева, железа, человека, зверя и Бог весть от чего; а в воздухе — только от воздуха. Не летают по воздуху оттого только, что не умеют и что это новость. Люди любят нововведения, а боятся их, потому что те, которым прибыльна старина, страшат их. Каретники и конские заводчики

интригуют противу воздушных шаров. Но когда люди научатся летать, тогда, верьте, не будет других экипажей. Я два года думал об этом и изобрел новое устройство шара. Мы полетим так покойно, что вы даже не будете этого чувствовать. Только надобно запастись...

— Вином и паштетами, — примолвил француз.

— И это не худо, — сказал Резкин, — но при этом нужно запастись переносным газом, чтоб в случае нужды иметь чем пополнить шар и даже надуть запасный, если б старый прорвался. Положитесь на меня. Опасности нет и быть не может — все предусмотрено и рассчитано!

— А можно ли мне взять с собою мои университетские тетрадки (компендии), несколько каталогов и библиографических обозрений?.. — спросил немец.

— До трех пуд на человека, — отвечал Резкин.

— Делать нечего, — сказал Цитатенфрессер, — маловато!

— А нам, с Генрихом Эдуардовичем, можно ли будет играть в пикет? — спросил Митрофан.

— Хоть в банк, — отвечал Резкин.

— Итак, извольте! Пожалуйте со мною, в мой кабинет. Я вам отдам мои перстни, табакерки, матушкины серьги, цепочки и диадемы и весь мой драгоценный хлам; продайте это и начните постройку вашего шара. Мне здесь и тошно, и грустно! Я наследовал фамильные чувства по отцу и матери: во мне гордость Скотининых и раздражительность Простаковых. Не хочу унижаться до того, чтоб трудами снискивать пропитание, и не могу перенести неблагодарности прежних друзей моих! Боюсь, чтоб не взбеситься! Едем или летим — и завоюем тетку и ее наследство!

Резкин взял вещи и пошел в гостинный двор и на толкучий рынок искать иудеев, исповедующих христианскую веру, для превращения вещей в деньги, а Митрофан с горя лег спать. Цитатенфрессер между тем очистил каретный сарай, в котором

уже не было экипажей, и приготовил место для постройки воздухоплавательной машины. К вечеру возвратился Резкин. На четырех телегах привезли весь нужный материал. Мастерские были поряжены и обязаны явиться на работу на другое утро.

Три недели работал Резкин над устройством шара. Лодка имела вид сундука с выпуклым дном, чтоб могла держаться, при случае, на поверхности воды. Верхняя часть, или палуба, окружена была перилами. В палубе была опускная дверь, к которой изнутри каюты устроена была лестница. В каюте были окна, небольшая чугунная печь и кладовая для съестных припасов, которыми заведовал мусье Бонвиван. На палубе прикреплен был чугунный ящик с запасным газом, лежали якоря, парашюты и сундук с математическими инструментами. Резкин взял с собою телескоп, компас, барометр и термометр, которые находились внутри лодки. Цитатенфрессер взял свою кипу университетских тетрадей и библиографических выписок, с которыми он не мог расстаться, как с головою.

Митрофан взял карты, кости, домино и пробочник для откупоривания бутылок. Митрофан отпустил по паспортам всех слуг своих, а как Резкину нужен был для работы смелый человек, то он убедил к путешествию отставного солдата Усачева, которого Митрофан держал для надзора за лошадьми. Солдат взял с собой ружье со штыком и манерку с водкой.

Лодка устроена была в виде птицы. Для рассекания воздуха впереди приделана была длинная шея, с клювом-в тыл прикреплен был хвост, а по бокам крылья, наподобие женских вееров. Хвост и крылья расширились, сжимались и приводились в движение посредством весьма малосложного механизма. Стоило только вертеть колесо, чтоб дать какое угодно направление шару. Шар был сделан из крепкой парусины, и верх покрыт, для большой прочности, лайкой, которая напитана была резиной. Сеть была из крепких смоленых бичевок.

С вечера стали надувать шар в сарае, и к полуночи все было готово к путешествию. Ночь была темная и пасмурная, и

когда в городе стало не слышно стука экипажей, воздухоплаватели утащили шар на двор, уселись на палубу. Русские помолились, француз запел, немец задумался — Резкин отрубил веревку, на которой шар был привязан к столбу, и он поднялся на воздух.

На другое утро будочник, родом из малороссиян, рапортовал квартальному надзирателю, что он видел в воздухе ведьму, которая летела в железной ступе по направлению к Киеву. А как в ту же ночь бежала со съезжего двора старуха, взятая с улицы в пьяном виде, то показание будочника признано несомнительным и записано в протокол, в числе происшествий. Протокол этот погиб в бывшее в Петербурге большое наводнение. А как воды и огня нельзя подвергнуть ни следствию, ни допросу, то все кончилось благополучно. Это словечко, то есть благополучно, такое полезное и благодетельное в житейском быту, что мы покорнейше просим всех новых преобразователей русского языка не изгонять его из нашей письменности вместе с сей, оный, ибо, понеже и поелику. Словца благополучно ничем невозможно заменить в разнородных рапортах и донесениях. Возьмите себе, господа, даже здравый смысл, а только оставьте нам благополучно.

Итак, представляя читателям нашим донесение о воздухоплавании Митрофана Простакова и компании, мы должны сказать, что оно продолжалось благополучно. Только, по неучастию, Резкин в первую ночь удостоверился, что теория и практика не одно и то же. По теории крылья и хвост должныствовали давать шару направление по воле кормчего; а на практике вышло, что они не могли противостоять сильному напору огромной массы воздуха.

В верхних слоях атмосферы поднялся вихрь, который мчал шар с быстротою молнии, унося его все выше и выше. Лодку ужасно качало, и Резкину невозможно было держаться на палубе. Качка произвела морскую болезнь. Воздухоплаватели лежали в каюте почти без чувств, на полу. Только Усачев, бывавший на море, сидел спокойно на палубе, держась за перила, и напевал старинную солдатскую песню:

Вы не бойтесь, не страшитесь, шведского, грецкого короля!

Наконец буря заревела так страшно, и соприкосновение масс воздуха, сталкивавшихся в различных направлениях, производило такой гром, что Резкий стал опасаться, чтоб шар не лопнул. Шар то опускался, то быстро поднимался, то уносился в сторону, и лежавшие на полу воздухоплаватели перекатывались с пола на стены и обратно. Вдруг ударил гром, так сильно, что казалось, будто лодка распалась на части. Молния разлилась в воздухе огненною рекою. Опускная дверь отворилась, и Резкий, собрав все свои силы, закричал:

— Усачев! Что там?

— Все обстоит благополучно, — отвечал Усачев, — нового ничего нет, только ваш ящик с духом (то есть газом), да сундук с инструментом (то есть инструментами) выбросило за борт; да никак сетка-то рвется!

— Плохое благополучие, — проворчал про себя Резкий и, завернув голову плащом, ожидал спокойно смерти.

Настал день, буря утихла, и шар несся легко. Воздухоплаватели оправились от морской болезни и вышли на палубу. Они ужаснулись, заметив, что земля совершенно скрылась от их взоров. Резкий хотел опустить шар ниже, но не мог отворить душников, или клапанов в шаре, чтоб выпустить часть газа, потому что во время бури сорвало ветром шнуры, прикрепленные к клапанам. На парашютах нельзя было отважиться спускаться с такой высоты. Итак, надлежало ввериться произволу ветров!

На другую ночь воздухоплаватели почувствовали чрезвычайный холод, который постепенно увеличивался, так что и Усачев не мог более выдержать на палубе. Наконец воздух сделался таким жидким, что воздухоплаватели не могли переводить дыхания. Они заперлись в каюте и затопили печь каменными углями. Шар беспрестанно мчался в высоту, по косвенному направлению, увлекаемый сильным течением воздуха, которое становилось быстрее по мере возвышения.

Таким образом прошло шестеро суток. Съестных припасов оставалось немного. Митрофану наскучило спать и раскладывать гран-пасьянс; француз насвистывал заунывную песню; Резкий сидел в задумчивости и поглядывал по временам в телескоп, через окно каюты; Цитатенфрессер перебирал свои тетради и искал в них известия о подобном воздухоплавании; Усачев, от скуки, починивал свою шинель.

— Чем это кончится? — сказал наконец с досадою Митрофан, бросив карты на стол.

Все молчали.

— Что вы скажете, господин доктор философии? — примолвил он.

Цитатенфрессер заглянул в тетрадь и отвечал:

— Каждое дело должно иметь начало и конец, по словам Аристотеля.

— Да это я слышал и от няни моей, Еремеевны, — возразил Митрофан.

— Еремеевна ничего не писала и не печатала, следовательно, на ее слова нельзя ссылаться, — отвечал преважно Цитатенфрессер;

— Ну а если б Аристотель сказал, что все дела в мире не имеют ни конца, ни начала, поверили ли бы вы ему? — спросил мусье Бонвиван.

— Смотря по обстоятельствам! — возразил Цитатенфрессер.

— Да полно вам, господа, молоть вздор, — сказал Митрофан. — Время ли теперь до диспутов! Холодно, сыро, туманно. Не лучше ли выпить по стаканчику!

— Давно бы так следовало, — примолвил Цитатенфрессер.

В четверть часа пунш был готов, и целое общество прихлебывало варварский напиток. Мы называем пунш напитком варварским, потому что он выдуман неграми, невольниками,

работающими на сахарных заводах и фабриках рому в Америке. Из всех крепких напитков он, по ядовитости своей, вреднее для здоровья и умственных способностей человека. В XVIII веке и в начале текущего столетия пунш был в моде. Теперь он господствует только в шустер-клубах и на студентских комершах в Германии.

Воздухоплаватели пили столь прилежно с горя и для того, чтоб согреться, что погрузились в глубокий сон, который был столь продолжителен, что Резкин, записывавший дни и часы, проснувшись, потерял счет времени!

Прочие воздухоплаватели еще спали, а Резкин, желая освежиться на чистом воздухе, вышел на палубу. Необыкновенное, удивительное зрелище представилось ему, и он, в страхе, недоумении и в благоговейном восторге, бросился на колени и, простерши руки к небу, начал молиться.

Ночь была тихая, небо безоблачное, солнца было не видно, но на горизонте сиял полукруг, как будто вылитый из чистого серебра. На этом полукруге, которого радиус был верст в десять, видны были горы, ярко освещенные с одной стороны и бросающие длинную тень с другой; углубления или пропасти представлялись взорам в виде огромных черных пятен. В некоторых местах серебряная поверхность полукруга казалась гладкою и полированную, в других местах матовою или шероховатою, и вообще все устройство этой поверхности было таково, как будто бы кто-либо с размаху вылил растопленное серебро из плавильного горшка или тигеля с правой стороны на левую. Полукруг беспрестанно увеличивался со стороны диаметра. Сперва показывались светлые точки с этой стороны, то есть освещенные верхи гор, а по мере обращения планеты к Солнцу освещались промежутки, и полукруг становился белее, переходя за диаметр(*).

(*) Этот вид Луны советуем поверить в натуре, в хороший телескоп. Разумеется, что здесь величина радиуса вымышленная.

Резкин имел познания в астрономии и часто наблюдал вид и течение планет. Он знал карту Луны и по пятнам и горам тотчас узнал эту планету. Но беспрерывно увеличивающийся объем ее изумил Резкина. Он догадывался, что шар вышел из земной атмосферы и попал в атмосферу Луны и что они проспали переход через эфирное пространство. Все это было противу законов физики и тяготения, но как Резкин, при всей своей учености, был неглуп, то есть позволял себе рассуждать и не верил всему писаному, то, в подкрепление своих догадок, он вспомнил стихи Шекспира, в которых великий поэт, одушеваясь пророческим духом, говорит, что в природе есть много таких таинств, о которых и не мерещилось мудрецам и философам!

Между тем шар все поднимался вверх, и луна округлялась. Воздух сделался приятнее, и холод начал уменьшаться. Солнце показалось на горизонте, и по мере того, как оно поднималось, луна принимала голубоватый вид.

Вдруг шар зашатался. Резкин, думая, что парусина прорвалась где-нибудь и что шар упадет, бросился на палубу и схватился из всей силы за перила. В одно мгновение шар перевернулся, то есть лодка очутилась там, где был шар; а шар занял противоположное место и стал опускаться вниз, но не быстро, а плавно и без качки. Воздухоплаватели, спавшие на полу, в каюте, во время оборота шара брошены были под потолок. По счастью, все стены, пол и потолок были обиты войлоком и клеенкою, и потому странники не крепко ушиблись. Однако ж пробуждение их было весьма неприятное. Во время падения ученый немец столкнулся с французом. Бедный Цитатенфрессер потерял два последние передние зуба, лишившись прочих при беспрерывном грызении роговых мундштуков, которых он съедал по четыре аршина в год, выкуривая притом, в тот же срок, по 730 фунтов табаку. У мусье Бонвивана распухла щека, у Митрофана вскочила шишка на голове, а Усачев только встрепенулся и встал как ни в чем не бывало.

Резкин вызвал всех на палубу. Они с восторгом закричали:

— Земля!

— Нет, не Земля, а Луна! — сказал Резкин.

— Вы шутите! — возразил Цитатенфрессер.

— Уверяю вас честью, что я говорю сущую истину. Мы приближаемся к Луне!

— Этого быть не может! — воскликнул Цитатенфрессер. — Я вам докажу цитатами невозможность путешествия в Луну... У меня есть выписки о законах тяготения из Ньютона, из Лапласа.

— Все это и мне известно, но я уступаю очевидности и повторяю, что мы приближаемся к Луне.

Это известие всех испугало. Усачев стал осматривать свое оружие, хотя и не понимал опасности.

Шар быстро опускался, и воздухоплаватели могли явственно видеть города, селения и леса; а наконец заметили что-то движущееся: людей или животных. Резкин пригласил всех к работе. Размотали канат, спустили два якоря, приготовили парашюты. Ветер нес шар косвенно, и он стал спускаться на поле возле леса. В нескольких десятках саженей от поверхности планеты неверующий Цитатенфрессер убедился, что шар спускается не на Землю, потому что листья деревьев и трава были не зеленого, но голубого цвета, как наши земные незабудки и васильки, а кора была зеленая. Наконец якорь зацепился за дерево, и воздухоплаватели безвредно сошли с палубы своей лодки.

Пока другие готовили завтрак, Митрофан взялся осмотреть окрестности. Он вооружился двухствольным ружьем, велел Усачеву также взять карабин, и они отправились в лес.

Вскоре нашли они тропинку и следовали по ней быстро, в надежде, что она доведет их до обитаемого места. Через час времени они достигли до оконечности леса и очутились на краю горы. Под ногами их простиралась долина, а верстах в двух от подошвы горы лежал город. Усачев, бывший в Грузии, Персии и в турецком походе, сказал:

— Это, сударь, город бусурманский! Вот так точно строят дома турки и татары! Видите ли, что крыши здесь плоские, окон почти нет на улице, улицы тесны и народу на них мало? А это башенки... Это, наверное, их молельни, словно у турок! С этих башен дьячки, что ли, турецкие кричат во все горло и зовут на поклон Магомету. Насмотрелись мы довольно на это! Да, не приведи Господь жить с бусурманами!.. Вот бы в Польшу на стоянку, так уж славно! Даром, что жидов пропасть, как клопов. Да нашему брату житье привольное!..

Усачев говорил бы целые сутки, если б Митрофан не прервал его.

— А что, служивый, не пойти ли в город?

— Как прикажете: наше дело идти, куда велят командиры!.. В последнюю турецкую войну капитан у нас был человек молодой, из гвардии, лихой служака, да такой горячка, что беда! Завидел турецкую батарею за кустами, да и бегом на нее! Мы за ним, да и толкуем между собою: дело плохое, тут всех нас перекокошат... Да крепко жаль, что достанется за то и нашему капитану от начальников! Ан и вышло, что он сам лег на батарее, да и нас легло вокруг него с полроты! Зато батарею взяли и пушки заколотили!

— Да кто тебя спрашивает теперь о твоих сражениях! — проговорил сердито Митрофан. — Тут своя беда на носу... а он толкует о батареях!

— К делу пришло слово, а к слову дело, ваше благородие. Войти в город не штука... это ведь не крепость; да как выйдем оттуда, не зная, что там за народ! А ведь наши-то господа ждут нас! Уж идти, так идти всем! Перекрестясь — да и бух! Чему быть, того не миновать!

— И то дело! Пойдем-ка к нашему пристанищу и там порассудим, что делать.

Они не дошли и до половины леса, как вдруг небо помрачилось, заревел сильный ветер, посыпал град — и настала такая жестокая буря, какой и не видано на Земле. Деревья валило

кругом, и вихрь уносил их как тростник. Выбравшись на малую поляну, странники бросились на землю и держались руками за камень, опасаясь, чтоб их не снесло ветром.

— Ах ты Господи! — сказал Усачев. — Видел я бурю на Черном море, что, кажись, волны хотели затопить небо, да та буря перед этой — что стакан воды перед штофом водки! Ошеломит хоть кого! Ах, батюшки! Это что? Ваше благородие, посмотрите вверх! Да ведь это наш шар! Да как его вертит, сердечного. Ахти, да и господа-то наши там! Смотрите, как они натягивают веревки... один, два, три... ну, все там! Вот немец-то натрусится! Заговорит своим аптечным языком! Ну, батюшки ваше благородие, остались мы одни!.. Да Господь милостив... Ведь без Его святой воли и волос не спадет с грешной головы! Один конец, а дважды не умирать!..

У Митрофана сердце облилось кровью, смотря на шар, который кружился в воздухе, колебался ужасно и наконец исчез из глаз. Чрез полчаса буря утихла, проглянуло солнышко, и странники отправились в путь, на то место, где был шар.

В это время они увидели впервые обитателей Луны. Налетела стая птиц, величиною с воронов, украшенных прелестными разноцветными перьями. Птицы уселись на сучьях и, казалось, с удивлением смотрели на странников, которые еще более были удивлены, увидев, что у этих птиц головы были... человеческие и даже премилые личики. Птицы щебетали между собою, как будто разговаривая, и вовсе не пугались странников.

— А что, ваше благородие, не прикажете ли хватить? — сказал Усачев, сняв с плеча карабин.

— Сохрани Бог! — воскликнул Митрофан. — Ты видишь, что у них человеческие головы... так, верно, убивать их грех!

— И впрямь чудо! — возразил Усачев, посматривая на птиц. — Что это за красотки! И то сказать, что у иного нашего брата, человека, точно скотская голова... ни дать, ни взять бык или обезьяна... да все не то! Попадись такая птица немцу, так он с нею

объехал бы весь свет да понабрался бы денег под качелями да на ярмарках! Сем-ка поймаю одну для потехи!..

Усачев приблизился к дереву и хотел накрыть шапкою одну птицу, но вся стая закричала пронзительно и улетела.

— Ну, Господь с ними! — сказал Усачев. — Зла мы им не сделали.

Между тем странники вышли из лесу и попали на то место, где был шар. На траве они нашли только каравай хлеба, кусок жареного мяса, несколько бутылок вина и кипу бумаг. Митрофан догадался, что это бумаги Цитатенфрессера, которые, вероятно, или упали из лодки... или. быть может, вынесены самим Цитатенфрессером и второпях оставлены. С горя они принялись обедать, а потом Усачев развел огонь и стал просушивать мокрое платье.

К удивлению Митрофана, солнце не заходило, хотя, по его расчету и по часам, должно было быть поздно. Но как он чувствовал усталость, то вздумал выбрать безопасное место, где провести ночь, предполагая, что в лесу могут водиться дикие звери. Как вдруг из лесу вылетела та же стая птиц, с криком взвилась над головами странников и потом снова улетела в лес. После того послышались звуки, похожие на трубные, и из лесу показалось... что такое?.. толпа или стадо... людей или зверей!.. Этого не могли разгадать наши странники. Животные были похожи на медведя, с головою обезьяны и с длинными волосами на голове, покрытые бурою шерстью и украшенные разноцветными лоскутками в виде передников, шарфов через плечо, коротеньких мантий и т. п. Они шли на задних лапах, а в передних имели копыта и щиты. Впереди толпы, или колонны, несколько из этих животных везли две машины с жерлом, нечто вроде пушек. Животных было до пятисот. Они окружили наших странников. Одно из животных выступило вперед и начало говорить что-то, обращаясь к нашим странникам. Видно было, что это ораторствующее животное пробовало говорить на разных языках, потому что, останавливаясь после каждой речи, изъясляло

свое нетерпение, что его не понимают. Наконец, оно заговорило на языке, весьма похожем на язык французский, и Митрофан закричал радостно по-французски:

— Понимаю!

— Сдайтесь добровольно — мы вам не сделаем никакого зла! — сказала животное.

— А кто вы? — спросил Митрофан.

— Мы жители здешней страны: лунатики, добрые с безвредными созданиями и злые со злыми! А вы кто?

— Мы люди, жители Земли! — отвечал Митрофан.

— Возможно ли! — воскликнул оратор-лунатик. — Жители Земли! Неслыханное дело! А мы вас приняли за чудовищ, исшедших из утробы Луны на вред лунатикам! Эти птицы сказали нам, что вы хотели ловить их...

— Мы не хотели сделать вреда этим птицам, — возразил Митрофан, — а хотели поймать одну из любопытства... потому что у нас на Земле нет таких птиц. Мы создания смиренные и тихие и никого не обижаем понапрасну.

Оратор-лунатик обратился к своим и рассказал им на своем языке, кто таковы странники. Толпа воскликнула от удивления и приблизилась к ним. Старшины окружили их и протянули лапы, пожимая дружески руку у пришлецов. Все старшины знали этот французский язык, которым говорил оратор. Один из важнейших лунатиков сказал Митрофану:

— Ручаюсь за безопасность вашу! Пойдем с нами в город. Там, после обыкновенных форм, начальство придумает, что можно сделать для вас доброго.

Усачев взвалил на себя кипу бумаг, взял остатки съестных припасов и бутылки, и все пошли в город при радостном пеньи птиц, которых голос походил на женский дискант.

— Ну, вот, сударь, ваше благородие, — сказал Усачев, — надо мной, бывало, посмеиваются ваши гости, когда я им, по вашему приказанию, рассказывал о ведьмах да оборотнях,

которые бегают и летают по Малороссии, как зайцы и вороны. А это что! Те же оборотни, а может быть, еще и похуже. Люди — не то медведи, не то обезьяны — сущие черти; птицы — с бабьей рожицей — просто ведьмы! А что еще впереди! Попались мы! Ну, уж этот немец, что посоветовал вам лететь... попадись он мне теперь!

— Не унывай, Усачев! — отвечал Митрофан. — Люди хоть и похожи на медведей, да ласковее, чем мои петербургские кредиторы. А птиц чего бояться! Щebetуньи, как наши бабы, — и только!

— Я не унываю, ваше благородие, да уж обманывать ни вас, ни себя не хочу... Вряд ли нам выйти живыми отсюда!

Между тем толпа сошла с горы, с такою же процессиею вошла в город и остановилась на площади. Здесь было множество лошадей, мулов, ослов, быков, коров с птичьими головами и собак с головами лошадиными. Несколько животных приблизились к людям, то есть лунатикам, и стали разговаривать с ними, по-видимому, расспрашивать о пришлецах. Усачев трижды перекрестился, а Митрофан почти остолбенел от удивления.

— Неужели у вас скоты говорят? — спросил он у старшины.

— Разумеется!.. Это слуги наши, и что б было и с ними, и с нами, если б мы не понимали друг друга! — возразил старшина. — А у вас неужели скоты не говорят? — спросил в свою очередь старшина.

— Если слово «скот» взять в обширном значении или в переносном смысле, то у нас скоты не только говорят, но даже пишут. Что же касается до четвероногих, то они, по мнению наших ученых, не имеют разума и лишены дара слова.

— Этим заключением ваши ученые не представляют ясного доказательства своего великого разума, — возразил старшина. — В живой природе нет ни бесчувственности, ни слепоты, ни глухоты, ни немоты, ни бессмыслия. Все, что только живет и движется, — ощущает, мыслит, понимает и объясняется

условными знаками... Но теперь не пора говорить о философии. Не угодно ли пожаловать со мною к начальнику города...

Старшина повел Митрофана и Усачева в огромное здание, находившееся тут же на площади. Войдя в дом, Митрофан оглядывался на все стороны. Везде столы, стулья, кресла, диваны, зеркала, обои, ковры — только из неизвестного материала и другой формы. «Видно, здесь, на Луне, та же жизнь, — подумал Митрофан, — только в другом виде...» Их позвали в кабинет.

В огромных креслах, наподобие ящика, сидел старый и седой полумедведь-полуобезьяна, то есть лунатик, как называют себя жители Луны. На старце был особого рода передник из ткани, которая блестела не как золото, но как солнце, так что слепила зрение. На шее у него было ожерелье из бубенчиков и на плечах куски узорчатых тканей. Старшина, который ввел земных пришлецов в кабинет градоначальника, перекувырнулся перед ним, как у нас кувыркаются ученые медведи за кусок хлеба, а Митрофан, видя это, низко поклонился. Градоначальник долго рассматривал пришлецов, велел им повертываться во все стороны, улыбался, качал головою и наконец сказал:

— Странные создания! Не то лунатик, не то птица... Зашиты в мешке!.. Откуда вы? Неужели правда, что вы залетели сюда с планеты Земли?

— Точно так! — отвечал Митрофан и рассказал все, как было, скрыв, однако ж, что он улетел с Земли от долгов.

— Какая же была цель вашего воздушного странствия? — спросил градоначальник.

Митрофан не знал, что отвечать, взглянул на Усачева, который не выпускал из рук кипы бумаг, принадлежащих Читатенфрессеру, — и вдруг благая мысль блеснула в его голове. «Меня здесь не поймут и не разгадают, — подумал Митрофан, — дайка, по примеру захожих к нам, в Россию, иностранцев, скажусь... ученым!..» Между тем как Митрофан раздумывал и не решался на ответ, градоначальник повторил вопрос.

— Я отправился странствовать с ученой целью, — отвечал Митрофан бодро.

— Так вы... из ученых?

— Так точно!..

— А по какой части? — спросил градоначальник.

Митрофан опять стал в тупик. Но русский человек хоть и неучен, да смышлен и умеет подать товар лицом! Митрофан смекнул, что на Луне точно так же не знают Землю, как у нас не знают Луну, — и так, приосанясь, отвечал:

— По части земледевения, то есть всего, что принадлежит Земле

— Обширная наука! — примолвил градоначальник, покачав головою. — Это что-то вроде энциклопедии... А много ли наук входят в состав земледевения?

«Попался!» — подумал Митрофан. Но, призвав снова на помощь русскую смышленость, он с большею еще смелостью отвечал:

— Объяснить подробно я не могу, но вот образчики моих знаний! — и при этом он указал на кипу бумаг, принадлежащих Цитатенфрессеру.

— Хорошо, мы это исследуем, — сказал градоначальник, — а между тем, для собственной вашей безопасности и для соблюдения законных форм, вы должны пробывать, не то, чтоб под арестом... а так, под стражею, некоторое время, пока я получу предписание из столицы, от высшего начальства, как я должен поступить с вами. Впрочем, не опасайтесь ничего! Дурного с вами быть не может, потому что вы ничего дурного не сделали! Это только формы... а они всегда стеснительны несколько... Но кто же таков ваш товарищ, который не понимает общеупотребительного языка и двигает ваш багаж и оружие?

— Это старый воин, который хотя и не служит у меня, но услуживает за добро, которое я имел случай ему сделать... Весьма честный и храбрый человек.

— Давай лапу, старик! Я сам старый воин, — сказал градоначальник, обращаясь к Усачеву, который, протянув руку громко сказал:

— Здравия желаем, ваше благородие!

— Это ваш язык! — воскликнул градоначальник. — Звуки довольно приятны! Между тем вам, верно, нужен отдых. Вот этот старшина приставлен мною к вам, чтоб ухаживать за вами и удовлетворять все ваши потребности. Оружие и все ваши вещи оставьте здесь!.. Что это за сосуды? — спросил градоначальник, указывая на бутылки с вином.

— Это вино, напиток, извлекаемый из винограда.

— Хмельной?

— Да-с!

— Так и на Земле пьют хмельное!

— Да с большим удовольствием!

— По несчастью — и у нас тоже! — примолвил градоначальник. — А это что? — спросил он, указывая на кусок жареного

— Это жареное мясо...

— Как! Вы питаетесь мясом? — сказал с удивлением градоначальник.

— Мы едим все — и плоды, и растения, и рыбу, и даже черепокожных... но преимущественно любим мясо домашнего скота, зверей и птиц, — отвечал Митрофан.

Градоначальник сильно поморщился.

— Вы едите мясо! Бррр! Да ведь и вы сами созданы из костей и мяса!

— У нас есть дикие люди, которые питаются даже человеческим мясом! — сказал Митрофан.

— Ужасно! Далеко вы поотстали от нас, лунатиков, господа земляне! — примолвил градоначальник. — И я вижу, что за вами должно крепко присматривать! Пожалуй, чего доброго вы готовы скушать любимого сына кормилицы детей моих, коровы!.. До свидания! Извольте идти!

Митрофан поклонился, старшина-лунатик снова перекувырнулся кубарем перед своим начальником, а Усачев, который ничего не понимал, поставил ружье свое в угол, по приказанию Митрофана, сложил все вещи и, обратясь к градоначальнику сказал громко:

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — и последовал за Митрофаном.

Старшина провел наших странников по галерее огромного здания, занимаемого градоначальником, и ввел в отделение, назначенное для их жилища. У дверей стояли два огромные лунатика с бердышами. Это были воины. Комнаты были прекрасно убраны. Кругом стояли покойные креслы в виде ящичков или гнезд, кушетки, столы, на стенах висели зеркала удивительной чистоты. В другой комнате был накрыт стол, и старшина вежливо просил странников подкрепить силы. Усачев никак не хотел сесть за один стол с барином, но Митрофан приказал ему, и он должен был повиноваться. Когда гости уселись, старшина захлопал в ладоши, и из буфета выбежало несколько собак с лошадиною головою (как сказано выше), держа в зубах корзинки с кушаньем. Старшина объяснил, что каждый собеседник обязан взять корзинку и поставить на стол, что и было сделано. Старшина шепнул что-то одной старой собаке, и она отвечала ему странным лаем, на разные тоны, похожим на связную речь. Земные странники удивлялись и боялись даже спрашивать!

Старшина просил отведать кушанья. Различные блюда приготовлены были из муки, неизвестных плодов и растений. Некоторые кушанья показались Митрофану чрезвычайно вкусными, но Усачев тяжело вздыхал, не видя ни хлеба, ни мяса.

— Все это походит что-то на аптечное, ваше благородие! — сказал Усачев. — Душисто, сладко, пресно, а все несдобно! То ли дело, когда б миску шей со свининкой, ломть ржанухи да порядочную красоулю мадеры, что пьют гренадеры, сиречь сивушки всероссийской!

Митрофан не мог удержаться от смеха.

— Верно, вашему воину не нравится наше кушанье? — спросил старшина.

— Да, мы привыкли к мясу, к рыбе, а старик любит выпить чарочку...

— Мясa и рыбы здесь вы не достанете, — сказал старшина, — а чарочек сколько угодно. — Он сказал что-то старой собаке, и все собаки понеслись в галоп из комнаты и чрез несколько минут возвратились, неся в зубах корзинки, в которых были металлические сосуды. Старшина спросил: — Чего хочет воин, крепкого или приятного?

— Лучше, что покрепче!

Старшина налил стакан какой-то жидкости, поднес Усачеву, который, прихлебнув, выпил душком, крикнул и, поставив стакан, весело сказал:

— Покорно благодарим, ваше благородие! Славная водка, не то немецкий шнапс, не то французская лагута, которую мы пивали в Париже, — а хороша, больно жжется!

— Так и у вас есть водка? — сказал Митрофан.

— Можно ли чтоб умное животное не извлекло спирта из всего, что только дает спирт! — возразил старшина. — Ведь это первый признак просвещения!

«Почти то же, что и у нас, — подумал Митрофан, — вся наша химия ограничивается... винокурением!»

— Но не угодно ли напитка, извлекаемого нами из плодов? — примолвил лунатик и налил в кубок жидкости превосходного розового цвета. Митрофан, который перепробовал на Земле все лучшие вина, сознался, что ничего лучшего не пивал.

Напиток похож был вкусом на лучшее шампанское, но в миллион раз приятнее. Митрофан почувствовал благодетельное действие животворного напитка, сделался смелее и стал расспрашивать старшину о предметах, которые казались ему непостижимыми.

— Почему у вас за столом нет слугителей из одной с вами породы?.. У нас на Земле есть особое сословие лакеев, буфетчиков, тафельдекерей, камердинеров, кучеров, фореиторов, берейторов, всего и вспомнить нельзя, так что иногда один человек имеет у себя сто, двести, триста и более слугителей.

— Которых он должен кормить, поить и одевать — не правда ли? — спросил старшина.

— И платить еще деньги, — сказал Митрофан. — Правда, и у нас на Земле приучают собак носить корзинку или другую поноску, но это только для забавы, а у вас собаки в самом деле служат...

— Лет тысячи за две пред сим, гласит предание, и у нас было то, что вы рассказываете о Земле, — сказал старшина, — но наконец мы усовершенствовали дело и предоставляем лунатикам, или, по-вашему, людям, те только занятия, где без них нельзя обойтись. Лунатики, или, по-вашему, люди, занимаются у нас произращением плодов, фабриками, мануфактурами, искусствами, ремеслами и художествами, употребляя для черной работы домашних животных, которых наши предки сперва сделали ручными, потом развили в них понятия, а наконец научили разуместь наш язык и объясняться с нами по-своему. Конечно, язык животных чрезвычайно ограничен, но он имеет, однако ж, столько звуков, что животные могут объяснить главнейшее, что им и нам необходимо. И то правда, что язык их не очень приятен для непривычного слуха, но разве не то же бывает почти со всеми чуждыми и невозделанными языками, которых мы не понимаем!

— Совершенная правда! — сказал Митрофан. — Помню, какое на меня произвел впечатление чухонский язык... Однако ж,

позвольте вам заметить... все-таки нельзя же обойтись в доме без слуги.

— У нас и есть они для такой работы, которой не могут выполнить животные. Но, по большей части, у нас женщины исправляют домашнюю службу, а мужчинам предоставляется только то, что требует силы или особенной науки. Вот, например, плоды эти, которые вы кушали и из которых пили сок, произращены мужчинами, а сохраняют эти плоды, продают и изготавливают женщины. Мужчины строят дома, делают мебель, а женщины сохраняют в домах чистоту и порядок. Женщины изготавливают все украшения для себя и для нас; и таким образом у нас нет недостатка в работниках. Мы ни в чем не нуждаемся, и планета наша возделана везде превосходно.

— Прекрасно! А я как вспомню, что у нас иной парень, сильный как бык, целый день таскается по городу с несколькими дюжинами яблок, с несколькими горшками цветов вместо того, чтоб пахать пашню или работать топором, — так, право, вижу, что вы умнее нас!.. У нас люди толпятся в городах, чтоб как-нибудь пожить на чужой счет... кто торговлей, кто переторжкой, кто спекуляциями — а обширные пространства земли лежат невозделанные! На фабрику и калачом не заманишь!..

Ужин кончился, и старшина, пожелав покойного сна странникам, вышел из комнат, назначенных для их помещения

Лишь только вышел старшина, явились два новые существа. Они складом хотя и походили несколько на лунатиков, но сходством более приближались к обезьянам, но самой красивой породы. Вообще они были ниже и нежнее лунатиков. Эти новые существа имели на голове цветочные венки, на плечах легкий плащик из пестрой ткани и красивый передник. Вошел в двери, они сделали несколько ловких балетных прыжков и книксенов и начали убирать со стола, укладывая в корзины посуду и отдавая собакам. Митрофан догадался, что это должны быть самки лунатиков, или, говоря земным языком, женщины.

Одна из них принесла лампу, поставила на стол и привела в движение какой-то механизм, посредством которого все окна закрылись ставнями, скрытыми в стене. Наконец, распрощавшись знаками с нашими странниками, женщины вышли.

— Ну что, Усачев, каковы тебе кажутся здешние красавицы? — спросил Митрофан.

— Такие же лешие, как и их мужчины, только почище рыльцем, а уж какие проворные... под стать любой немецкой кухарке!

— А заметил ли ты, Усачев, часовых у наших дверей? Попадись этакому черту в лапы — изомнет, как лыко.

— Ведь штука-то не в росте да не в силе, ваше благородие! Вот как мы ходили под турку, так уж каких дюжих парней выставил против нас бусурман — а что взяли! Бывало, как закричат: «Алла, алла!» — да бросятся вперед, словно лес двинулся, а мы только: «Стой, равняйся!» Штык вперед, да и в ус себе не дуем! Бусурман покричит, повертится — а на штык идти нет охоты, так и наутек! Мы тут-то и насядем, да давай погонять.

— Но ведь мы здесь одни! — сказал Митрофан, повеся голову.

— Вот в том-то и беда! Будь здесь наша дивизия... да что, будь здесь один наш полк с нашим бравым полковником... царство ему небесное... так мы всю эту сторону забрали бы на царя!.. А теперь воля Божья! Отдохните-ка, ваше благородие! Утро вечера мудренее.

На другой день женщины принесли завтрак, состоявший из нескольких молочных блюд, и отперли ставни; назначенный приставом к земным странникам немедленно явился и просил их одеваться и ехать в правление для публичного допроса. Они поехали в закрытом экипаже в другое здание, провожаемые толпою вооруженных лунатиков, среди бесчисленного народа, толпившегося на улицах.

У входа также стояли толпы, особенно множество женщин, которые с любопытством смотрели на земных жителей,

имевших голову лунных птиц. Вообразите себе, как бы мы дивились на Земле, если каким-нибудь физическим переворотом к нам занесены были жители другой планеты с головою земных птиц и телом, обросшим медвежьей шерстью! Везде, где есть мысль и рассудок, там, для противоположности, есть бессмыслие, безрассудность и чада их — предрассудки. Внезапное появление жителей Земли в Луне иные из лунатиков почитали счастливым, другие несчастным предзнаменованием, точно так же, как у нас в Европе в средние века рождение уроды почиталось знаменем, угрожающим бедствиями, и навлекало на несчастных родителей мщение невежд и суеверов. Большая часть лунатиков не верили даже, что это жители Земли, а почитали наших странников или злыми духами, или чародеями и поговаривали о том, как бы извести их. Эти толки заставили градоправителя принять меры осторожности и после допроса пришлецов обнародовать все, до них касающееся.

За огромным столом сидело около пятидесяти лунатиков, обвешанных пестрыми лоскутками тканей и металлическими игрушками отличной отделки. Эти лоскутки, игрушки и погремушки заменяли место одежды и знаков достоинства, как пуговицы, кисти и перья у китайских мандаринов. Собрание состояло из высших чиновников и первых ученых города. Митрофану и Усачеву подали кресла и велели сесть возле секретаря, перед которым лежали черные листы, нечто вроде бумаги, и стояла склянка с белыми чернилами, то есть напротив, как у нас. У нас приказные пишут черно по белому, а в Луне было по-черному.

Градоправитель, тот самый почтенный старец, к которому наши странники являлись накануне, успокоил их насчет их безопасности, обнадежил, что правительство будет пещись об них, и примолвил, что они должны отвечать искренно на все вопросы, для извещения высшего правительства об этом необыкновенном и важном событии, а притом и для уничтожения ^ глупых народных толков.

Вопросы предложили первый астроном и первый философ высшей школы, или, по-нашему, академии.

Астроном. Итак, вы с той планеты, которая ближе других к нам и которую вы называете Землюю, а мы — ночным солнцем, и которая в тринадцать с половиною раз более нашей планеты?

Митрофан. Точно так! Мы жители Земли.

Философ. Что Земля обитаема — это было только философическое предположение, основанное на теории вероятностей и аналогии. Многие из наших ученых, однако ж, не верят тому и доказывают невозможность этого предположения тем, что Земля окружена густою атмосферою, стесняющею испарения планеты и затрудняющею действие электричества.

Митрофан (*вспомнил все, что слышал о Луне от приятелей своих Резкина и Цитатенфрессера, и, собравшись с духом, отвечал*). Точно так же и у нас, на Земле, не верят, чтоб Луна была обитаема, утверждая, что как на Луне нет вовсе атмосферы, то воздух так жидок, что в нем дышать нельзя, и что на Луне нет воды. Простой же народ верит, что Луна создана только для того, чтоб освещать наши ночи.

Все присутствовавшие улыбнулись и посмотрели друг на друга.

Астроном. Итак, вы видите нашу планету по ночам освещенною?

Митрофан. Да, в виде шарообразного фонаря, в виде полушара и рога...

Астроном. Точно так, как мы видели вашу Землюю. А как длинны ваши ночи?

Митрофан. Сутки разделяются у нас, по-книжному, на 24 часа, и одна половина суток называется днем, а другая ночью, хотя в иных странах, например, в той, из которой я залетел в Луну, летом совсем почти не бывает ночи, а зимою едва несколько часов в сутки светло, и хотя день и ночь не бывают никогда равны, как

пишут в книгах... Но мы верим писаному, чтоб не спорить понапрасну.

Астроном. А здесь... у нас на Луне, день состоит из четырнадцати, а ночь из тринадцати с половиною суток, и вы прибыли к нам именно в первые сутки после ночи, следовательно, двенадцать дней не увидите с Луны вашей родины.

Митрофан. А что пользы, хотя и увижу, когда нельзя воротиться! И у нас много хорошего на показ, да то беда, что глаз видит, да зуб ней мет!

Философ. Все ли жители Земли похожи друг на друга?

Митрофан. Все люди похожи друг на друга складом, но разнятся между собою очерком лица и цветом кожи. Мы принадлежим к лучшей породе людей, то есть к белой; но у нас есть люди чернокожие, оливковые, медного цвета...

Философ. И у нас тоже! И у нас разношерстные лунатики! Мы принадлежим к лучшей породе — к бурой; но у нас есть белошерстные, черные, красные и даже пегие... А процветает ли у вас просвещение?

Митрофан. Чрезвычайно! У нас только и толков, что о просвещении. Вот, например, меня — так насильно просветили, хотя мать моя и дядя, из знаменитого рода Скотининых, вовсе того не желали...

Философ. В чем же состоит ваше земное просвещение?

Митрофан стал в тупик и не знал, что отвечать; наконец, собравшись с духом, сказал:

— На это я не могу отвечать одним разом. Каждый понимает просвещение по-своему...

Философ. Но кого же у вас общее мнение признает просвещенным?

Митрофан снова смутился. От роду не слыхивал он об общем мнении и не знал, что это такое. Но как надлежало отвечать, то он сказал наотрез:

— Общего мнения я не знаю — у нас его нет вовсе.

Градоначальник. Как нет общего мнения? Это что-то непонятное! Ведь у вас есть мысли, есть дар слова?

Митрофан молчал.

Философ, думая, что он непонятно выразился, сказал:

— Вот, например, если вы почитаете меня умным лунатиком, то это ваше мнение, а если меня почитает таковым целый город, целая страна, то это общее мнение.

Митрофан. А какое дело до вас целому городу и целой стране? Тог пусть беспокоится о вас, кто имеет с вами дело, например, наследники вашего имения, кредиторы, игроки, с которыми вы играете в карты, приятели, которые у вас обедают... а чужим людям что за нужда, кто вы и что вы.

Философ. Однако ж, кого же у вас почитают просвещенным в кругу людей порядочных, достаточных, словом, людей, которые по своему положению выше других в свете, в обществе?

Митрофан. Кто хорошо и по моде одевается, ловок в обращении, знает чужой язык, то есть язык не отечественный, умеет танцевать, играть в карты... этого и довольно!

Философ. Но какие же науки должен знать этот просвещенный человек?

Митрофан. Науки!.. Да зачем ему науки! Науки для ученых, для учителей...

Философ. Помилуйте. Да ведь ученые и учителя должны же обучать или научать кого-нибудь.

Митрофан. Это другое дело! Они точно и обучают, и научают нас в школах... Но ведь науки нужны только для экзамена, а когда вышел из школы, то забываешь все, чему учился, потому что это вовсе не нужно, кроме того, что я прежде сказал и без чего нельзя обойтись в обществе.

Все члены собрания с удивлением посматривали друг на друга.

Философ. А ученых у вас много?

Митрофан. Считать их не считал, а слышал, что вакансий никогда не бывает на тех местах, на которых ученость доставляет хороший доход.

Кажется, что собрание не весьма довольно было ответами Митрофана. Члены правления начали разговаривать между собою на своем языке и, поспорив, как обыкновенно водится, опять обратились к делу.

Градоначальник. А есть ли у вас правосудие?

Митрофан. Вот уж этого так вдоволь! Во всяком городе по нескольку судов, в больших городах — по нескольку десятков, а в столицах — и счету нет! Уж не знаю, кого они судят, что судят и как судят, а известно мне, что судят и пишут с утра до ночи, а иногда и ночи напролет.

Градоначальник. Но справедливо ли судят?

Митрофан. Право, не могу, наверное, сказать, потому что сам, слава Богу, не судился, а знаю, что есть у нас пословица: не бойся суда, а бойся судьи, и сам слышал, как поют на театре, в одной комедии:

Везде законы святы.

Есть исполнители — лихие супостаты!

Философ (на ухо своему соседу). Точнехонько, как у нас!

Писатель. А есть ли у вас литераторы?

Митрофан. У нас есть различные звания и ремесла, а для людей благородных — чины и места; но звания литератора у нас нет, и я не слыхивал, чтоб кто-нибудь подписывался на деловой бумаге или на визитной карточке Литератором.

Писатель. Но ведь у вас есть книги, есть люди, которые их пишут, и есть люди, которые их любят читать!

Митрофан. Книжных лавок, особенно в последнее время, развелось бездна в столицах; но, сколько я заметил, посетителей в книжных лавках бывает в миллион раз менее, нежели в трактирах,

кондитерских и винных погребах, и я никогда не видывал, чтоб в обществах читали книгу, вместо того чтоб, как везде водится, играть в карты. Что есть у нас множество книг, то я, наверное, знаю, а кто их пишет и, кто читает, не знаю!

Писатель. Вы, например, разве не читаете книг?

Тут Митрофан вспомнил, что он назвался ученым перед градоправителем, и, по некотором молчании, отвечал:

— Я читаю, потому что я из ученых, а ученые обязаны читать книги по своей части.

Писатель. Я говорю о литературе вообще, о изящной словесности, о поэзии...

Митрофан весьма был рад, что мог вывернуться из этих сетей, в которых он запутался бы, если б стал отвечать. Он сказал наотрез:

— Это не по моей части; не знаю!

Писатель. Но человек просвещенный, образованный, а тем более человек ученый должен все знать, что делается в области ума, вкуса, изящества...

Митрофан. У нас каждый обязан заниматься своею частью! Клянусь вам честью, что у меня есть родственники, весьма важные люди, которые гордятся тем, что ничего не читают; хвастают этим и утверждают, что ничего не знают и знать не хотят, что делается в литературе и науках, говоря, что это не по их части. Эти всенародные признания доставляют им репутацию деловых и порядочных людей. Скажи у нас, например, судья, что он читает романы, — да его в грош не будут ставить, хотя бы он был лучший судья из всех судей! Извините, уж так у нас ведется!

Писатель. Однако ж, ведь у вас есть и романы и стихи?

Митрофан. Конечно, есть — только, как я слышал от весьма умных людей, хорошего мало!

Писатель. Хоть мало — да все же ведь есть и хорошее! Так из чего же писать, когда никто не читает!..

Митрофан. Я слышал, что пишут для того, чтоб кормить книгопродавцев, которые, без сомнения, находят средство сбывать эти книги с рук... Но как я жил в порядочном обществе, между людьми богатыми и просвещенными, то и не видывал, чтоб кто-нибудь читал или покупал книги на отечественном нашем языке. Если у кого есть шкаф с книгами, то не иначе как с книгами на чужих языках... Это мода или, если угодно, обычай...

Писатель. Следовательно, в другой стране существует мода или обычай покупать книги на вашем языке!

Митрофан. В этом прошу извинить! Хотя наш язык признан всеми, даже неприязненными нам чужеземцами, языком звучным, гибким и богатым, но нашему языку нигде не обучают, потому что мы обучаемся всем почти чужеземным, не только живым, но и мертвым языкам, следовательно, гораздо прибыльнее иностранцам продавать нам свои книги, нежели покупать наши.

Писатель. Воля ваша, все это так странно, не смею сказать нелепо, что я ничего не понимаю! И мы учимся чужим языкам, но свой отечественный язык ставим выше всего и с чужеземцами меняемся только мыслями и чувствами, то есть книгами! Они читают наши сочинения, а мы — их книги, — и квит!

Митрофан (пожимая плечами). Не моя вина, что у нас не так ведется!

Градоначальник. Вы одеты в какие-то грубые ткани..., следовательно, у вас есть фабрики, мануфактуры, промышленность, торговля!

Митрофан. Извините, ткань на мне не грубая, а лучшее французское сукно, взятое в долг, за тройную цену. Что же касается до фабрик, то у нас такая их бездна, что фабрикует все, что ни вздумаете... Торговля — везде... а промышленников столько, что и деваться от них некуда! Меня недавно поймали промышленники и обыграли дочиста в преферанс!.. Позвольте спросить, играют ли у вас в преферанс?

Присутствующие посмотрели друг на друга, пошептались, и градоначальник попросил Митрофана, чтоб он объяснил свой

вопрос. Митрофан тут попал, как говорится, в свои сани! Он объяснил им, что такое карты, что такое банк, штос, вист, преферанс, пикет, палки, и привел в изумление лунатиков. Они едва могли постигнуть, хотя Митрофан в этом деле был красноречив, как Цицерон. Наконец, один из ученых лунатиков догадался, что карточная игра есть почти то же, что заклады или пари, и растолковал своим товарищам.

Градоначальник. Теперь понимаю!.. У нас также можно промотать свое имущество на заклады, как у вас на карты; но преимущество останется всегда на нашей стороне, потому что мы, по крайней мере, не теряем драгоценного времени на игру.

Митрофан. А у нас именно для того играют в карты, чтоб сократить время. У нас все искусство жизни состоит в том, чтоб как можно скорее убить время, сделать незаметным его течение. Для этого выдуманы не только все забавы, но даже и важные занятия! Мы в вечной войне со временем. Это первый наш враг!

Градоначальник. Но ведь время составляет жизнь, следовательно, убивая время, вы убиваете свою жизнь, потому что жить и ничего не делать то же, что не жить!

Митрофан. Как ничего не делать! Мы при картах едим, пьем, сплетничаем, обманываем друг друга — а дело делается, деньги переходят из рук в руки, люди знакомятся, один другого выводит в гору. тот сталкивает с места приятеля — и все идет своим чередом, и за картами даже лучше и успешнее, чем в иной канцелярской службе! Если у вас есть бумажная фабрика, прикажите сделать карты — у меня есть несколько колод — для образца, потому что я, как настоящий помещик, никогда не выезжаю в дорогу без карт! Я научу вас играть, и вы увидите, как вам это понравится! Хмельное у вас есть — как же можно, чтоб карт не было! Это почти непостижимо! Где же ваше просвещение, господа!

Градоначальник. Много благодарны! Обойдемся без ваших карт — у нас довольно и собственных глупостей!

Митрофан. Воля ваша, а карты не глупость... У нас играют в карты самые умные люди, вельможи и профессеры, и к игрокам ездят в дом такие тузы, которые почли бы унижением своего достоинства ездить к ученому или артисту.

Градоначальник. Довольно об этом! Скажите, в каком отношении у вас мужчины к женщинам?..

Митрофан (про себя: «Это что-то мудреное»). Нельзя ли выразиться попроще?

Градоначальник. Как у вас мужчины обходятся с женщинами?

Митрофан. За хорошенькими волочатся, на богатых женятся, а за знатными ухаживают, чтоб иметь покровительство.

Градоначальник. Следовательно, у вас женщины пользуются большими правами, когда могут покровительствовать?

Митрофан. Насчет прав не могу ничего сказать, а знаю только, что они не имеют чинов, не занимают никаких служебных мест, и когда у нас ведется счет народа на души, то женщин не включают в счет людей или душ. Один из ученых моих приятелей, по имени Резкин, сказывал мне: женские души потому не идут в счет, что женщины владеют душою мужчины, добрая женщина — в виде ангела, а злая баба — в виде черта! Вот почему женщины и могут у нас покровительствовать, когда у какой-нибудь из них во власти душа сильного человека!

Один из присутствующих (вполголоса). Это почти то же, что и у нас!

Градоначальник. Вы сказывали, что у вас есть города... вы живете в городах?

Митрофан. Города у нас, как острова на море, — и мы ищем в море добычи, чтоб пользоваться ею на берегу, то есть получаем доход из деревень, чтоб проживать в городах. Те же, которые не имеют своих деревень, живут на счет тех, которые

имеют деревни, вымышляя разные разности, разные нужды, потребности и спекуляции. Словом, это круговая порука!..

Градоначальник (обратись к своим). Господа! Видно, что не все то лучше, что велико. Земля больше нашей Луны, а обитаема мясоедами, в которых, кажется... мало толку! Из ответов этого земного ученого... многого не узнаешь. Надобно будет его сперва переучить по-нашему, а потом уже расспрашивать... Кажется, однако ж, что эти существа не злые. Но как они питаются мясом и, как я мог заметить из ответов... падки на чужую собственность, то им нельзя дать полной воли, а должно крепко присматривать за ними, чтоб они не съели кого-нибудь из нас или из слуг наших, животных. Вы, секретарь, составьте немедленно донесение из ответов землянина и прикажите явиться ко мне двум самым быстрым орлам, чтоб доставить как можно скорее депешу в столицу. Для народа должно тотчас же составить объявление, объяснить дело и успокоить легковерных, доставив таким образом безопасность бедным землянам. Это напишете вы, господин словесник! А вы, господа (обращаясь к Митрофану и Усачеву), можете удалиться. При вас всегда будет дежурный чиновник и часовые, до дальнейших приказаний; но, впрочем, вам позволено прогуливаться и видеться с кем угодно: то есть вы не под стражею, а имеете при себе охранительный караул.

— Почтенные господа, — сказал Митрофан, поклонившись собранию, — я очень благодарен за все милости и вежливости, какие вы мне оказываете в моем несчастном положении, а из благодарности к вам советую не забывать, что я говорил вам насчет карт... Угодно, я сей час отдам одну колоду, на образец... (Митрофан вынул колоду карт из-за пазухи.) Уверю вас, что, когда испытаете приятность игры, — не отстанете...

Один из ученых взял из любопытства карты от Митрофана, а другой вышел на башню здания и в рупор объявил народу, что пришельцы не звери, не чудовища, не черти и не колдуны, но жители Земли, занесенные на Луну ветром, существа добрые и смирные, которым, для чести Луны, должно оказывать ласку и покровительство. Когда же наши странники вышли на крыльцо —

лунатики прокричали им «ура» и с честью проводили до дому градоначальника.

На другой день, после завтрака, пристав ввел к Митрофану лунатика, сказав, что это журналист, который желает с ним познакомиться.

Митрофан, как большая часть людей, не принадлежащих к ученому званию и литературе, не имел никакого понятия об издании журналов, о книгопечатании и вообще о книжном деле. Слова: сочинитель, философ, ученый — Митрофан почитал почти насмешкою и эпиграммой, как обыкновенно у нас ведется. Он в газетах читал одни объявления и думал, что газету работают какие-то ремесленники. Журналиста он сроду не видывал и потому не знал, как обходиться со своим гостем. По счастью, пристав, представляя журналиста, сказал Митрофану, что гость его известный писатель и издал уже много книг. Тут Митрофан понял дело.

Митрофан, рассматривая своего гостя, заметил, что хотя он был одного склада с прочими лунатиками, но с головы был более похож на льва, нежели на медведя и обезьяну, и что шерсть на нем была гораздо светлее. Когда пристав удалился, журналист сказал Митрофану:

— Я пришел к вам с предложением моих услуг. Хотя начальство и обнародовало, что вы не волшебники, не лютые звери и не злые духи, но все-таки будет лучше, если журналы поговорят в вашу пользу и поставят вас в хорошем виде пред народом. Предрассудки трудно рассеять иначе, как силою убеждения: приказанием нельзя заставить верить или не верить! По вашим рассказам я буду говорить с моими читателями о Земле, о земной жизни, и наш народ наконец, убедится, что вы такие же созданыя... как и мы... одаренные разумом!..

Митрофан взглянул невольно в зеркало, потом на лунатика и почти обиделся тем, что он, сравнивая его с мохнатыми жителями Луны, думал оказать ему почесть.

— Да мне какая нужда до того, что обо мне думает народ, — сказал Митрофан, — лишь бы начальство не делало мне зла и покровительствовало меня!

— Но ведь высшее начальство имеет подчиненных, а эти подчиненные — низших исполнителей закона и приказаний; а в низшем разряде могут быть такие же невежды, как и в простом народе — и вы можете подвергнуться обидам и оскорблениям. Между исполнителями есть даже много животных, любимцев своих господ! Высшее же начальство не может беспрестанно охранять вас — итак, пока до него дойдет весть о неприятном вашем положении, вы можете жестоко пострадать...

— Правда, и у нас есть пословица: пока солнышко взойдет, роса глаза выест. Но я не постигаю, — примолвил с досадою Митрофан, — как могут быть такие глупцы, чтоб почитать меня зверем или злым духом, когда я разговариваю с вами и, как вы видите, одарен разумом... хоть и немудреным, но все же разумом человеческим.

— Да ведь у нас и животные пользуются даром слова, следовательно, это не оправдание; а в злых духов у нас так же верят; как и в добрых...

— По словам ваших мудрецов, я думал, что здесь нет вовсе дураков и что все здесь так же превосходно, как тот напиток — вино, что ли, которым мой пристав потчевал меня вчера за ужином.

— Если б не было глупости, то не было бы и мудрости; так точно, если б не было мрака, то мы бы не имели надлежащего понятия о свете. Без глупости не могло бы существовать ни одно общество. Глупость в свете так же нужна, как гирия на весах, для определения цены товара, то есть ума.

— А разве ум у вас высоко ценится? — спросил Митрофан.

— Я думаю, как и везде: это драгоценнейшая часть души.

— Впервые слышу! — сказал Митрофан. — Сколько я могу судить, так мне кажется, что гораздо лучше деньги и связи!

— Да ведь деньгам не сотворишь ни хорошей книги, ни хорошего закона для блага ближних, а связями не приобретешь ума для выполнения тех обязанностей, которые на вас возложат старшие.

— Какая нужда! Да связями удержишься на месте, а за деньги найдешь столько ученых помощников, сколько сам захочешь!

— Положим, так, — возразил журналист, — все, однако ж, и с деньгами, и со связями ничтожное существо будет ничтожным, и чем вы его поставите выше, тем ничтожество его будет виднее.

— Однако ж никто не посмеет сказать этого в глаза — а там думай себе, что хочешь!

— Вы рассуждаете по-своему, а у нас другое, и я хочу помочь из сострадания, потому что я сам здесь иностранец и много терпел и терплю от чужой глупости, следовательно, знаю по опыту, как нужна защита бедному иностранцу, особенно из другой породы.

— Я не прочь и даже очень благодарен вам за ласковое предложение, — сказал Митрофан. — И в самом деле, я с первого взгляда заметил в вас что-то отличное от здешних жителей. Откуда же вы родом, если смею спросить?

— Из другой планеты, — отвечал журналист.

— Итак, у вас есть сообщение между Планетами? Нельзя ли учредить почту между Землею и Луною?.. Это было бы превосходно! Мы стали бы торговать, играть в карты и после, может быть, завели бы войну... потом мировая... пир на весь мир!.. Как же вы летаете в другие планеты?

— Мы никуда не летаем и не имеем никакого сообщения с другими планетами, а дело вот в чем: наша планета была в соседстве с Луною. Хотя наша планета была весьма мала в сравнении с Луною, но плодородна, а предки наши жили на ней весело и в довольстве. Но, по несчастью, свет так устроен, что существа, которые похваляются тем, что одарены разумом высшим, нежели все прочие твари, никогда не довольны своею

участью. Предки наши вообразили, что им нехорошо жить в близком соседстве с Луною и что влияние ее для них не только бесполезно, но даже вредно. Чтоб отдалиться от Луны, мудрецы наши вздумали прокопать нашу планету насквозь, крестообразно, и из вынутой массы воздвигнуть на одном месте огромную гору, полагая, что когда уничтожат равновесие планеты, установленное самою природою, и когда ветер проникнет во внутренность планеты, то она сойдет с места и приблизится к Солнцу. Равновесие точно уничтожили наши мудрецы, но это произвело страшный переворот: вихрь проник во внутренность планеты, повернул, ее и бросило на Луну. Планета наша распалась на части и образовала высокие горы на Луне. Часть жителей нашей планеты погибла в этом перевороте, а часть осталась в живых, перелетев воздушное пространство на огромных обломках и упав вместе с ними на поверхность Луны.

Я был тогда младенцем и лишился не только родителей, но и всего нашего богатства. Меня здесь воспитали — я служил в военной службе, отплатил кровью моею за мое воспитание, потом странствовал по всей Луне, был у различных пород лунатиков, искал везде счастья и познаний и уже попал было на путь к счастью; но обстоятельства переменились — и счастье выскользнуло из рук. Я возвратился сюда, стал писать — пишу, живу кое-как и доживаю до старости. Высшее начальство ко мне если не крайне милостиво, то по крайней мере терпит меня, потому что оно справедливо и знает, что я никакого зла не делаю и злого не замышляю. Но как я люблю правду, указываю иногда, хоть намеком, на злоупотребления, смеюсь над глупостью, браню порок и притом промышляю себе трудом пишу, ни перед кем не кувыркаюсь, как это здесь в обычае, если вы заметили, — то разумеется, что все глупцы, все злоупотребители и вся сволочь, питающаяся чужим трудом и чужим умом, — заклятые мои враги... Но я их не боюсь и даже вас защищу от них.

— Вы мне рассказываете чудные дела! — сказал Митрофан. — Разбитая планета! Да этак, пожалуй, и Земля может разбиться.

— Но ведь вы не стараетесь нарушить ее равновесия, не прокапываете ее насквозь!

— До сих пор не слышно было об этом. Но я уверен, если сказать людям, что, прокопав землю насквозь, они найдут бездну самородного золота, то они готовы разбросать всю Землю голыми руками! Слава Богу, что-глубоко-то копать у нас нельзя! Не менее удивительно мне и то, что вы говорите о здешней глупости, злости и злоупотреблениях... Право, страшно!

— А разве у вас на Земле нет ни злости, ни глупости ни зависти, ни злоупотреблений? — спросил журналист.

Митрофану хотелось похвастаться и сказать, что у нас на Земле нет никакого зла, но он боялся попасть в лжецы, если Резкин, Бонвиван и Цитатенфрессер спаслись и причадили к Луне в другом месте; а чтоб не оставить без ответа журналиста и поддержать репутацию родимой Земли, Митрофан отвечал так, как у нас иногда составляются резолюции, то есть неопределенно.

— У нас не то, чтоб много было зла — этого не могу сказать, но чтоб все было в совершенстве — этого также не стану утверждать. У нас так... то есть, кое-как... середина на половине, как говорится попросту. Там зло — тут добро, в ином месте ни то, ни другое... Ох, эти злодейки деньги! Не будь денег, кажется, не было бы и зла. А у вас есть ли деньги?

— Разумеется! — и журналист вынул из мешка, который скрыт был под плащом, горсть золотых и серебряных шариков с клеймом. Деньги эти походили на наши пули.

Митрофан взял в руки эти пули, позвенел и с восторгом воскликнул:

— Прекрасные деньги! Только с ними неловко играть в карты — покатались бы по столу!

Тут он объяснил журналисту, что значат карты, и, вынув из кармана другую колоду, показал, как играют в банк, в вист, в палки и в преферанс. Журналист не хотел верить, когда Митрофан стал рассказывать, что карточная игра составляет на Земле

любимое занятие даже весьма умных людей и что все порядочные люди должны уметь играть — из приличия...

Журналист гораздо удачнее расспрашивал Митрофана, нежели старшины и ученые, и выпытал весьма много любопытного насчет наших земных обычаев и образа жизни. Митрофану понравился этот гость, и он просил журналиста навещать его почаще, снабжать советами и познакомить с Луною, что журналист и обещал исполнить.

На третий день появилась в лунном журнале огромная статья о Земле и ее жителях и известие, впрочем, самое выгодное для Митрофана — о двух земных странниках, старике, то есть Усачеве, из простого звания, и молодом земном ученом — то есть Митрофане. Все прочие лунные журналы перепечатали статью, а иные, чтоб придать статье вид подлинности, пересказали дело другими словами и прикрасили, то есть пригнали своего — и через неделю Митрофан вошел в моду. Все хотели видеть его, говорить с ним, и он получил, в несколько дней, до тысячи приглашений к обеду, ужину, на бал и на вечер.

«Что это значит, — думал про себя Митрофан. — Уж не почитают ли меня здесь музыкантом, певцом или фокусником каким, что приглашают во все знатные дома, без всякой нужды, без связей и родства! У нас такую почесть оказывают только артистам. Не сыграл ли со мной шутки этот журналист? Или и здесь так же падки на иностранцев, как у нас, и водятся с ними, не спрашивая, кто они и откуда — лишь бы имели хорошее произношение и умели льстить! Посмотрим!»

Митрофан попросил своего пристава, чтоб он составил ему список тех лиц, которых он должен посещать по очереди, и решился пуститься в большой свет.

Вечером пристав повез Митрофана в гости к одному из знатнейших лунатиков в городе. Ставни в доме были закрыты, и комнаты иллюминированы разноцветными огнями. Гостей было множество, и все с любопытством смотрели на Митрофана. Хозяин, уже пожилой человек, принял радушно Митрофана и

подвел к дивану, на котором сидело шесть самок, или лунных женщин, обвешанных разноцветными и блестящими обрезками тканей, золотыми игрушками, самоцветными камнями, с цветочными венками на голове.

— Это жены мои! — сказал хозяин.

Митрофан поклонился и, обратясь к хозяину, спросил:

— Неужели у вас существует многоженство?

— Как видите, — отвечал хозяин. — А у вас, на Земле?

— У нас... извините... у нас просвещенные народы одноженцы... а прочие многоженцы... — сказал Митрофан.

Хозяин улыбнулся, примолвив:

— А у нас напротив; но ни вы, ни мы не должны обижаться, если то, что у вас называется просвещением, у нас почитается варварством и наоборот. Ведь мы с вами уроженцы не одной планеты...

— Я несколько не обижаюсь, — сказал Митрофан, — но мне, право, совестно, что я, будучи обязан отвечать на ваши вопросы, иногда невольно должен называть невежеством, что здесь почитается мудростью... Ведь и вам кажется не только отвратительным, но даже преступным мясоедение... а у нас без мяса нельзя сесть за стол.

— Уж это чересчур! — сказал хозяин, сделав гримасу.

— Позвольте, кстати, спросить вас, — сказал Митрофан. — В здешнем народе почитали меня или волшебником, или злым духом, или лютым зверем; следовательно, у вас есть же лютые звери — а они потому и называются лютыми зверями, что душат, рвут на части и едят других животных и даже людей, если поймают в свои лапы. Так ли?

— У нас, правда, есть лютые звери и они точно убивают иногда лунатиков и наших слуг, домашних животных, но не едят их. Лютые звери наши нападают на нашу собственность, похищают или отнимают что могут из съестных припасов и даже детей наших и слуг, требуя потом выкупа, и находятся в вечной с

нами войне, живя стадами в неприступных дебрях и горах. Вот для чего мы содержим войско.

— Итак, ваши лютые звери то же, что у нас разбойники и горские полудикари, — сказал Митрофан. — А разве вы не воюете между собой, то есть с другими народами, с жителями других стран?

— А это зачем? А на что же суд и расправа? — отвечал хозяин. — А вы неужели воюете между собою?

— Да еще как! Бывают сражения, в которых убивают по сто тысяч людей в несколько часов.

— Зачем? Разве с голоду... для того, чтоб питаться убитыми...

— Нет, мы, просвещенные люди, не едим человеческого мяса, а деремся мы за обиды, за земли, за города, за честь, деремся иногда и для того, чтоб показать храбрость нашу и силу.

— У нас этого нет! Мы друг друга не убиваем, — отвечал хозяин.

Митрофан не заметил, что журналист стоял позади, и только узнал, что он тут, когда журналист шепнул ему на ухо:

— Не убивают физически, как лютых зверей, долбёжкой по голове, но душат морально друг друга... когда находят в том свои выгоды.

Митрофан пожал руку журналисту, полагая, что он говорит это в утешение его и в оправдание Земли.

— Полноте рассуждать о важных предметах! — сказала одна из жен хозяина дома. — Лучше спойте нам что-нибудь, господин землянин!

— Я, сударыня... не умею петь, — отвечал Митрофан с поклоном.

— Как не умеете петь, когда у вас птичья голова! — возразила одна из хозяек дома. — К тому же вы похожи на тетерева — а они у нас лучшие певцы!

— Что я похож на тетерева, это я впервые слышу, — отвечал Митрофан с некоторою досадою, — и если я с головы похож на певчих птиц, то это на ваших птиц, а у себя, «а Земле, я человек, да еще и не последняя спица в колеснице!»

— Не сердитесь, а спойте что-нибудь, — сказали в один голос все хозяйки и бросились к Митрофану.

По этому знаку все самки, бывшие в гостях, окружили его, стали его ласкать, гладить, лизать, кувыркаться перед ним, повторяя:

— Спойте, спойте что-нибудь! Нам хочется послушать земных песен!

«Такие же неотвязчивые, как наши женщины, — подумал Митрофан. — Чего захочется, то сделают во что бы ни стало. Нечего делать!»

— Милостивые государыни! — сказал Митрофан. — Я удовлетворю вашему желанию — запою, как умею, но должен вас предупредить, что я не певец по ремеслу и от роду не певал, как только про себя и для себя, музыки не знаю и большой охоты к ней не имею. У нас есть певцы, которые живут тем, что разъезжают из одной страны в другую и поют за деньги. Точно правда, наши женщины покровительствуют певцов и всяких скоморохов более, нежели ученых и поэтов, — но я вовсе не из звания певцов. В угоду вам спою, что затвердил наизусть... не осудите!

Митрофан не любил музыки и во время представления опер ходил смотреть только декорации и наслаждался одними балетами и оригинальными водевилями вроде: «Титулярные советники» и «Филатка и Мирошка». Но цыганский хор приводил его в восторг, и он даже ездил нарочно несколько раз в Москву потешить душу цыганскими песенниками. Итак, он запел «Вот едет тройка удалая» цыганским напевом, и, когда кончил песню, во всех комнатах раздался сильный свист, означающий на Луне то же, что у нас рукоплескания, — и все лунатики, особенно самки, стали кувыркаться перед Митрофаном, изъявляя этим свое

удовольствие. Ободренный таким успехом, Митрофан пропел еще «Ты не поверишь, как ты мила» — и произвел такой восторг в слушателях, какого никогда не возбуждали на Земле ни Каталани, ни Зонтаг. Все лунные знатоки и любители музыки решили единогласно, что такого певца никогда не существовало на Луне. Митрофан чрезвычайно удивлялся, что в нем открыли дарование, которого он в себе даже не подозревал, потому что приятели его на Земле всегда упрашивали его замолчать, когда он начинал петь застольные песни, и называли голос его козлиным. Митрофан признавал теперь лунатиков гораздо умнее всех своих земных друзей. Блистательный прием и ласки, которые ему оказывали, возбудили в нем смелость и самоуверенность в своем уме и талантах, и он, слыхав на Земле похвалы только своему повару, наконец решил, что он великий муж, непостижимый на Земле, или, что еще хуже, не признанный великим — из зависти!

— Вот вы, милостивые государи и милостивые государыни, собрались, чтоб провести приятно время, — сказал Митрофан, — чем же вы займетесь?

— Сперва музыкой, потом станем слушать новые произведения наших поэтов, а там попляшем, — сказала хозяйка, — наконец поужинаем — и разойдемся!

— На ужин и на пляски согласен, а читать или слушать музыку — не каждому приятно. Взамен скучного чтения и музыки я вам покажу нашу земную забаву — велите поставить стол на середине комнаты!

Поставили стол, и Митрофан вынул из кармана две колоды карт, растолковал, что такое игра в банк, и предложил заняться этою приятною забавою. Хозяин, по желанию Митрофана, высыпал на стол целый мешок золотой монеты, и Митрофан начал метать. Из любопытства весьма многие из гостей стали понтировать — и вдруг страсть к игре до такой степени овладела всеми, что при столе не было места для понтеров. Счастье чудесно благоприятствовало Митрофану — и он часа в три выиграл около трех пуд золота, в шариках. Карточная игра до такой степени

заняла всех гостей, что они забыли и о музыке, и о чтении, и о танцах, и тогда только перестали играть, когда хозяин попросил гостей к ужину.

За столом главный предмет разговора составляли карты, и все, с величайшим вниманием, слушали, когда Митрофан объяснял разные игры. Почтенный градоначальник также находился в числе гостей, и, хотя он, при допросе Митрофана, и не одобрил карточной игры, но, поиграв в банк, полюбил сам эту забаву и согласился на просьбы женщин, которые просили его велеть на другой же день наделать карт на бумажной фабрике и издать описание правил игры на лунном языке, по словам Митрофана.

Это было первое благодеяние, которое Митрофан оказал лунным жителям за их гостеприимство. Возвращаясь в свое жилище, Митрофан отдал хозяину его деньги, а выигранные всыпал в мешок и взял с собою.

«Начало хорошо, — думал Митрофан, возвращаясь домой со своим приставом. — У меня теперь около ста двадцати тысяч рублей на ассигнации, но счастье глупо и слепо — и в банк играть опасно, как это уже испытал я на Земле. Надобно научить здешних жителей в палки и в преферанс, а пока они постигнут все тонкости игры я воспользуюсь моими познаниями по этой части и приобрету втрое более того, что я промотал на Земле. А если удастся возвратиться — заплачу долги и стану жить припеваючи! Ай да Луна! Жаль одного: что эти добрые созданья не похожи видом на людей, а особенно жаль, что здесь нет наших красавиц и бифштекса! Только это заставляет меня жалеть о Земле, а, впрочем, здесь, право, лучше, и ума здесь более, когда и во мне открыли такие качества, о которых я и сам не знал».

— Да здравствует Луна! — сказал он громко.

— Итак, вам нравится наша планета? — спросил пристав.

— Как нельзя больше... Только жаль!.. Да что тут толковать! Чего нет, о том и тужить нечего!

У дверей квартиры пристав простился с Митрофаном. Усачев с нетерпением ожидал Митрофана и весьма обрадовался, когда увидел мешки с золотом.

— Ну, слава Богу, не станут докучать вашему благородию квартальные, когда воротимся домой, — сказал Усачев. — Есть чем расплатиться с долгами...

— Нет, брат, этого мало! — возразил Митрофан. — Я должен по крайней мере втрое более...

— Ахти! Неужели? Да куда же, ваше благородие, изволили девать такую пропасть денег, уж не утопили ли где на перевозе, или не сгорели ли ваши бумажки?

— Утопил, братец, в шампанском да сжег на картах, — отвечал Митрофан.

— Этакая притча! — возразил Усачев. — А как послушаем стариков про прежних господ, так выходит, что в старину и жирно едали и сладко пивали — а вотчин и отцовских домов не продавали и не закладывали. Сказывают, что в старину бывало...

— Мало ли что бывало, братец, — сказал Митрофан, прервав речь Усачева. — Бывало, и у моего отца на празднике сто человек завтракает, обедает и ужинает трое суток сряду, и все это обходилось менее одного моего обеда человек на шесть, не более! Бывало, на стол подают все свое, домашнее, а пьют пиво, разные квасы да наливочки, а теперь на свое и смотреть стыдно. Помнишь ли ты черепаху, которую я купил с корабля?

— Помню, сударь, — страшная гадина!

— А я заплатил за нее пятьсот рублей — только на один суп!

— Ах ты, прости Господи!

— Да два паштета по пяти сот каждый...

— А что такое паштет, ваше благородие?

— Пирог с начинкой... с гусиной печенкой.

— Да вы за тысячу рублей купили бы двадцать пять кулей крупитчатой муки и целое стадо гусей... стало бы пирогов на целый полк!

— А трюфели... полтора ста рублей за банку.

— Как, сударь... трюхали?

— Это, брат, французские грибы.

— Ужель лучше наших белых грибов... боровиков или рыжиков...

— Признаться — и мне лучше нравятся наши подовые пироги и белые грибы, чем страсбургские паштеты и трюфели, да и телятина и осетрина лучше черепахи, однако ж, уж как зажил барином, так нельзя жить без заморщины... Хоть морщиться — да ешь, хоть жмись — да плати!

— А по мне, кажись, так лучшее барство, когда долгу ни гроша, а на черный день копейка в кармане!

— Твоя правда, служивый, воротимся домой — исправимся! А теперь — пора спать.

Журналист привел к Митрофану, на другое утро, химика, который посредством операции, похожей на дагеротипный процесс, снял портреты с обоих земных странников. Через день портреты приложены были к газете с известием, что Митрофан поет так чудесно, что до его появления в Луне лунные жители не имели понятия о такой мелодии. Все знатные люди в городе спорили и ссорились между собою за очередь к приглашению к себе Митрофана. Женщины были просто от него без ума, и с утра до вечера к Митрофану бегали служанки знатных барынь, то есть кошки и собачонки с любовными записочками.

Через неделю уже во всем городе играли в карты, а франты оделись в платье по образцу Митрофанова фрака и сюртука, старые фанфароны взяли за образец солдатскую шинель и сюртук Усачева. Митрофан и Усачев хохотали во все горло, смотря на лунатиков в шелковых разноцветных фраках и сюртуках, которые стесняли все их движения и мешали им кувыряться, хотя

кувыркание было для них необходимостью, так же как у нас поклоны и снятие шляпы. Перед дверьми Митрофана стояла всегда толпа народа, чтоб взглянуть на чудесного инопланетника.

Каждый день Митрофан обедал в гостях и проводил вечера в больших собраниях, где сперва пел что ему приходило в голову, то русские песни, то отрывки из маршей, вальсов, кадрилей, которые остались у него в памяти, и вечер оканчивал обыкновенно игрою в палки и в преферанс, выигрывая множество золота и драгоценных камней у своих учеников и учениц, потому что женский пол, особенно старухи, еще более пристрастились к картам, нежели мужчины.

Таким образом протекло светлое время, и настала лунная ночь. Журналист повел Митрофана в первые сумерки на обсерваторию и показал ему в телескоп нашу Землю. Она в эту пору обращена была к Луне со стороны Европы, и как Митрофан знал употребление глобуса и несколько помнил очерк твердой Земли нашей части света, то он был в восторге от этого зрелища. Земля представлялась в виде огромного светлого шара, которого диаметр был в тридцать с половиною раз более, нежели диаметр Луны, в то время, когда она видна с Земли в самом большом размере. Моря земные и огромные реки означались темноватою полоскою; верхи наших гор сияли солнечным светом, а долины и противоположные к солнцу стороны гор обозначались тенью. На Земле был день. Митрофан тотчас узнал очерк Балтийского моря с Ботническим и Финским заливами и, указывая журналисту на оконечность последнего и на темную жилку, то есть Неву, воскликнул в восторге:

— Вот откуда я залетел к вам... вот отечество мое, любезная моя Россия! — и залился слезами.

Как хороша казалась ему Земля! Невольно Митрофан задумался и наконец, обратись к журналисту, сказал:

— А вы предполагали, что наша Земля, эта прекрасная планета, необитаема! Подумайте, что в ту минуту, когда мы смотрим на нее и не видим на ней признаков жизни, тысячи людей

рождаются и умирают, тысячи страждут и радуются, тысячи обманываются и тысячи обманывают, тысячи стараются вредить друг другу, и едва один из многих миллионов людей помышляет о том, что есть жизнь над Землею, и верно никто не догадывается, что в Луне теперь играют в банк, в палку и в преферанс, поют русские песни и попивают хорошее винцо!..

Митрофан замолчал. Он чувствовал в себе какое-то высшее чувство и какие-то высшие идеи при воззрении на Землю и помышляя о величии и мудрости творения, но не умел выразить ни ощущений, ни мыслей иначе, как по своим понятиям о жизни. Напротив того, журналист предался высшим помыслам, и все еще веря, что Митрофан из ученых, обратился к нему, думая, что он может разделить с ним мысли его и чувства.

— Если Земля и Луна обитаемы, — сказал между прочим журналист, — и если моя родимая планета населена была жителями, то, вероятно, и все планеты, все звезды и самое Солнце обитаемы. Нет никакого сомнения, что все планеты имеют аналогическое сходство между собою, точно так же, как животные. Так, например, все четверолапые, хотя различаются видом, имеют почти одинаковое внутреннее устройство. Можно ли думать, чтоб эти огромные планеты были немые пустыни и чтоб они, будучи телами, вмещающими в себе жизнь, и сами будучи только частицею общей жизни вселенной, не производили жизни, то есть живых существ! Такое предположение было бы нелепостью! Нет, вся природа есть не что иное, как жизнь, а смерть есть только перерождение. Какого вида и какого рода жители других планет — этого нельзя постигнуть, но вероятно, что они созданы сообразно устройству планеты, на которой живут. Быть может, что жители Солнца замерзли бы при сорока градусах нашей теплоты, и обитатели Сириуса сто градусов нашего холода почитают теплотою! Но верно кажется то только, что жители всех планет имеют свои страсти, свое добро и зло и что везде есть радость и горе.

Митрофан не понял первой половины речи журналиста, но когда журналист коснулся добра и зла, горя и радости, то Митрофан не мог воздержаться и, не дав ему кончить, сказал:

— Довольно странно, если б в Солнце были и горе, и радость, добро и зло, то есть если б в Солнце были, например, подьячие, взяточники, крючкотворцы, фальшивые игроки, лжецы, завистники и весь этот народ, который вечно охотится на беззащитных и беспомощных! Но уж зато если в Солнце есть красавицы, то как они должны горячо любить, и какая пламенная дружба должна там соединять друзей! У нас, например, разорись или попади в несчастье, так и любовь, и дружба тотчас леденеют; а на Солнце верно ничего нет холодного! Мороженого там верно нет, а мадера должна быть чудесная! Если же на Солнце играют в карты, то, верно, ставят огромные куши сгоряча! Только я бы не хотел попасть туда: там, верно, народ ужасно вспыльчивый.

По счастью Митрофана, какие глупости он ни говорил, жители Луны почитали все его умным и верили, что если речи Митрофана кажутся не слишком мудрыми, то это оттого, что лунатики не посвящены в таинства земной учености и не понимают фигурного языка жителя Земли. В этом мнении убеждало лунатиков объявление Митрофана, что он из ученых, и кипа его бумаг, которые он называл своими сочинениями. Так бывает иногда и на Земле, с чужеземцами! Кто чем скажется, тем и слывет, пока, как говорится, не найдет коса на камень.

Полюбовавшись видом Земли, Митрофан вознамерился идти на вечер к одному богатому лунатику, который чрезвычайно пристрастился к преферансу, но на дороге встретил своего пристава, который сказал ему, что он должен немедленно явиться к градоначальнику.

Вошед в комнату градоначальника, Митрофан увидел огромного орла, который сидел на окне и спокойно клевал подсыпанный ему корм.

— Вот курьер, — сказал градоначальник, указывая на орла, — прибывший из столицы с повелением, чтоб вас

немедленно отправить к нашему князю, который любопытствует вас видеть и желает с вами беседовать. Будьте совершенно спокойны! Наш князь добрейшее и благороднейшее существо в мире — и карая преступления противу закона, он тогда только почитает себя счастливым, когда может благодетельствовать и награждать. Он любит науки, словесность и искусство — и я уверен, что он составит ваше счастье, если вы будете вести себя так, как вели здесь. Мне приказано доставить вас в самое скорое время, и я приготовил для вас и для вашего старого солдата наших скороходов... Вот они!

Митрофан выглянул в окно и увидел несколько огромных птиц, вроде наших земных страусов, но с человеческою головою, как все птицы на Луне. На хребте у каждого из этих лунных страусов, назначенных в путь, было покойное седло, вроде наших так называемых вольтеровских кресел.

— Но у меня есть деньги, — сказал Митрофан. — Можно ли их уложить на этих птиц?

— Ваши мешки с золотом уже навьючены на других животных, и при ваших вещах будет находиться старшина. Не опасайтесь: все ваше получите в целости, только несколькими днями позже. Как я боюсь, чтоб вас не задержали при выезде прощаниями ваши друзья, которых вы здесь приобрели такое множество, — то я скрыл от всех ваш отъезд. Садитесь сей же час и поезжайте! Ваш пристав едет с вами, а вот уже он и вышел с вашим служивым!

Облако закрыло в это время светлую Землю, и на улице было довольно темно. Простясь с градоначальником и поблагодарив его за все милости, Митрофан вышел на улицу, взял у Усачева свой сюртук, надел поверх фрака, сел в кресла, прикрепленные на спине страуса подпругами, и, по слову пристава, страусы побежали по улице за городские ворота.

По городу бежали они не слишком скоро, так что хорошая лошадь могла бы сравняться с ними на бегу, в галоп; но когда страусы выбежали за город, в поле, то пустились во всю свою

прыть, расправив крылья. Кресла не мешали птицам действовать крыльями, потому что Митрофан сидел спиной к голове птицы, спустив ноги к хвосту. Страусы бежали без дороги, через поля и леса, перепрыгивая через рвы, переплывая через реки, и только криком давали знать всаднику, чтоб он держался крепче в креслах, когда на дороге случалось какое-нибудь препятствие. Как это было время ночи, продолжающейся на Луне одиннадцать суток, то Митрофан не мог исчислять времени, и закинув полы сюртука на голову, чтоб защищаться от ветра, и привязав себя платками к ручкам кресел, дремал, пока голос пристава не разбудил его. Он открыл глаза и увидел, что страус его остановился перед большим домом при дороге. Митрофан слез со страуса, оглянулся и увидел в нескольких верстах город, над которым сияло чрезвычайно сильное зарево, как будто весь город объят был пламенем.

— Что это значит? — спросил Митрофан.

— Перед нами город, но еще не столица. Прошла половина суток — жители города встали от сна и занимаются своими делами. Вместо солнечного света город освещен искусственными солнцами. Мы увидим это, проезжая через город; я нарочно остановился здесь для отдыха, чтоб любопытство жителей города не беспокоило вас. Это трактир. Не угодно ли перекусить чего-нибудь — сейчас придут свежие скороходы. Градоначальник знает, в которое время мы должны быть здесь, и все приготовил, а я уже отправил к нему собаку с известием, что мы прибыли несколько прежде определенного времени.

Едва успели странники выпить по кружке теплого молока с какою-то душистою травою, прибыл градоначальник с несколькими из высших старшин и в то же время привели из города других страусов. Градоначальник и его чиновники с любопытством и удивлением смотрели на жителей Земли, особенно после того, что напечатано было о Митрофане в газетах. Разговаривать было некогда — итак, после нескольких обоюдных вежливостей, странники отправились в дальнейший путь.

Когда наши странники въехали на страусах в город, на улицах было так светло, как среди дня. Город освещался не фонарями, но огромными огненными шарами на башнях, в виде турецких минаретов. Эти огненные шары издавали свет, похожий на сиянье фосфора. Наверху каждой башни были два горизонтальные колеса, одно над другим, а на колесах укреплены были эти огненные шары, в некотором расстоянии один от другого. Колеса вертелись медленно, каждое в противоположную сторону, и свет разливался ровно на все стороны. Над этим механизмом была крыша на высоких столпах, для защиты освещения от дождя. Митрофан видел эти башни в том городе, в котором жил до сих пор, но как в то время был день, то он не знал, для какого употребления назначены эти башни, и при его отъезде еще не зажигали огней, потому что была земная (то же, что у нас лунная) ночь.

Через город странники промчались быстро, как стрела, и когда выехали в поле, то Митрофан еще более удивился, увидев, что и поля были освещены теми же шарами, укрепленными на жердях, воткнутых в землю, и что при этом свете лунатики и животные работали, как при солнечном свете. Волы сами пахали, без понуждения; лошади бороновали; собаки окапывали лапами какие-то растения, а лунатики только поправляли упряжь и приказывали животным, что надлежало делать, — и вообще работали тогда только, где необходим был механизм пальцев, в котором природа отказала четвероногим.

Новые страусы бежали еще скорее, нежели прежние, потому что ветер был попутный и дул сильно в расправленные крылья и что поля были ровнее. Митрофан, закрыв лицо полами платья, едва мог переносить сильный напор ветра и несколько раз чуть не задохнулся.

На первом привале пристав купил для земных странников легкие щиты, натянутые кожей, в виде тамбурина, чтоб закрываться от ветра. На другую половину суток, когда жители Луны ложились спать, странники прибыли в столицу и остановились в трактире. Митрофан и Усачев так были измучены

этою быстротою езды, что тотчас же легли спать, а старшина пошел с рапортом в палаты князя.

Когда Митрофан проснулся, пристав объявил ему, что он проспал почти половину суток и что хотя князь ждал его к обеду, но не велел будить, а теперь просит в свои палаты, на вечер. Едва Митрофан успел одеться, вошло нему несколько придворных, которые, перекувырнувшись несколько раз с необыкновенною ловкостью, поздравили его с приездом от имени князя и объявили, что они назначены провожать его в палаты.

Перед крыльцом стоял раззолоченный экипаж в виде древней римской колесницы, с балдахином, запряженный двадцатью четырьмя леопардами, взятыми в плен во время последней войны лунатиков с лютыми зверями. Леопарды были взнузданы и смиренно повиновались кошке, заступавшей место кучера. Кошка, будучи одной породы с леопардами, понимала их язык и гневно на них мяукала, когда шли неровно.

Митрофан с Усачевым поехали в колеснице, а лунатики верхом на лошадях, которые, однако ж, не были взнузданы, потому что домашние животные, понимая язык своих господ, повиновались охотно их приказаниям.

Улицы в столице освещены были еще ярче, нежели в провинциальном городе. Толпы любопытных стояли на улицах, по которым проезжал Митрофан, и, зная уже из газет о великих его достоинствах, приветствовали его радостными криками. Часовые у ворот княжеских палат отдали ему честь бердышами, и толпа придворных, вышедшая навстречу на крыльцо, перекувырнувшись по несколько раз, по обычаю Луны, в знак приветствия, ввела Митрофана в огромную залу, которой стены и все мебели обиты были обоями, блестящими как солнце. Эта зала так была освещена, что наши странники не могли перенести сильного блеска и должны были зажмурить глаза и закрыть руками. Заметив это, князь приказал переменить освещение, и посредством механизма в одну секунду во всех лампах свет сделался тусклее.

Когда Митрофан мог открыть глаза, его подвели к князю, который лежал на диване. Он был уже в летах и имел самый скромный и приятный вид. Душевная доброта изображалась в его взгляде. Князь привстал и сказал Митрофану:

— Все, что мне известно об вас, возлагает на меня обязанность быть вашим покровителем и защитником и стараться о том, чтобы пребывание ваше здесь было столь же приятным для вас, сколько полезным для нас. Вы муж высокой земной учености и наделенный от природы редким талантом — вы можете вашими советами споспешествовать благоденствию здешнего края и открыть нам полезные изобретения и установления, которые доставляют жителям Земли спокойствие и благо состояние. На первый случай назначаю вас придворным сановником первого разряда, даю вам помещение в моих палатах, стол, экипаж, прислугу и определяю жалованье по сто тысяч золотых монет в год.

Митрофан так обрадовался этому, что, не зная, как отблагодарить князя, хотел, по обычаю страны, почитая себя его подданным, перекувырнуться, как кувыркался в детстве, играя с деревенскими мальчишками, но перекувырнулся так неловко, что повалился во всю свою длину и чуть не свалил с ног князя, подбив каблуками глаз стоявшему возле придворному и разбив другому нос до крови. Общество, из уважения к князю, удержалось от смеха, но самки невольно закрылись своими плащиками.

— Увольняю вас навсегда, — сказал князь, — от приветствия по нашему обычаю. Приветствуйте по-вашему!

Митрофан трижды низко поклонился, а Усачев, видя это, вытянулся в струнку и громко вскрикнул:

— Здравия желаем, ваше сиятельство!

— Этого старого солдата я поручаю вашему попечению, — сказал князь, обращаясь к Митрофану. — Что же касается до его потребностей, они будут все удовлетворены... А между тем садитесь и спойте нам что-нибудь!

— Очень охотно! — отвечал Митрофан и, обратясь к Усачеву, примолвил: — А что, служивый, затынуть бы нам с тобой вместе какую-нибудь заливчатскую! Ведь ты сказывал мне, что был в полку в песенниках.

— Был запевайкой в первой гренадерской роте, ваше благородие, и хоть спал с голоса, а песни помню.

— А что бы нам спеть вместе?

— Да уж на радости плясовую! — сказал Усачев. — Не знаете ли, ваше благородие, «Во лузях»?

— Помню голос, да слова забыл. Впрочем, это не нужно здесь... Ну-тка, затыгивай!

Усачев пел молодецки, со всеми русскими ухватками, с присвистом, со вскрикиванием, и запел лихо своим фальцетом или фистулой. Митрофан подтягивал, и, когда они кончили песню, общество было приведено еще в больший восторг, нежели в первом городе. Сам князь первый свистнул, в знак своего удовольствия, и в зале раздался такой свист со всех сторон, что у Митрофана в ушах зазвенело.

— А мне не доносили, — сказал князь, — что и старый служивый такой же виртуоз — определяю его в начальники моего придворного хора с жалованьем по двадцати пяти тысяч золотых монет. Скажите это ему!

Когда Митрофан растолковал Усачеву, что он будет начальником песенников и станет получать столько золота, старый солдат остолбенел от радости и удивления и без спросу затынул один: «Как у наших у ворот» — и пустился плясать впрядку. Князь и все общество были в восхищении, и Усачеву удвоено жалованье и дано новое звание: балетмейстера. Потом Митрофан спел сам свои цыганские песни: «Ты не поверишь» и «Вот едет тройка удалая» — и привел всех в умиление. Самки заливались слезами, а князь, сняв с себя цепь, осыпанную драгоценными камнями, с алмазным колокольчиком, надел на шею Митрофана. При этом все бывшие в зале лунатики обоего

пола перекувырнулись трижды перед Митрофаном, поздравляя с высоким знаком отличия.

Через несколько дней из того города, в котором впервые пристал Митрофан, прибыло в столицу более двухсот семейств, особенно старых мужей с молодыми женами, единственно для того, чтоб наслаждаться пением Митрофана и играть с ним в карты. В течение недели Митрофан получил восемьсот любовных писем самого нежного и пламенного содержания. Приехал также и журналист, который, пользуясь благосклонностью Митрофана и по праву первого знакомства, надеялся питать свой журнал любопытными предметами, почерпая их из рассказов земного ученого.

Не прошло месяца, во всей столице играли в карты — во все игры! Жители провинциального города, научившись играть от Митрофана, распространили повсюду эту забаву. Митрофан играл только в княжеских палатах. Он был теперь важное лицо, любимец князя и всегдашний его собеседник. Любопытный князь не мог насытиться рассказами Митрофана о Земле, хотя Митрофан, будучи не в состоянии отвечать правильно на вопросы князя насчет законодательства, администрации, военного дела и политики, выдумывал небывальщину и даже иногда весьма удачно. Недаром говорят: было бы место — будет и разум! Митрофан, занимая важное место при князе, в самом деле чувствовал в себе иногда вдохновение и выдумывал вещи, которые в самом деле были бы хороши, если б были осуществлены. Так, например, разговаривая о взятках и различных пронырствах, которые князь строго наказывал, он спросил однажды у Митрофана, каким образом истребляют это зло на Земле. Митрофан, по вдохновению, отвечал:

— У нас подвергается большому наказанию тот, кто покровительствует плутов и взяточников, нежели самые плуты и взяточники, которые размножаются и усиливаются от оказываемого им покровительства, как черви от гнилости. Наши философы доказали, что честный и благородный человек не может покровительствовать мошенникам, и если бывают случаи, что

такой покровитель зла пользуется репутацией доброго и честного человека, то вернее смерти, что он или пошлый дурак, или лицемер. Дурак из тщеславия покровительствует своих подчиненных, хоть бы они были отъявленные плуты, для того только, чтоб покрывать гниль наружным лаком и заставить верить, будто у них все хорошо и исправно. Но с тех пор, как самое зло стало у нас бить по голове, а не по пальцам, оно начало прятаться, и теперь у нас почти нет взяточников...

С каждым днем князь привязывался к Митрофану, и наконец он стал первым его любимцем. Князь не мог провести дня без того, чтоб не послушать песней Митрофана и Усачева.

Непостижимое влияние человеческого голоса и взгляда на все низшие в природе живущие твари сказывалось в полной силе на лунатиках. Как ни плохо пел Митрофан, но его пенье так приятно действовало на нервы лунных жителей, что они ощущали какое-то невыразимое наслаждение. Напротив того, голос человеческий в разговоре не производил никакого действия. Так точно и на земных животных. Не слова, но крик человеческий и разные модуляции крика производят действие.

Вот разгадка, почему пенье Митрофана производило такой эффект. Это зависело от природы лунатиков, у которых голос был грубый, похожий несколько на медвежий рев и писк обезьяны.

Князь так доверял Митрофану, что, по беспрестанным его убеждениям, решил попробовать рыбы и мяса. Первый обед был тайный, но наконец эта еда так понравилась князю, что он, собрав на совет всех своих философов, законоискусников, жрецов и лекарей, предложил им на решение вопрос о мясоедении, накормив их прежде (по совету Митрофана) хорошенько отличным бифштексом, ростбифом и свежеею рыбою и напоив лучшим своим вином. Ученое сословие, покушав мяса и рыбы в угоду князю и запив хорошим вином, решило единогласно, что поелику на Земле едят мясо с пользою для здоровья и выгодною для народного продовольствия, то и на Луне таковое употребление мяса дозволяется, с тем, что на первый случай воспрещается

питаться мясом домашних слуг, то есть животных, а позволяется употреблять в пищу мясо бродяг, то есть животных, не имеющих хозяев, и зверей, вредных лунатикам.

Это было второе благодеяние (первое карты), которое Митрофан оказал лунатикам за их гостеприимство.

По смыслу двух последних пунктов о дозволении мясоедения, то есть что можно есть только бродяг и зверей, вредных лунатикам, дошло до того, что чужого быка или теленка, переступивших за черту собственности их хозяина, стали почитать бродягами, а рябчиков и диких уток жестокими врагами лунатиков, потому что они могли вредить собственности, питаясь на полях и озерах, имеющих законных хозяев. Законники обрадовались этому случаю и возбуждали к тяжбам. Карты и тяжбы довели множество семейств до нищеты; но чем более зла от этого, тем более играли в карты и тем сильнее объедались мясом.

Третье благодеяние, оказанное Митрофаном лунатикам, состояло в том, что он убедил знатнейших из них одеваться в платье по образцу земных жителей. Все стали подражать любимцу князя и оделись во фраки и в сюртуки. Но как природа, наделив лунатиков шерстью, дала им естественную защиту от перемен атмосферы, то, заменив прежние свои легкие передники и плащики земною одеждою, лунатики подверглись многим болезням, дотоле неизвестным на Луне, и болезни эти приняли самый жестокий характер от изменения пищи, свойственной климату Луны. Смертность чрезвычайно увеличивалась, но чем более заболело и умирало лунатиков от нововведений, тем более они кутались и тем более ели мяса.

Так бывает иногда и на Земле, что моды южных стран на севере и сильно возбуждающая пища, свойственная жарким климатам, сокращая жизнь, вовсе не уменьшают страсти к перениманию вредного. То же можно сказать и об идеях! Примените хорошее турецкое к Англии, а хорошее английское к Турции, хорошее обратится в чепуху! Но кто изъяснит

заблуждения разума? Разумным тварям именно хочется всегда вредного, то есть запрещенного, и мода везде сильнее рассудка.

Расточительность и долги породили в лунатиках страсть к стяжанию богатств, и вообще нововведения Митрофана возбудили хищность. Дошло до войны с соседями. Митрофан при помощи Усачева завел земное устройство в войске. Пушки лунатиков заряжались электричеством, и стреляли из них камнями. Митрофан учредил конную артиллерию, научил войско строиться в каре и колонны, и оно одержало победу над неприятелем и забрало множество домашнего скота и золота, которое обогатило старшин и войско. Слава Митрофана распространилась по всей Луне.

Однако ж Митрофан имел множество неприятелей. Невзирая на похвальные стихи поэтов и панегирики приятеля-журналиста, лунатики, приверженные к старым обычаям, не одобряли мясоедения, земной одежды и войну приписали наущениям Митрофана. Вельможи завидовали милости, оказываемой ему князем, и против Митрофана составил заговор. Журналист уведомил его об этом, и Митрофан струсил. Обладая огромным количеством золота и драгоценных камней, он охотно возвратился бы на Землю, если б имел к тому средства, и, не зная, на что решиться, уже близок был к отчаянью, как вдруг, посредством сокола, получил письмо от Резкина следующего содержания:

«Из газет узнали мы о вашей славе, вашем могуществе и богатстве на Луне, и прибегаем к вам с просьбою о избавлении нас из тяжкого плена. Когда вы с Усачевым пошли в лес, а мы остались при шаре, поднялась буря. Мы пошли в лодку, чтоб тяжестью нашею удержать шар, и вдруг порывом ветра сорвало нас с якоря, и мы помчались вверх. Двое суток ветер носил нас в разные стороны, а на третьи сутки нас бросило на другое полушарие Луны. Мы попали к каким-то белым медведям, пользующимся, однако ж, даром слова, и они, поймав нас, стали допрашивать: кто мы и откуда. Уверения наши, что мы жители Земли, до тех пор не подействовали на белошерстных лунатиков, пока они не узнали из

газет о вашем пребывании у бурых лунатиков. Описания о ваших отличных качествах возбудили в белошерстных лунатиках желание воспользоваться нашими познаниями. Нам назначен был публичный экзамен при стечении более ста тысяч народа. Каждого из нас спросили, что мы знаем. Я начал толковать о философии, Цитатенфрессер привел ссылки на множество древних и новых авторов в пользу сострадания к бедным странникам и о гостеприимстве; Бонвиван объяснял таинства французской кухни, но большинством голосов решено, что мы принадлежим к низшей породе животных. Меня и Цитатенфрессера поставили на конюшню и запрягают каждый день в плуг и борону, а Бонвивана, этого любезного француза, посадили в клетку, как попугая, и взят напоказ по ярмаркам, заставляя его болтать всякий вздор на потеху черни. Вот уже два года, как мы находимся в этом несчастном положении, между тем как вы блаженствуете и наслаждаетесь жизнью. Ради Бога, выкупите нас! Если у вас есть средства, то я сделаю другой шар, и мы попробуем, нельзя ли возвратиться на Землю!»

— Вот те и ученость! — сказал Митрофан Усачеву, прочитав письмо. — Смотри-ка, мои учителя премудрости на конюшне и в клетке, а мы с тобой в палатах! Бедняги — надобно их выручить!

— Видно, перемудрили, ваше благородие, а немцу поделом! — отвечал Усачев.

Митрофан пошел немедленно к князю, рассказав обо всем, и чрез час отправлено было посольство, на страусах, с выкупом и с угрозами начать войну, если белошерстные лунатики не выдадут земных жителей.

Через месяц Резкин, Цитатенфрессер и Бонвиван бросились в объятия Митрофана, когда он вставал с постели.

Резкин и Цитатенфрессер были худы, как скелеты, а Бонвиван толст и жирен, как кабан. Первых кормили, как домашних животных, одними овощами, а Бонвивана откармливали сладостями ярмарочные зрители диковинок.

— Ну что, брат, Готлиб Францович, — сказал Митрофан Цитатенфрессеру, — на что пригодилась тебе чужая премудрость! Вот и ты, и Иван Петрович (Резкин), со своею заморскою ученостью причислены к животным, когда мы с Усачевым, с нашим простым и незатейливым умишком, попали в знать и силу. А что тебя, любезный Бонвиван, произвели в попугаи, извини, это, право, не глупо! И мой покойный дядя называл тебя попугаем!

Цитатенфрессер до такой степени упал духом от тяжелой неволи, что даже не мог вспомнить в ответ ни одной цитаты. Он только примолвил:

— Не мечите бисера... — и замолчал.

Резкин тяжело вздохнул и сказал:

— Ученость, мудрость... плохой товар! Они только тогда хороши, когда их спрашивают, а где они не нужны, то хуже лихорадки!

— Проклятые лунатики! — сказал Бонвиван. — Пусть бы я был у них попугаем, когда б только давали волю и платили, а то держать в клетке... варвары!

— Утешьтесь, друзья, здесь вы отдохнете и поправитесь! Я ввел здесь даже мясоедение!

Несчастные были вне себя от радости.

На другой день Митрофан, одев в новое платье своих товарищей, представил их князю. Но они ему не понравились. Ответов Цитатенфрессера, который, желая блеснуть ученостью, говорил все ссылками на авторов, князь не понимал, не зная этих авторов. Резкин показался ему скучным педантом, а Бонвивана князь назначил главным своим поваром, по совету Митрофана. Всем им отведена квартира в палатах князя и определено умеренное содержание, из уважения к Митрофану.

Когда Резкин отдохнул и поправился в силах, он начал немедленно делать шар, с позволения князя и на его счет. Митрофан, пользуясь неограниченною доверенностью князя,

уверил его, что посредством воздухоплавания он может покорить всю Луну и наложить дань на всех ее жителей.

Для постройки лодки и шара употреблено в дело более тысячи лунатиков и огромное количество материалов. Лодка была величиною с небольшую яхту и шар необыкновенной величины, более двух стопушечных кораблей. Резкин придумал механизм к управлению шаром, посредством парусов по бортам лодки.

Назначен день испытания. В то время, когда лунатики ложились спать, наши странники переносили тайно сокровища Митрофана в лодку, съестные припасы и оружие и наконец, когда все было готово, Митрофан и товарищи его сели в лодку при стечении всех жителей столицы. Поклонясь князю, Митрофан велел отрубить канаты. Шар быстро поднялся, при радостных восклицаниях народа и к величайшему удовольствию князя, и, взвиваясь в высоту, вскоре исчез из вида. Хотя это было во время лунного дня и на небе не было облаков, но князь напрасно старался в телескоп отыскать шар в поднебесье. Необыкновенная сила шара влекла шар вверх, и Резкин, зная уже по опыту, что шар должен перевернуться, вышел из лунной атмосферы и коснувшись земной, приготовил к этому товарищей и ждал нетерпеливо этого переворота. Наконец он наступил, и Резкин, бросаясь на колени, воскликнул:

— Благодарение Богу: теперь мы спасены!

Через четверо суток показалась Земля, сперва как светлая точка, потом как черное пятно, а наконец... как голубое яичко.

— Ура! — закричали воздухоплаватели.

— Усачев, подавай вина! — воскликнул Митрофан.

Автор сидел вечером в своем кабинете и хотел было пересмотреть некоторые русские журналы... Тоска пала на сердце. Он закурил трубку и прислонился к спинке кресел... Кто это?.. Входит слуга.

— Вот уже третий раз приходит к вам какой-то господин и желает вас видеть, — говорит он.

— Да что ж ты непустишь?

— Я входил два раза, да не посмел будить вас; вы, кажется, дремали.

— Пустое, я не спал и не дремал, а сидел с полужакрытыми глазами.

— Не знаю-с, а кажется, изволили дремать!

— Думал, братец, или, правильнее сказать, не спал и не думал, а бредил наяву... Мне мерещилось, будто я был в Луне и видел там много всякой всячины, а между прочим и приятеля моего Митрофана Простакова с его свитой.

— Так вы верно изволили вздремнуть!

— Право, нет, смотри: и трубка не погасла!

— Да как же наяву бредить такие небылицы?

— Это, братец, то же, что:

Не любо — не слушай, а лгать не мешай!

Письмо жителя кометы Белы к жителю Земли.

Носясь в высотах эфира, мы, жители комет, одарены чувствами, имеющими необыкновенную и непостижимую для вас силу. С помощью зрительных и слуховых труб мы видим и слышим все, что делается и говорится на других планетах и кометах. Насмешили вы нас довольно, жители Земли, своим страхом и опасением на счет нашей кометы! Вы гордитесь своим просвещением и ученостью, а не имеете столько здравого рассудка и столько веры в промысл Всевышнего, чтоб быть убежденными в премудрости и ненарушимости законов вселенной, по которым все небесные тела движутся и, так сказать, живут жизнью частною, и жизнью общеою, вмещая в себе и развивая согласие, благоустройство и взаимную зависимость или любовь, спаявающую воедино все творения Предвечного Строителя. — Как бы хорошо было, если б люди подражали этому! Но им даны разум и воля, и сими-то орудиями они беспрерывно сражаются с Природою и здравым рассудком, для разрушения общего согласия и собственного счастья. Каким образом пришло вам в голову, любезные сыны Земли, чтоб наша комета, подобно какому-нибудь завоевателю, осмелилась свернуть с своего пути, и разбила вашу Землю? Вы судите по себе обо всем, даже о небесных телах! Гордость, достойная толчка кометы! Но, любезные детища матери сырой Земли, знайте, что законов тяготения (gravitation) нельзя так легко нарушить, как вы нарушаете законы нравственности, и что комете нет ни малейшей пользы от чужой собственности, до которой у вас, на Земле, так много охотников. Наша комета столь же самодовольна, как ваши городские красавицы, хотя и не так завистлива, как ваши женушки, тетушки и бабушки. Гордясь своим длинным хвостом и своими пламенными локонами, наша

комета спокойно расхаживает вокруг солнцев, и смотрится в них, как в зеркала, не обращая даже внимания на вашу Землю, окруженную туманною атмосферою. А вам мерещатся, что наша комета для вас именно и появилась в вашей солнечной системе! Смешны вы, любезные мои собратья в творении, смешны вы со своею гордостью!

Сидя на обсерватории, в нашей комете, я смотрел в телескоп на вашу Землю, и не мог удержаться от смеха, слыша, как ты рассуждал о комете, вечером 9-го Октября, когда ваш Астроном открыл ее в созвездии Рака. Ты ссылался на открытия и наблюдения ваших Ученых, и притом говорил такой вздор, о возможности столкновения, что у меня уши завяли. Довольно на земле столкновений противоположных выгод и взаимных глупостей и без столкновения с нашими глупостями! Поверь мне, что нашей комете право не из чего пришлось бы бунтовать против непреложных законов, чтоб иметь удовольствие разбить себе бока о ваши гранитные скалы! — Чем бы мы от вас позаимствовались? Ваша чума, холера, желтая горячка, вовсе не приманчивы, а еще несноснее — Ваша политическая зараза, которая производит глупейший бред о равенстве, и направляет когти на чужой карман. Скажи мне, по совести, много ли вы можете уделить нам с Земли прямых судей, которые бы судили без оглядки на лица, и не прельщались прекрасною гравировкой государственных ассигнаций? Много ли можете уступить нам Ученых, которые бы более гордились своими познаниями, нежели чинами, думали более о Науке, нежели о личных выгодах, происходящих от Науки? — Много ли вы можете дать нам помещиков, которые бы помышляли о благоустройстве имения и прочном от него доходе, а не выжимали из него соку на уплату карт, вина и банковых процентов? Много ли вы можете уступить нам Бояр (хотя на подержание, ибо в сем имеем мы крайнюю нужду), которые бы не

дремали на своих курульских креслах, и благо отечества предпочитали благосостоянию своего семейства? Много ли вы можете уделить нам купцов, которые бы не почитали плутовства синонимом смышлѣности, и брали барышей сколько *должно*, а ни сколько *можно*? — Сколько дадите вы нам. Журналистов, которые бы старались угождать публике и служить пользам отечества, а не своим мелким страстишкам и не своим приятелям, и покровителям, вопреки правде и здравому смыслу? — Много ли дадите нам Поэтов не льстецов, и прозаиков не пустых болтунов? Мы имеем крайнюю нужду в попечительных матерях, в молодых женах не кокетках и не мотовках, и в девицах, которые знали бы несколько более пляски, мод и какого-нибудь иностранного языка. Скажи, много ли отпустите к нам из сих милых созданий? — Между нашим юношеством чрезвычайно много фанфаронов всякого рода и наименования: фанфаронов учености, фанфаронов службы и даже фанфаронов разврата. Много ли дадите нам юношей, которые бы искали повышения в службе собственными заслугами, а не связями родственными; которые бы гордились не блистательным рождением, но блистательною жизнью; которые бы поставляли любовь к отечеству в познании его и в самоотвержении к пользам его, а не бегали с лорнетками по улицам без цели, и не заглушали голоса рассудка в обществах своим болтовством? — Кажется, мне, что вы не весьма богаты тем, в чем мы нуждаемся, и что одна гордость ваша, умножаемая на невежество, заставляет вас почитать себя столь важными существами, что даже комета занимается вами! Займитесь лучше сами собою, малые друзья, и если вы так трусливы, что боитесь тяжести и столкновения кометы, то я скажу тебе, по дружбе, что слеза несчастного гораздо тяжелее кометы на весах небесного правосудия, и что столкновение *совести с Верою* гораздо опаснее столкновения кометы с землею. Я бы желал уделить вам тепла от

хвоста нашей кометы, чтоб оно согрело ваши сердца, к довело до зрелости семя любви к человечеству, заглушив плевели эгоизма. Хотел бы я, чтоб страх, возбужденный в вас появлением на небе нашей кометы, заставил вас помыслить о вечности миров к о тленности человеческой жизни, и чтоб вы убедились, что кратковременная жизнь и неверные её блага право не стоят того, чтоб человек угнетал и обманывал своего собрата, чтобы душил талант в другом, в угождение своему завистливому невежеству, и чтоб лишал ближнего куска хлеба, для того, чтоб самому есть хлеб с маслом. Но уже вихрь, который свистит над моею головою, отделяется от нашей светлой атмосферы, и хочет лететь к вам, чтоб побуяннить на вашей Земле, потопить несколько кораблей е контрабандою, к сорвать несколько крыш с домов, для устрашения пьяниц, игроков и взяточников. Пользуюсь сим случаем, и посылаю к тебе сие письмо, которое ты получишь через трубу твоего камина. Прощай! не бойся ни комет, ни планет, а бойся своей совести, избегай злых людей, которые свернув с прямого пути, беспрестанно ищут столкновения с чужими карманами или с чужою доброю славою, поменьше ври, сиди тихо, не шевелись в своём уголке, как неподвижная звезда в созвездии Рака, и смотри не на небо, а под ноги себе: тогда проживешь свой век спокойно, а когда кончишь жизнь, милости просим к нам. Тогда увидишь, как ты был глуп, ценя высоко на земле вещи, которые над землею не стоят медного гроша.

*Рак Козерогович Тельцов,
Титулярный Советник кометы Белы.*

Письмо жительницы кометы Белы к тому же самому жителю Земли.

По письму моего мужа, вы верно станете заключать дурно о жителях нашей кометы, и потому спешу вывести вас из заблуждения. Вы должны знать, что муж мой принадлежит к сословию Ученых и Литераторов, и потому он брюзга и несносен, с своею моралью и своим кометолюбием. Но у нас есть также любезные светские люди, которым бы чрезвычайно хотелось столкнуться с вашею прелестною Землею. Особенно мы, женщины, сгораем от нетерпения познакомиться с милыми инопланетниками, ибо мы вообще чрезвычайно любим иностранцев, и для поддержания древнего нашего гостеприимства, даже всякого иностранного шушеру предпочитаем своему сокометнику. Смотря на вашу Землю, в телескоп моего мужа брюзги, и бы хотела спрыгнуть и вам, в ваши модные магазины, хоть бы для того только, чтобы примерить прелестные тряпки, которые выставляемы в окнах! Как это мило! как должно быть мне и лицу! Ах, зачем я не родилась на Земле! Ваша планета верно тот рай, о котором нам толкуют. Как у вас все прекрасно, как великолепно! У нас деревни не отличишь от города. Везде та же чистота, тот же вид довольства, и город разится от деревни только многочисленностью, помещением присутственных мест и другого рода занятиями жителей. А у вас, то ли дело! В городах чертоги, а в деревнях конуры, и последний городской пьяница кажется барином перед поселянином; у вас в городах только нет птичьего молока, а в деревнях, хоть умирай, не достанешь на гривну ревеня или кремортартари. Так и быть должно! У нас богачи истрачивают деньги на усовершенствование хлебопашества, на устройство фабрик в своих имениях, на поддержание деревенских строений, а все это так скучно, так

единообразно и вовсе не привлекательно. А у вас, напротив того, богатый барин не думает вовсе о своих деревнях; он заботится только об исправном сборе оброка, но зато сколько вкуса и какую сильную любовь к изящному выказывает он на своей пригородной даче, где собраны представители растительного царства всех климатов, и где все Искусства соперничают в усердии, чтоб принарядить неряху Природу, которая в наготе своей нравится только одним нашим Поэтам и Словесникам. Скажете, какой человек со вкусом и с воспитанием не согласится, что гораздо приятнее, чтоб гнили и разваливались строения в вотчине, а городская дача красовалась, как звезда на туманном небе? Но у нас этого, по несчастью, нельзя сделать, ибо у нас есть грозное чудовище, называемое *общее мнение*, которое растерзало бы дерзкого, если б он осмелился противиться ему, если б оставлял в небрежении свои вотчины, и, на удобренных потом грядках, выращивал заморские травы на своей пригородной даче. Это грозное чудовище, *общее мнение* еще ужаснее для нас, бедных женщин, нежели для мужчин! Увы! Мы здесь не смеем рыскать целое утро по магазинам, и забирать в долг все, что нам ненужно, но что нравится, а должны сидеть дома, смотреть за хозяйством и за уроками детей, которых мы должны непременно сами воспитывать до известного возраста. Мы не смеем закладывать в Банк именья, получаемого нами в приданое, на уплату счетов из модных магазинов, и, что всего несноснее, мы должны любить, утомительною любовью, мужей наших от свадьбы до гробовой доски, не прельщаясь ни милыми усиками, ни щегольскою талией, ни ловкостью наших рыцарей, которые у нас обворожительны на балах, где наши мудрецы, а в том числе и мой муженек, в сравнении с ними то же, что книга в сравнении с зеркалом. — У вас женщина, з высшем кругу, есть какое-то особенное существо, превыше всего земного, род идола, которому все служат и все

поклоняются. — А у нас! У нас, и женщина говорит глупо, то никто не станет её слушать, а если она и глупа, и дурна собою, то хотя бы муж ее кормил всех досыта и раздавал доходные места, никто не скажет ей льстивого приветствия, и не будет клеветать перед ней, в угождение, на её соперниц. — У нас женщина не смеет мешаться ни в какие интриги, ни выпрашивать мест для своей родни и своих льстецов, ни наговаривать на людей, не любимых её льстецами, ни совращать судей с пути правосудия, ни лгать и даже рисковать честью мужа, для свержения с места человека, непричастного духу партий, разделяющих ваше, общество, по числу честолюбивых фамилий, ищущих возвышения. Ум в нас хотя и ценится высоко, но для действия назначены пределы, а смазливое личико не заставит никого сделать несправедливость. После этого, как же нам не завидовать вашим женщинам, которые у вас, на земле, делают все, только что не бьют в барабан и не лезят по мачтам, и грозного нашего чудовища, *общего мнения*, столько же боятся, как полугодового козленка! — Вы, земные жители, не можете представить себе, какое мучение для нас, жительниц комет, обязанность говорить всегда нашим родным кометным языком с нашими сокометниками, читать книги, писанные нашим языком, и заниматься сверх хозяйства Литературою и даже отечественною Историей и Статистикой! — Наши мужчины так взыскательны и столь грубы, что назвали бы попросту дураю даже даму высшего разряда, если б она не знала в точности той провинции, где находится её имение, и не помнила всех блистательных подвигов своих соотчичей, от начала до конца. От этого наши общества чрезвычайно скучны, и все мое наслаждение в жизни состоит в том, что я прислушиваюсь в слуховую трубу моего мужа к сплетням ваших женщин, и их бесконечным и премилым толкам о нарядах. - Правда, что этот порядок дел уже, слишком надоел нам, женщинам и молодым

людям нашего высшего общества, но мы не смеем предпринять ничего из опасения вышеупомянутого чудовища, а только внутренне желаем, чтоб комета наша столкнулась с какою-нибудь планетою, особенно с вашей Землею, и чтоб мы, перемешавшись с вами, могли принять ваши обычаи. И так, не верьте похвалам мужа моего нашей комете! Она мала, туманна, ленива на ходу, а жители её слишком *аккуратны*. Вам же известно, что для весёлой жизни нет ничего вреднее педантов нравственности, которые требуют, чтоб *полезное* предпочитали *приятному*, уверяя, что от этого предпочтения они соединятся. — Прощайте, пожалейте об нас, и ради Бога изорвите это письмо, посылаемое вам на радужном луче. Боюсь, чтоб оно не дошло до сведения моего мужа, который за это готов не купить мне обнов к Новому году. Ваша покорная слуга *Водолея Тельцова*.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ СТЯПЧИЕ.

Кума моей бабушки рассказывала ей, что она слыхала от своей тётушки чудо чудное, диво дивное, которое в тогдашнее непросвещенное время почиталось волшебством, а в наш век изобретений и усовершенствований, без сомнения, припишется магнетизму, ясновидению, какой-нибудь паровой машине, увеселительной Физике Робертсона или просто фокус-покусу. Отец тётушки, кумы моей бабушки, был судьёю или каким-то чиновником, в отдалённом от столицы наместничестве. Однажды, когда он сидел над бумагами, с пером за ухом и очками на носу, дочь его, бывшая тогда молодою девицею, вышивала шелком белый атласный камзол для своего папеньки, сидя под окном за перегородкою. Зная, что в комнате отца её нет никого чужого, она крайне изумилась, услышав там несколько голосов. По сродному женщинам любопытству, она заглянула в щель перегородки, и увидела, к величайшему своему удивлению, что отец её с необыкновенным вниманием прислушивается к речам неодушевлённых предметов, лежащих на столе возле его бумаг. Я перескажу этот разговор точно так, как слышал его от кумы моей бабушки.

Золотые часы с репетицією. „Рассмотрите меня хорошенько: я родом из Парижа и вывезен одним богатым Графом, который, промотавшись, продал меня по самой крайней нужде. Меня заводят только раз в неделю, и не взирая на это, я показываю месяцы, дни, часы, минуты и секунды с величайшею точностью. Я буду служить вам, вернее всякого Швейцара, буду указывать время, когда должно идти к должности, когда на званые обеды к просителям, когда кончат карточную игру и ложиться отдыхать после дневных трудов. Даже впотьмах, когда служба других часов бесполезна, я буду трезвонить вам по одному притиску пружинки. Посмотрите, какая прекрасная живопись па финифти! Эта женщина с завязанными глазами представляет *Фемиду*, играющую в жмурки. *Плутус* дразнит ее, забавляясь

нарушением равновесия её весов, а *Пристрастие*, в виде *Купидона*, разъезжает верхом на её мече. Не правда ли, что картина прекрасная? Сверх того, кругом в два ряда бриллианты и цепочка полновесная червонного золота. Возьмите меня, пожалуйста! Я опасаюсь, чтобы, в продолжение процесса моего нынешнего хозяина, я не попал в заклад к какому-нибудь жиду, где должен буду томиться без ходу, в тесном сундуке. Что же касается до дела моего хозяина, то оно хотя и не весьма правое, сказать по совести, но... вы знаете, что никто не отвечает за свое крайнее разумение, и от вас зависит дать такой толк, какой вам будет угодно. Где не достанет законов, можно сослаться на примеры и....

Золотая табакерка. Не слушайте хвастуна и соблазнителя! Посмотрите на меня: я также украшена бриллиантами, фи нефтью и живописью. Картинка моя гораздо замысловатее: она представляет Юпитера, превращающегося в золотой дождь, который доставляет изобилие тем, что не жнут и не сеют, а хлеб собирают. Раскройте меня, и вы увидите подлинное изображение этого дождя, в виде сотни полновесных червонцев. Не правда ли, что это мило до крайности? К тому ж, как приятно, играя в карты, положить такую прекрасную табакерку на столе, или поподчивать из нее табаком богатого просителя: это служит, некоторым образом, указателем, как должно обходиться с властителем такой табакерки, и доказывает, что он не в такой нужде, чтобы довольствовался безделицами. Напротив того, часы, заключенные в кармане, не могут быть часто представлены на вид, без нарушения приличий, да и самое их достоинство более зависит от внутреннего устройства, нежели от наружного богатства, а в случае расстройства механизма, по недостатку хороших мастеров для починки, вы принуждены будете бросить их, или продать за бесценок. При сем честь имею доложить, что властитель мой имеет связи, в родстве с людьми значительными, богат и может быть вам полезен во многих случаях. Дело его конечно плоховато, но не в этом сила: ведь судят люди, а не печатные книги. Пожалуйста возьмите меня!

Кожаный мешок. Перестаньте, пустомели! А вы, милостивый государь, не прельщайтесь безделушками, которых достоинство есть только относительное. Сущность всего движущегося в мире заключается в моей внутренности: это ключ, которым заводится машина света. Я вмещаю в себе тысячи наслаждений, которые разродятся от меня по вашему желанию, подобно плодам из одного зёрнышка. *Вес* мой доставит вам *вес* в свете; *блеск* моей внутренности сделает вас *блестящим*; премудрое изобретение металлических кружков, которые заменили всеобщий язык, и звоном понятны каждому, сделает вас самих умником. О деле властителя моего я говорить не хочу: доказательства его правоты вы читаете на монетах! Угодно ли взять меня? “

Тётушка кумы моей бабушки рассказывала, что, когда этот разговор кончился, отец её свесил все три вещи, и оказалось, что кожаный мешок перетянул. Не взирая на это, и табакерка и часы остались при нем; и, хотя при каждом биении часов и при каждой щепотке табаку, они упрекали его в несправедливости, но кожаный мешок утешал и ободрял его. Но как конец венчает дело, то вы, любезные читатели, не завидуете участи отца тётушки кумы моей бабушки. Меч правосудия коснулся его, и мешок истощился, табакерка и часы перешли в другие руки, и он сам кончил жизнь в бедности и презрении, именно за то, что имел частые сношение с неодушевлёнными стряпчими.

Сцена
из частной жизни, в 2028 году,
от Рожд. Христова

Действие в Петербурге, в доме вельможи, на набережной Выборгской стороны, 21 Января.

Обширная зала — вокруг стен стоят шкафы с книгами — в амбразурах окон стол с косыми журналами, газетами, книгами, эстампами. Дамы и мужчины прохаживаются по зале — некоторые из гостей сидят возле столиков и читают, другие разговаривают. Хозяин, вельможа сидит в креслах возле камина, окруженный гостями. Вдали ряд освещённых комнат и слышны звуки музыки.

Вельможа. Я сегодня чрезвычайно много ходил пешком. Выйдя из дому, я прямехонько по Выборгской набережной дошёл до Охтинской парадной площади и оттуда перешёл через Неву по висячему чугунному мосту к Смоленному гостиному двору, и, наконец, отдохнул в книжных магазинах.

Поэт. Правда, путь не близкий, но по гранитной набережной так легко ходить, как по паркету, к тому же в чугунных беседках можно присесть, отдохнуть, а в случае нужды укрыться от непогоды. Только я не люблю прогуливаться между чертогами Выборгской стороны, Охты и Смоленской части: в этих местах слишком шумно, многолюдно, великолепно. Любимая моя прогулка зимою и летом в городском саду, в Парголовском предместье, между горами и оврагами. Я на время забываюсь, что нахожусь в столице, и воображение мое отдыхает, освежается.

Вельможа. Но Парголовский городской сад от меня слишком далеко и туда надобно ехать, а у меня по несчастью мало времени на прогулки. Я пользуюсь досугами, чтоб обегать

книжные магазины, мастерские художников, запастись новым, поискать старого. Вот, например, я третьего дня нашёл на толкучем рынке старье, пять старопечатных книжонок под заглавием: «Сочинения Ф. Булгарина». Знаете ли вы имя этого сочинителя?

Поэт. От роду в первый раз слышу.

Вельможа. Книги печатаны ровно за двести лет тому назад, в 1827 и 1828 годах.

Библиограф. Это весьма любопытно: нельзя ли посмотреть? В старину печатали весьма малое число экземпляров, и от того книги XVIII-го и XIX-го столетий ныне весьма редки. Ныне другое дело. (*Обращаясь к поэту*). Например, сколько у вас купили новой вашей поэмы: «Наваринское сражение»?

Поэт. Около 50 000 экземпляров. Но разве это много в государстве, где около ста миллионов просвещённых жителей?

Антикварий. Но в XIX столетии в России было около пятидесяти миллионов жителей, а едва было несколько примеров, чтоб книги куплено было даже 3000 экземпляров. И об этом кричали как о чуде! — Другие времена, другие нравы. (*Вельможе*). Но покажите же нам свое старье.

Вельможа. (*обращаясь к своему сыну, мальчику лет двенадцати*). Принеси мне из маленького моего кабинета старые книжонки, которые лежат на столике. (*Гостям*). Я имел терпенье прочесть эти книги. Разумеется, что слог и язык устарели, формы и периоды обветшали, но я принудил себя, вытерпел до конца, и нашёл кое-что занимательное, например, описания *нравов*.

Журналист. Нравы XIX века — это любопытно во всяком отношении, если только автор списывал с натуры.

Вельможа. Кажется, так: заимствовать было не откуда, потому что предметы все отечественные.

Журналист. Вы позволите мне этих книг на насколько дней?

Вельможа. С удовольствием. Но вот и они.

Молодая дама. (Берёт одну книжку). Вот еще и картинки! Это что? Портрет автора.

Другая дама. Покажите. (Книжки переходят из рук в руки.)

Молодая дама. Какой странный наряд! Узкое полукафтанье, с откидным воротником, какой-то плотный камзолчик! Это надобно срисовать для маскарада. Но вот и другие картинки: изрядно, очень изрядно для своего времени.

Поэт. Какие странные буквы! Трудно отличить *ш* от *т*. Только по смыслу надобно догадываться. Ударений нет, и даже нет вовсе буквы для выражения звука между *х* и *г*. Обрисовка букв негодная: почти все одни толстые чёрточки — нет округлости, нет изменения в очертках.

Вельможа. Это был первый шаг к совершенствованию типографского искусства и каллиграфии.

Журналист. Есть ли что порядочного в этих книжонках?

Вельможа. Сочинитель, кажется, любил говорить правду, любил пофилософствовать, но видно, что он или не хотел, или не мог всего высказать, что у него было на уме и на сердце. Он часто только намекает на правду и как будто заикается. Впрочем, некоторые странности, предрассудки и злоупотребления своего времени он описал довольно резко. (*Обращаясь к судье*). Автор особенно вооружался против вашего сословия, и жестоко нападал на невежество и взятки.

Судья. Теперь ему не достало бы материалов по этой части. Вся Европа признаёт, что нигде правосудие не достигло до такой степени совершенства, как в России. Может ли быть иначе, когда у нас каждый, посвящая себя судейскому званию, должен быть доктором прав, дать экзамен, представить поручительство от целого уезда в беспорочном поведении, и когда наконец, общее мнение сторожишь за каждым его поступком. Я думаю, господа, что вы не слыхали о взятках, и что это слово известно вам только из словаря, или из старых романов и драм.

Помещик. Об этом нет спора.

Журналист. Тем любопытнее видеть теперь, что делалось за двести лет тому назад.

Вельможа. Но в этих книжонках много такого, что теперь покажется непонятным для нас. Вообразите себе, что г-н сочинитель весьма серьёзно гневается за то, что образованные и воспитанные люди в его время, знатные и богатые, а особенно дамы, не только не хотели говорить между собою по-русски, но почитали даже грубостью и невежеством, если в обществах русских говорили отечественным языком.

Молодая дама. Ха, ха, ха! Как это можно, что б русские не хотели говорить по-русски?!

Придворный. Это, верно, пошлые шуточки XIX века!

Вельможа. Уверяю вас, честью, что автор вовсе не выдумывает, и что это было в самом деле.

Придворный. Помилуйте, что за странность! Как можно говорить иначе, как не на отечественном языке! Это обидно для народного самолюбия, и я лучше бы согласился родиться немцем, нежели говорить в России не по-русски. Язык неотъемлемая собственность народа, как вера и история — кто осмелится прикасаться к этим священным предметам?!

Вельможа. Послушайте моего сочинителя: он вам скажет, что в его время знатные и богатые россияне по выбирали воспитание своих детей чужеземцев, которые приезжали в Россию толпами для образования юношества по своим образцам.

Пожилая дама. Боже мои, какой ужас! Возможно ли, чтобы родители согласились доверить детей чужеземцу? Если б он был ангел, а не человек, то и тогда бы не мог из своего питомца сделать русского, и поневоле сделал бы из него чужеземца для России. Как может иностранец внушить юноше любовь ко всему отечественному, к вере, к престолу, к народным обычаям, одним словом, к матушке России?

Придворный. Без сомнения, нет, и я дорого бы заплатил, чтоб увидеть русского на чужеземную статью.

Вельможа. От того-то сочинитель жалуется, что богатые и знатные юноши в его время, в семнадцать лет от роду, ничему не учась, почитали себя мудрецами, не умели правильно изъясняться по-русски, за честь себе поставляли казаться чужеземцами, и своим высокомерием были несносны порядочным людям. Другие, бросаясь стремглав на литературное поприще без предварительного учения, бредили о философии и о науках несносный вздор и судили о словесности наперекор здравому смыслу. Все это было от того, что юношей рано выпускали в свет из родительского дома.

Помещик. Но разве не каждый дворянин был обязан учиться в университете или в другом казённом учебном заведении?

Вельможа. Видно, что не каждый.

Помещик. Опять странность. Как можно дома обучить тому, что преподается на публичных курсах первыми учеными в государстве? Как можно, чтоб дворянин, которому открыты все пути к занятию первых степеней в государстве, не старался быть просвещеннее, учёнее всякого другого согражданина.

Вельможа. Сочинитель жалуется, что покровительством тётушек и дядюшек юноши достигали гораздо выше, нежели ученостью и примерным поведением.

Двенадцатилетний сын вельможи. Благодарю покорно! Я ни за что бы не хотел, чтобы меня перевели в другой класс не по моим познаниям, а по просьбе папеньки. Я был бы в хлопотах, находясь с мальчиками, которые более меня знают, я не мог бы следовать за ними в успехах и был бы последний.

Вельможа. Об этом также говоришь мой сочинитель. Он описывает людей, занимавших места не по заслугам и достоинствам, как овец на привязи. Каждый секретарь, каждый подьячий вертел таким человеком, как пешкою.

Судья. Иначе и быть не может.

Молодая дама. А что ж говорит ваш сочинитель о женщинах?

Вельможа. Он говорить, что наши прабабушки любили слишком наряжаться.

Молодая дама. Это не беда.

Вельможа. Беда та, что знатные и богатые дамы ничего более не делали, как разъезжали целое утро по модным магазинам и брали в долг модные тряпки, за которые бедные мужья должны были платить, занимая деньги под залог имения, что эти дамы не занимались хозяйством, поверяли детей и даже дочерей на руки наемников и наёмниц, и более думали о своих чепцах и шляпках, нежели о головах и сердцах своих детей. Сочинитель жестоко вопиет, что дамы не хотели и даже не умели читать и писать по-русски...

Молодая дама. Полноте, полноте, это ужасно. Я не верю вашему сочинителю.

Вельможа. И я вам не ручаюсь за правду, но говорю, что написано.

Придворный. Если б в наше время девица знатной фамилии не знала совершенно своего языка, не умела распоряжаться домом, и не знала отечественной истории и словесности, так же хорошо, как женских рукоделий, то я уверен, что она не нашла бы себе мужа, хотя б имела в приданое биллион имперялов. Всякий честный человек отказался бы от руки и от денег ради стыда!

Молодая и пожилая дамы вместе. Без сомнения!

Журналист. Нет ли чего там и для нашей братии?

Вельможа. И очень много. Автор говорит, что в его время многие журналисты брались в обозрениях словесности судить о своих собратях, и руководствуясь личностями, старались унижать их неоспоримые достоинства резкими, безграмотными приговорами...

Судья (прерывая). Но это противно законам: никто не может быть судьёй в своём деле, не зная его совершенно.

Вельможа. Автор жалуется, что во многих журналах пристрастие доходило до такой степени, что если лучшую книгу

похвалили в одном журнале, то в другом нарочно бранили ее, из одной ненависти к сопернику журналисту. Сочинитель более всего негодует на то, что некоторые журналисты позволяли мальчишкам и школьникам печатать в своих листках безграмотные суждения и злобные приговоры о произведениях людей, заслуживших уважаете публики. Наконец, он говорит, что в его время весьма мало было хороших журналов.

Журналист. Иначе и быть не могло, если наши братья позволяли школьникам умничать в своих листках, и если (что во сто крат хуже) мальчики брались за ремесло журналиста, требующее опытности, и — смело сказать, добросовестности...

Вельможа. Не стыдитесь досказать: и познаний.

Придворный. Но если ваш сочинитель вооружался против всех злоупотреблений, а особенно против безграмотных юношей, то, верно, его ужасно бранили в журналах.

Библиограф. Без всякого сомнения: это участь каждого критика, каждого комического и сатирического писателя.

Молодая дама. Мне жаль этого бедного сочинителя! Но нельзя ли узнать, как он, бедняжка, воевал на литературном поприще?

Антикварий. Порывшись в книгах, конечно, можно все найти, но наизусть кто вспомнить эти дразги?

Библиограф. Это весьма легко отыскать в биографическом Словаре Русской Словесности. (*Подходит к шкафу и, оборачиваясь к вельможе, говорит*). Как бишь называется ваш сочинитель?

Вельможа. Ф. Булгарин.

Библиограф. Вот литера Б. Ну, слава Богу, нашёл. (*Смотря в книгу, говорит*). Но он сам издавал журнал. Этот сочинитель даже сильно критиковала безграмотных сочинителей своего века, а особенно дурных стихоплётов. За то доставалось и ему. Тут именно сказано, что лишь только его «Сочинения» вышли в свет,

то на них накинута неучи-критики, как вороны на спящего ястреба, и обругали не на живот, а на смерть!

Молодая дама. А он, бедняжка, что же делал? Верно, грустил.

Библиограф. (продолжая смотреть в книгу). Ни мало. Публика догадалась о причине критик и, не вникая им, раскупила книги, а сочинитель смеялся от чистого сердца уловкам своих противников, и радовался, что его критики вооружены были тупыми перьями, которые они обмакивали в желчь, а не в чернила, так, что каждый это ясно видел, как чёрное на белом. Так сказано в его биографии.

Молодая дама. От того-то сочинитель так полон лицом, что он не сердился на критиков, а смеялся.

Вельможа. А как назывались его критики? Нет ли этих имён теперь на Парнасе.

Библиограф. Об именах критиков не упомянуто.

Журналист. Утонули в Лете, в пучине забвения!

Молодая дама. Вечная память! — Вот и хорошо, что сочинитель не сердился.

Вельможа. Но наша братия на него, верно, также сердилась, по крайней мере, столько, как и критикованные им стихотворцы. Он нападает на тех вельмож, которые не покровительствовали отечественных дарований и словесности, не читали русских книг, и большую часть времени употребляли на искательство, а деньги на балы, обеды, а от того огромные суммы денег и целые имения испарялись в кастрюлях без пользы, без славы. Он бранит знатных, которые окружали себя чужеземцами-шутами, иностранными актерами, странствующими чужеземными писаками, а на отечественных авторов и художников и смотреть не хотели, бегали, как от заражённых чумой. Эти знатные принимали соотечественников в своих домах по чинам, по богатству, по связям, а не по уму, и одним иностранцам доступ был свободен. О, мой сочинитель неумолим!

Поэт. Спасибо Сочинителю!

Молодая дама. Нельзя ли найти имён вельмож, которые давали балы и обеды в XIX веке? И нет ли знатных фамилий?

Антикварий. Я вам могу сказать без справок, словами г-на журналиста: утонули в Лете. — Впрочем, виноват, некоторые имена всплыли наверх: нам известны граф Александр Сергеевич Строганов, граф Николай Петрович Румянцев и ещё некоторые — они покровительствовали учёным, литераторам и художникам и любили собирать их у себя.

Вельможа. Странно. Какая приятность могла быть в обществе без людей с талантами! В наше время этому трудно поверить.

Журналист. Извините, мне должно идти в типографию. Завтра выходит мой листок. Позвольте взять с собою книжки.

Вельможа. Извольте.

(Журналист уходит, а к хозяину подходит из толпы один из гостей).

Купец. Я получил письмо из Одессы, что англичане, американцы и турки закупили почти все наше крымское, донское, подольское и грузинское виноградное вино — теперь опасаются, что нельзя будет прислать много русского вина в столицы, к Святой неделе.

Вельможа. Не бойтесь: у нас в столице большие запасы русских вин. Но что делать с иностранцами, когда они предпочитают русские произведения всем прочим? Вы читали отчёт северных портовых таможен, за прошлый 2027 год?

Купец. Без сомнения. Не взирая на множество суконных и полотняных фабрик, требования на русские сукна, тонкие полотна и батисты были так велики, что нельзя было их удовлетворить, и я опасюсь, чтобы недостаток товаров для вывоза не заставил иностранцев искать их далее.

Помещик. Какой вы трусливый! Ни одно государство в мире не может прокормить столько овец, как Россия в Сибири, и

ни один народ не может свить столько льну и пеньки, как мы, в средней нашей полосе. Не подлежишь спору и сомнению, что чем животное ближе к северу, тем шерсть его тоньше, мягче и, так сказать, пушистее, следовательно, наши тонкошёрстные породы овец и коз нигде не могут существовать, потому что нигде нет сибирских степей. Наши полотняные фабрики доведены до совершенства, а лён и пенька наши природные растения. Минеральные краски наши и наш червец[4] предпочитают всем прочим. Не бойтесь: торговля в наших руках по натуре вещей. Например: где в состоянии выделывать такие шали как в России?

Купец. О доброте наших товаров я не спорю — но мы не можем удовлетворять все требования, и вот это беспокоит меня.

Вельможа. Успокойтесь: фабрики и мануфактуры беспрестанно размножаются. А помните ли вы, сколько русских купеческих кораблей с грузом было в море в прошлом году?

Купец. В отчёте сказано, что кораблей, построенных в русских портах, принадлежащих природным русским, с русскими экипажами было во всех морях только 15,000.

Вельможа. Это не много.

Помещик. Да, в прошлом году было более.

Инженер. От того, что в нынешнем году употреблено было много купеческих кораблей для перевозки целых скал порфира[5] с острова Гохланда. Эти корабли не вошли в счёт коммерческий.

Помещик. Как подумаешь, чего в России нет! Золото, серебро, платина, все грубые металлы, драгоценные камни, всего с избытком! Лучшие сукна, полотна, кожи...

Вельможа. Прибавьте: астраханский и грузинский шелк, лучшие в мире шляпы, лучшие железные изделия, а хлеба, как говорится, хоть не ешь, вина хоть не пей!

Купец. Правда, всё свое, исключая пряных кореньев и аптекарских материалов, которых, однако ж столько привозят на русских кораблях, что некуда их и девать.

Помещик. Счастливая Россия!

Вельможа. Счастливая от того, что мы, русские, умели воспользоваться нашим счастливым положением и все сокровища, тлевшие в недрах земли, исторгли нашим терпением, любовью к отечественному, прилежанием, учением, промышленностью. Пожалуй, если б мы не думали о завтрашнем дне, и кое-как жили, позволяя иностранцам брать у нас сырые материалы, и продавать нам выделанные, то мы навсегда остались бы у них в зависимости и были бы бедными.

Придворный. Всему этому мы обязаны всеобщему просвещению. Пока помещик, купец, ремесленник и крестьянин не знали богатства своего отечества и средств, как ими пользоваться, до тех пор они поневоле должны были оставлять сокровища под спудом.

Купец. Итак, да здравствуешь просвещение и промышленность!

Вельможа. Это здоровье надобно запить: подайте пенистого аксайского (*).

Придворный. Но вот наигрывают русскую кадрили: пойдёмте в залу.

Купец. Пойдёмте — я люблю эту пляску — во славу просвещения мы выпьем за ужином.

Вельможа. Очень хорошо. (*Переходят в танцевальную залу*).

(*) Произведённого в Аксайской станице на Дону (прим. автора)

1828 г.

Утопия

ПРАВДОПОДОБНЫЕ НЕБЫЛИЦЫ, или Странствование по свету в двадцать девятом веке (*)

Однажды вздумал я пригласить моего доброго приятеля переехать со мной на ялике из Петербурга в Кронштадт. Погода была прекрасная; тихий ветерок играл с нашим парусом; мы любовались прелестными видами берегов, златыми шпицами Петербурга и лесом мачт, окружавших Кронштадт. Поговорив о древнем и нынешнем состоянии России, о великом ее преобразователе Петре I и о будущих благоприятных надеждах, мы невольно завели философический разговор о способностях рода человеческого вообще и о благе, проистекающем от направления сих способностей к полезной деятельности.

— Веришь ли ты, — спросил меня приятель, — что род человеческий беспрестанно стремится к совершенству в нравственном отношении и что наши потомки будут лучше нас?

Я. Хотя не совсем верю, но желаю этого от чистого сердца.

(*) Не хочу присваивать себе чужого и признаюсь перед читателями, что уже многие прежде меня пускались странствовать на крыльях воображения в будущие века. Известный французский писатель Мерсье и немецкий Юлий фон Фосс особенно отличились в сем роде. Но как область вымысла чрезвычайно обширна и всякому позволено странствовать в ней безданно и беспошлинно, то я вознамерился также перешагнуть (разумеется, в воображении) за 1000 лет вперед и посмотреть, что делают наши потомки. Мерсье и фон Фосс поместили в своих сочинениях много невероятностей, вопреки законам природы, я, напротив того, основываясь на начальных открытиях в науках, предполагаю в будущем одно правдоподобное, хотя в наше время несбыточное Нравственную цель сей статьи читатели увидят сами

Приятель. Как, не веришь? Сравни дикого Новой Голландии с образованным европейцем; рассмотри философически причины различия между частными людьми и народами, и после этого ты удостоверишься, что нравственное состояние человека усовершенствуется беспрестанно по мере успехов просвещения в народе, благоустройства в государстве, изощрения способностей человека в занятиях благородных, возвышенных, полезных.

Я. Не сомневаюсь, что человек способен к совершенству, но верю, что эта постепенность образованности, от дикаря Новой Голландии до просвещенного европейца, имеет свои пределы и не может простираться за черту, назначенную природой. Как невежество, так и образованность имеют свое начало и конец: все крайности сходятся между собой. Последняя степень невежества есть *бессмыслие*; полет ума за пределы природных способностей — влечет к *сумасшествию*. А это одно и то же!

Приятель. Это голос самолюбия мудрецов XIX столетия. Древние греки и римляне, без сомнения, также думали, что степень их образования есть самая возвышенная; но согласись, что они, в сравнении с нами, дети, едва вышедшие из младенчества.

Я. Не соглашаюсь. Древние образованные народы обращали все умственные свои способности на усовершенствование философии, нравственности, политических сведений, изящных искусств и общежития. Должно сознаться, что они достигли возможного совершенства во всех сих отраслях человеческих познаний. Со времен Сократа и Платона едва ли сказано что-нибудь нового по части светской нравственности и философии. Просвещенные европейцы поныне руководствуются римскими законами и следуют образу правления древних, в различных его изменениях. Величайшие наши знатоки удивляются остаткам греческих и римских искусств, а в общежитии мы не только отстали от древних, но даже потеряли ключ к истинным наслаждениям. Сравни наши скучные этикетные балы, бостоны, вечера и длинные обеды — с пиршествами древних, где ум и сердце так же наслаждались, как и чувства.

Прежде полагали, что мы превосходим древних в новых политических системах, но недавно открытая ученым, г-м Майо, рукопись Цицерона доказывает, что древние имели даже понятие о нынешнем роде правления. Повторяю, они превосходили нас в нравственном отношении, довели до возможного совершенства все отрасли образованности, обратившие на себя их внимание, и умели лучше нас наслаждаться жизнью.

Приятель. Но зато как мы далеко шагнули вперед в науках физических. В последнее столетие сделано более открытий, нежели в первую тысячу лет. В наше время созданы химия, физиология, физика, механика, медицина, открыто электричество, магнетизм, исследованы газы и проч. Все это со временем завлечет нас далеко на поприще открытий и усовершенствований. Теперь каждый номер газеты объявляет что-нибудь новое по части наук, художеств и даже умозрительной философии. Кажется, что род человеческий соединенными силами стремится к совершенству, силится сорвать завесу, сокрывающую тайны природы. Счастливые начала обещают великие успехи.

Я. Правда, что в физических науках мы гораздо выше древних, и если открытия будут продолжаемы беспрестанно в таком же множестве и с таким же рвением, то любопытно знать, что будет с родом человеческим через тысячу лет...

Едва я успел кончить последние слова, как вдруг поднялся сильный ветер; одним ударом опрокинуло наш ялик: я упал в море и потерял чувства...

Когда я пришел в себя, мрак ночи препятствовал мне видеть, где я находился; но я чувствовал, что лежу в мягкой постели, окутанный одеялами. Через несколько времени свет начал пробиваться чрез малые отверстия в ставнях, — я отворил их и остолбенел от удивления. Стены моей комнаты, сделанные из драгоценного фарфора, украшены были золотой филигравовой работой и барельефами из того же металла. Ставни сделаны были из слоновой кости, а все мебели из чистого серебра.

Для собственного уверения, что я не сплю, я щипал себя, кусал, бегал по комнате, и наконец удостоверившись, что все это происходит наяву, я подумал, что рассудок мой расстроился и что мое воображение представляет мне все предметы в каком-то странном виде.

Я открыл окно, и мне представилась великолепная площадь, окруженная прекрасными лакированными домами различных цветов. Кругом площади и по бокам широкой улицы, продолжавшейся во весь разрез города, были сделаны крытые галереи для пешеходов, а на мостовой чугунные желоба для колес экипажей. Все улицы еще были пусты; я увидел одного только часового, стоявшего у большого фонтана посреди площади. На нем был красный бархатный плащ; на голове имел он круглую соломенную шляпу с пучком перьев марабу, а в руке держал длинный шест, к которому на нескольких колесах прикреплены были дюжины две небольших пистолетов, и в середине шеста — длинный мушкетон. По-видимому, это оружие было очень легко, потому что часовой повертывал им, как перышком.

Наконец мало-помалу начали отворяться двери и окна в домах. Представьте себе мое изумление, когда я увидел господ и госпож в парчовых и бархатных платьях, выметавших улицы или поспешавших с корзинами на рынок в маленьких одноместных двухколесных возках, наподобие кресел: они катились сами без всякой упряжки по чугунным желобам мостовой с удивительной быстротой. Вскоре появились большие фуры с различными припасами, двигавшиеся также без лошадей. Под дрогами приделаны были чугунные ящики, из коих на поверхность подымались трубы: дым, выходивший из них, заставил меня догадываться, что это паровые машины. Крестьяне и крестьянки, сидевшие на возах, все одеты были с таким же великолепием в парчу и бархат; при этом зрелище я более уверился, что я сошел с ума, и принялся горько плакать о потере небольшого количества моего рассудка.

Через полчаса дверь отворилась в моей комнате, и вошел господин в парчовом полукафтани, в шелковых чулках, с

распущенными кудрями по плечам. Он с низким поклоном объявил мне чистым русским языком, что его барин прислал осведомиться о моем здоровье и спросить, что мне угодно.

— Скажите, ради Бога, где я и что со мной делается? — воскликнул я трепещущим голосом. Служитель, как казалось, не понимал моего вопроса и потому не отвечал.

— Как этот город называется? — спросил я

— *Надежин*, — отвечал слуга.

— В какой стране он лежит?

— В Сибири, на Шелагском Носу.

При сих словах я громко рассмеялся.

— Как в Сибири! — воскликнул я.

— Точно так, — отвечал слуга. — Но позвольте доложить моему барину, что вы проснулись; он придет к вам, и вы лучше с ним объяснитесь.

Слуга пособил мне одеться в платье, сшитое наподобие азиатского, из ткани чрезвычайно легкой, голубого цвета.

— Кто же таков ваш барин? — спросил я. — Вероятно, какой-нибудь принц, судя по богатству его дома.

— Он профессор истории и археологии при здешнем университете, — сказал слуга и вышел из комнаты.

— Бедный мой рассудок! — воскликнул я. — Наконец тебе суждено помешаться на золоте, не оттого ли, что ты всегда мало занимался этим предметом! Но посмотрим, что мне скажет профессор, который, как кажется, собрал в своем доме богатство всей ученой братии из целого мира. Не снимет ли он оболочки, покрывающей мой ум и взоры?

В сие время он вошел в мою комнату, в такой же простой и легкой одежде, как моя, и, вежливо поклонившись, просил меня, сесть с ним рядом на канапе. Не дав ему выговорить слова, я повторил мой вопрос: где я нахожусь, и, услышав прежний ответ, спросил, каким образом я здесь очутился.

— Вчера люди, работавшие на берегу морском, — сказал профессор, — нашли вас в меловой пещере, завернутого в драгоценную траву *radix vitalis* (жизненный корень), которую мы употребляем для возвращения к жизни утопленников, задохшихся и всех несчастных, у которых жизненные силы остановились от прекращения дыхания, без расстройства органов. Но скажите мне, в свою очередь, каким образом вы попали в эту пещеру?

— Не знаю, что вам отвечать, — сказал я. — Вчера, то есть 15 сентября 1824 года, я упал в море между Кронштадтом и Петергофом, поблизости Петербурга, а сегодня нахожусь в Сибири, на Шелагском Носу, в великолепном городе! Признаюсь вам, — продолжал я, — что я сомневаюсь в моем здоровье и думаю, что мое воображение расстроилось. Все, что я слышу и вижу, удивляет меня и приводит в недоумение.

— На свете ничего нет *удивительного*, — отвечал профессор, — кроме того, что люди могут еще чему-нибудь *удивляться*! Самая удивительная вещь — создание Вселенной, а все прочее не удивительно. Знайте, что ныне 15 сентября 2824 года и что вы спокойно проспали в пещере целые 1000 лет!

— Возможно ли? — воскликнул я.

— Пожалуйте не удивляйтесь ничему, — сказал профессор, — а скажите мне, помните ли вы все происшествия своего времени?

— Помню, как вчерашний день, — отвечал я.

— Прекрасно, — сказал он, — вы можете нам объяснить многие исторические и археологические предметы и принесете большую пользу истории просвещения. Взамен я вас познакомлю с нравами и обычаями нашего времени; между тем пойдемте позавтракать; я вас представлю моему семейству.

Мы сошли в нижний этаж по круглой лестнице из слоновой кости и вошли в залу, убранную с невероятным великолепием. В ожидании прибытия дам я вступил в разговор с профессором.

Я. Кто бы подумал, что Шелагский Нос, только что описанный в наше время и состоявший из ледяных и снежных глыб, будет населен? Что суровый климат северной Сибири превратится в роскошную полуденную страну, в Эльдorado, и что, наконец, у профессора будет более золота, нежели в наше время было у всех вместе взятых откупщиков, менял и ростовщиков!.. Непонятно!

Профессор. А кто бы подумал в Древней Греции и Риме, во времена Геродота и Тацита, что пустыни Севера, которые первый описывал страну, вечным мраком покрытою, а другой обиталищем волков и народов лютейших, нежели дикие звери, что Север, говорю я, через тысячу лет украсится богатыми городами, населится просвещенными народами и славой сравняется с Грецией и Римом? Сравните описание Германии Тацита и записки о Галлии Юлия Кесаря с состоянием сих стран в XIX веке: климат, люди, все переменялось. Точно то же сделалось с Сибирью: все это весьма естественно и нимало не удивительно. Истребление лесов, осушение болот, переход внутренней теплоты земли к Северу, возвратное движение равноночных пунктов (*Praecessio aequinoctiorum, precession des equinoxes*) и, наконец, множество непредвиденных случаев изменили наш климат; теперь мороз водворился в Индиях и в Африке, а полярные страны сделались самыми роскошными и плодородными.

Я. Полярные страны! В наше время только начали их отыскивать и описывать одни углы. Скажите, отыскан ли *северо-западный* путь и справедливо ли предположение наших ученых, что Берингов пролив соединяется на севере с Баффиновым заливом?

Профессор. Без сомнения. В наше время — это обыкновенный путь кораблей из Индии в Европу.

Я. Слыхали ли вы о капитане Парри, который в наше время прославился, открывая сей путь между горами льдов, хотя предприятие его осталось неисполненным?

Профессор. Имя его известно в истории наук.

Я. Но скажите мне, откуда у вас такое множество золота и серебра? В наше время даже в сказке неприлично было бы говорить о таком богатстве.

Профессор. В ваше время золото и серебро составляли богатство, а ныне эти металлы почитаются самой обыкновенной, дешевой вещью и употребляются только небогатыми людьми. Жадность к богатству изрыла землю до такой степени, что люди отыскивали, наконец, жилы самородных металлов в чрезвычайном множестве и в полной мере пресытились золотом и пустым блеском. От большого количества золота и серебра цена их упала, и человеческая прихоть причислила сии металлы к предметам бедности, по предвечному правилу, *что только то мило, что редко и дорого.*

Я. Из чего же чеканите вы монету и делаете драгоценные свои вещи?

Профессор. Из дубового, соснового и березового *дерева.*

Я. Из дерева, которым у нас топили печи, из которого строили барки, крестьянские дома, мостили дороги!..

Профессор. Оттого-то, что наши предки без всякой предусмотрительности истребляли леса и не радели о воспитании и сохранении деревьев, они наконец сделались редкостью и драгоценностью.

Я. Из чего вы делаете свои драгоценные платья, если парча, бархат и шелк составляют убранство черни?

Профессор. Мужчины носят платье из рыбьих жил, как, например, мое и ваше, и из морских растений, а щеголихи и модницы из рогожек, из перьев редких птиц, чешуи редких рыб и листьев ароматных деревьев.

Я. Воля ваша, но я не могу удержаться от смеху. В наше время таким образом одевались только дикие фигляры под качелями.

Профессор. Богатство и вкус — вещи условные: первое происходит от редкости предметов и трудности их приобретения;

второе зависит от прихоти людей или моды, всегда смешной и странной. В глазах мудрого истинное богатство состоит в возможности удовлетворения первым жизненным потребностям, а, впрочем, все равно, на золото или на куски дерева вы покупаете необходимые для вас вещи. Мне известно по истории, что даже в ваше время король Сандвических островов, Тамеамеа, платил европейцам за пушки, корабли и товары сандаловым деревом. Согласитесь, однако ж, что дуб превосходнее сандала.

Я. Это правда: богатство есть вещь условная.

В сие время вошла жена профессора с двумя прелестными дочерьми и маленьким сыном. Женщины были одеты в туники из рогожек, сплетенных весьма искусно и окрашенных в радужные цветы. Мальчик лет 10 был просто в халате. Каждая женщина в левой руке имела кожаный щит, покрытый непроницаемым лаком, чтобы закрываться от нескромных глаз, вооруженных очками с телескопными стеклами, которые были в большой моде(*). Хозяйка сказала мне несколько слов на неизвестном мне языке, но, увидев, что я не понимаю, спросила по-русски, неужели я не говорю по-арабски.

— Нет, — отвечал я, — в наше время весьма немногие ученые занимались изучением сего языка.

— Это наш модный и дипломатический язык, — сказал профессор, — точно так же, как в ваше время был французский.

Женщины не могли скрыть улыбки при сих словах, и старшая дочь спросила меня:

— Может ли это стать, чтобы ваши дамы говорили французским языком, однозвучным, почти односложным и беднейшим словами из всех языков?

(*) Мысль о телескопных стеклах принадлежит Фоссу Я прибавил щиты, чтобы избавить красавиц от весьма затруднительного положения.

— В наше время, — отвечал я, — дамы говорили по-русски только с лакеями, кучерами и служанками, а всю свою премудрость истощали в подражании французскому произношению. У нас кто не говорил по-французски, — продолжал я, — тот почитался невежею в большом свете, хотя иногда так случалось, что те из русских, которые между собой говорили всегда по-французски, бывали величайшими невежами.

— Все это повторяется теперь у нас, — сказал профессор, — с той только разницей, что французский язык в наше время есть то же, что у вас был чухонский, а богатый, звучный и гибкий арабский язык заступил место французского.

В это время человек принес поднос, уставленный деревянными некрашеными чашками, поставил его на золотой столик и через несколько минут принес две деревянные же чаши, одну с русскими щами, другую с гречневой кашей и бутылку с огуречным рассолом. Я решительно отказался от этого завтрака, чему все семейство крайне удивлялось.

— Жена моя, — сказал профессор, — хотела угостить вас самым дорогим завтраком из заморских растений; извините ее, она не знает археологии и потому не могла угодить вашему вкусу. Я велю вам из кухни принести чаю, кофе и шоколаду: эти в ваше время лакомые вещи ныне употребляются только черным народом.

— Правда, — сказал я, — что уж в наше время простой народ начал излишне употреблять чай и кофе: я предвидел, что со временем богатые люди, для отличия, откажутся от сих растений. Но я не понимаю, каким образом, взамен чаю и кофе, самые грубые растения: капуста, гречиха и огурцы — вошли в такую честь!

— От редкости, — отвечал профессор. — Переменной климата переменялось царство растений, и эта обыкновенная и грубая в ваше время пища ныне получается на кораблях из Индии, взамен бананов, кокосов, корицы, перцу и гвоздики, которые мы туда посылаем. Впрочем, по исследованию ученых медиков,

оказывается, что капуста, гречиха и огурцы — здоровая и питательная пища — достойны оказываемой им чести. Можно утвердительно сказать, что эти растения гораздо полезнее всех горячительных средств, которые в таком множестве употреблялись в ваше время и производили подагру, расслабление нервов и преждевременную старость.

Напившись чаю, я предложил профессору прогуляться со мной по городу и осмотреть некоторые заведения; он согласился на это, и мы, надев небольшие соломенные шляпы, вышли на улицу.

Осматривая дом с улицы, я не мог довольно налюбоваться прекрасной отделкой фризов, капителей, колонн и других наружных украшений. Флоды, цветы и различные фигуры, изображенные на стенах между окнами, превосходили все, что я доселе видел по части ваятельного искусства.

— Прекрасная лепная работа! — сказал я.

— Вы ошибаетесь, — отвечал профессор, — все наши дома и все эти украшения сделаны из чугуна.

— Как, чугунные дома! — воскликнул я. — Это что-то необыкновенное. Хотя в наше время начали уже употреблять чугун для дорог, мостов, колонн, лестниц, разного рода машин, полов, даже картин (*) и галантерейных вещей, но я никак не мог предвидеть, чтобы из чугуна можно было строить дома.

(*) Я видел прекраснейшие портреты выпуклой работы, сделанные на казенном заводе.

— Ничего нет легче, — сказал профессор, — строитель дома представляет на чугунный завод план и фасад здания, и ему отливают нужное число ящиков или сундуков колонны, пол, потолки и крышу, которые скрепляются между собой винтами. Ящики, закрытые со всех сторон, имеют по одному малому отверстию с винтом, через которое насыпают в ящики сухой песок, а для крепости стен и защиты от влияния атмосферы сии ящики спаиваются между собой особенной массой вроде мастики. Такие дома весьма удобно переносить с места на место, и несколько огромных фур с паровыми машинами перевозят дом в несколько часов.

— Теперь понимаю, что это нетрудно, если вы богаты железной рудой, — сказал я. — Но чрезвычайное употребление горючих веществ, при недостатке дров, должно быть весьма ощутительно небогатым людям, и ваши заводы, вероятно, поглощают большое количество земляных угольев, торфу или других материалов.

— Вы снова ошибаетесь, — сказал профессор. — Новый способ разложения атмосферного воздуха, открытый знаменитым самоедом Пануромаем, членом Обдорской академии, в 1946 году, производит *светородный газ*, который согревает нас, освещает и содержит наши заводы и фабрики. Во всякой части города находится главная лаборатория, откуда проведены трубы во все дома. По воле хозяина одного или жильца при повороте одного крана комнаты освещаются: другой кран в несколько секунд согревает печи, а третий доставляет огонь в кухню и в одно мгновение готовит кушанье.

— Все это хорошо, — сказал я, — но такое множество металла не привлекает ли в город электричество во время грозы?

— На что же громовые отводы, — сказал профессор, — которыми в ваше время так мало пользовались? Посмотрите, у нас над каждым домом, мостом и будкой находится громовой отвод, а кроме того мы всегда снабжены этим спасительным орудием. Снимите вашу шляпу! — примолвил профессор.

Я снял ее, и он мне показал под пуком перьев складной громовой отвод(*) и клубок цепочки для сплыва электрической материи на землю.

— Вот это прекрасно, — сказал я, — но при всем том гром может оглушить человека.

— Посмотрите в вашем боковом кармане, — сказал профессор, улыбаясь.

Я вынул три небольшие эластические шарика из красивой коробочки, и профессор объявил мне, что это *воздухоотражатели*, которые должно класть в рот и в уши во время грозы.

— Итак, у вас все придумано для спокойной и беспечной жизни, — примолвил я, повертывая эластические шарик.

— К чему бы иначе послужили науки? — сказал профессор. — Из одного любопытства, право, не стоит посвящать жизнь на новые открытия и усовершенствования.

В это время мы проходили мимо купеческого магазина, и я остановился посмотреть, как двенадцатилетний мальчик посредством простого рычага, укрепленного на шпиле, поднимал огромные тяжести и препровождал их в слуховое окно, где другая машина (в виде весов, укрепленных на блоке, управляемая также мальчиком) спускала товары на пол.

— Боже мой! — воскликнул я. — Самые простые средства в механике, открытые еще в баснословные времена, известные в наше время каждому плотнику; рычаг, клин, весы и винт наконец дождались своего настоящего употребления. В наше время тысяча человек работали бы в поте лица при подобном случае.

(*) Выдумка громовых отводов на шляпах принадлежит Фоссу. Цепочки и воздухоотражательные шарик мое изобретение.

— Это самое простое средство, — сказал профессор, — но у нас есть паровые подъемные машины, которые поднимают, как перышко, стопушечные корабли и ворочают утесами, как булыжником. Человек силен одним своим умом, и так он должен действовать своими умственными силами для преодоления сил физической природы... Но сядем в валовую машину, — сказал профессор, — чтобы поспешить к прибытию воздушного дилижанса. Сегодня почтовый день, и я ожидаю писем от сестры моей, из Новой Голландии.

Мы сели в покойные кресла на рессорах; мальчик завел пружину, стал сзади, и мы покатались по чугунным желобам столь же быстро, как в наше время скатывались с летних гор на Крестовском острове или у качелей на Святой неделе.

Вскоре мы прибыли на обширную площадь, где возвышалась чугунная башня с террасой наверху. Здесь мы остановились, и профессор объявил мне, что это воздушная пристань. Едва мы взошли на террасу, как увидели вдали огромный шар, к коему подвязан был большой плашкот в виде птицы, размахивавшей крыльями и хвостом необыкновенной величины. Черный дым вился струей за судном и с первого взгляда удостоверил меня в существовании паровой машины.

Пока воздушный дилижанс приближался, я спросил у профессора, каким образом достигли люди до управления аэростатами, изобретенными в наше время и послужившими один раз только в пользу, в сражении при Флерусе(*).

(*) Во время Французской революционной войны с аэростата, прикрепленного на веревке, наблюдали однажды движения неприятельской армии.

— Ничего нет проще, — сказал профессор, — как это средство. Надобно было только немного логики и много смелости. Первый водоплаватель, — продолжал он, — который выдумал ладью, для управления ею подражал рыбам и водоземным животным. Для поворачивания ладьей он сделал руль наподобие рыбьего хвоста, а для горизонтального движения сделал весла по образу рыбьих крыльев и лап животных. Устрица и бобр научили его употреблению паруса. Воздух есть такое же упругое тело, как вода, и одними законами действует на тяжести. Итак, чтобы летать по произволу, надлежало подражать птицам, что было весьма легко по изобретении средства держаться в воздухе. Птица летает вперед, опускается или поднимается посредством крыльев и хвоста, приводимых в движение мускулами, которые в свою очередь подчинены воле или инстинкту животного. Мы сделали те же крылья и хвост, мускулы заменили винтами и пружинами; вместо произвольного движения употребили паровую машину (которая непрерывным своим движением уподобляется жизненной силе), а вместо воли поставили кормщика — и дело с концом(*).

Между тем аэростат приблизился, свернул крылья, бросил якорь на террасу, и часовой, прикрепив якорный канат к вертикальному колесу, посредством пружины привел его в движение и притянул дилижанс на поверхность пристани. Человек до ста мужчин и женщин вышли из плашкота, каждый с особенным парашютом в руках. Пока в конторе разбирали письма, я любовался устройством воздушного дилижанса и осматривал крылья, которые ничем не отличались от употребляемых в ветряных мельницах. Профессор, приметив, с каким любопытством я осматривал механизм сего аэростата, по прочтении писем пригласил меня за город, на воздушное ученье, и мы тотчас отправились туда в ездовой машине.

(*) У Фосса воздушные шары управляются запряженными в них орлами. Мне показалось это совершенно невозможным, и я выдумал крылья и паровую машину.

Не могу выразить чувствования, объявшего мою военную душу при виде двухсот огромных аэростатов с плашкотами, выстроенными в одну линию на земле. Пред каждым стояло по сто человек солдат, вооруженных духовными ружьями со штыками. По первому сигналу люди взошли на плашкоты, по второму зажгли огонь в паровых машинах, а по третьему музыка заиграла военный марш, развились разноцветные флаги, и аэростаты поднялись на воздух. Сперва они пролетели значительное пространство в одну линию, потом разделились на плутонги и начали делать различные повороты. Ничто не может сравниться с величием и прелестью этой картины: я был в восхищении, но вскоре мой восторг превратился в ужас. По данному сигналу из духовой пушки с аэростата главного начальника воздушной эскадры вдруг солдаты бросились опретью на землю с неизмеримой высоты. Я обмер от страха, но вскоре пришел в себя, увидев распускающиеся в воздухе парашюты, которые, плавно опускаясь в различных направлениях, представили взорам моим другого рода прелестное зрелище. Солдаты, коснувшись земли, выпутались проворно из сеток, свернули парашюты и, привязав их как ранцы к спине, немедленно построились и начали производить пешие маневры.

— Каково вам это нравится? — спросил профессор.

— Чудеса! — воскликнул я. — После этого изобретения ни крепости, ни оборонительные местоположения, ни быстрые переходы не спасут неприятеля. Одно только отчаянное мужество может сохранить армию от поражения.

— Погодите немного, — сказал профессор, — вы увидите, что против каждого средства есть противодействие.

Через несколько времени аэростаты опустили на землю, и несколько других шаров, без плашкотов, пустили на воздух на веревках.

— Это на что? — спросил я профессора.

— Для цели, — отвечал он.

В эту минуту выступила рота солдат, без ружей, с колчанами за плечами и самопалами в руках. Начальник скомандовал, и они начали бросать из луков конгревовы ракеты, от которых шары тотчас полопались в воздухе.

— Вот это ужасно! — сказал я.

— Опасность не столь велика для воздухоплателей, как вы думаете, — отвечал профессор, — ибо люди в подобных случаях спасаются на парашютах и обыкновенно не лишаются жизни, но попадают в плен.

Когда ученье кончилось, я пожелал увидеть вооружение солдата: ружья, как выше сказано, были духовые, а в сумках, вместо пороху, находились съестные припасы, а именно: один серебряный ящичек с крепким бульоном, вываренным из различных растений и мяс, которого несколько крох достаточно для пропитания целого семейства, по крайней мере на месяц; другой ящичек наполнен был мукой из питательного саго, для делания опресноков, и наконец каждый солдат имел при себе пневматическую машину для превращения воздуха в воду в случае нужды, и машину для произведения кислотвора, а из одного огня для варения пищи.

Похвалив все сии применения наших изобретений к общественной жизни, я заметил, что удобство иметь всегда при себе огонь, воду и съестные припасы особенно спасительно на кораблях, где часто случается, что во время кораблекрушения людей выбрасывает на необитаемые берега и несчастные погибают там от нужды и изнурения.

— В наше время все эти изобретения пригодны только воздухоплателям и вовсе не нужны для морского флота, — сказал профессор. — Во-первых, потому, что у нас более не бывает кораблекрушений, ибо суда построены из меди и железа, а во время бури опускаются на дно морское; во-вторых, морская вода в несколько минут, посредством *гидравлических очистителей*, превращается в пресную; в-третьих, дно морское доставляет нашим мореходцам и водолазам множество растений и животных

для пропитания, а наконец, в-четвертых, потому, что в наше время вовсе нет необитаемых берегов: вся земля населена, удобрена и украшена руками людей, размножившихся до невероятной степени. Даже голые утесы среди океана, посредством привозной и сделанной из камней земли, превращены в роскошные сады, а безопасность подводного плавания и воздушное сообщение поддерживают взаимные сношения отдаленных стран и удовлетворяют жизненным потребностям.

— Итак, подводные суда, изобретенные в наше время американцем Фультоном и усовершенствованные англичанином Джонсоном, введены в употребление? — спросил я.

— Без сомнения, — отвечал он. — Вы, подобно детям, забавлялись новыми изобретениями, как игрушками, а мы поступаем как взрослые люди. Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы в продолжение ее можно было наслаждаться цветами изобретения и плодами усовершенствования. Надобно слияние многих жизней, опыты веков, чтобы каждая новая выдумка и открытие принесли немалую пользу.

Наконец, профессор объявил мне, что он должен поспешать на лекцию в университет. Я просил его взять меня с собой, но, для избежания взоров любопытства, скрыть от всех, что я всеобщий дедушка или предок нынешнего поколения. Мы снова сели в ездую машину и покатались обратно в город, проехав во всю его длину к противоположным городским воротам, и, миновав оные, остановились у крыльца великолепного и огромного здания, окруженного ботаническим садом и зверинцем.

Профессор, ввел меня в круглую залу, или ротонду, в которой находилось около пяти тысяч слушателей различного пола, возраста и звания. Между тем как профессор пошел в приготовительную комнату, имевшую сообщение с возвышенной кафедрой, я поместился у входа на скамье и начал читать программу лекций, полученную мною от придверника. Распределение факультетов было то же самое, что и в наше время, только науки имели свои собственные подразделения, которые в

наше время показались бы смешными и странными. Например, в юридическом разряде перед науками законоведения и судопроизводства находились три новые разряда, а именно: *Добрая совесть*, *Бескорыстие* и *Человеколюбие*. К философии прибавлены были *Здравый смысл*, *Познание самого себя* и *Смирение*. В разряде исторических наук я заметил особенное отделение под заглавием: *Нравственная польза Истории*, а к статистике и географии прибавлено было отделение: *Достоверность показаний*. В филологическом разряде первое место занимал *Отечественный язык*. Особенная Наука под названием: *Применение всех человеческих познаний к общему благу* — составляла отдельный факультет, со многими подразделениями, по мере средства и связи всех отраслей человеческих познаний.

Вдруг раздался звук колокола, наступила тишина в собрании, а профессор *Здравого смысла* взошел на кафедру — я в первый раз в жизни слушал публичную лекцию с таким удовольствием и вспомнил то время, когда я, посещая один немецкий университет, заснул на философической лекции, упал со скамьи и привел в смятение и соблазн всех почитателей Канта и Шеллинга. Теперь другое дело: профессор говорил понятным для всех языком, излагал истины, близкие сердцу. Он говорил, что здравый рассудок повелевает безусловно повиноваться законам той земли, где мы живем; не осуждать опрометчиво поступков старших, во-первых, из снисхождения к человечеству, а во-вторых, потому, что мы, наблюдая действия, часто не знаем ни первой побудительной причины, ни цели. Он советовал судить о делах по следствиям, а не по началу и не по первым впечатлениям, приводя в пример спасительные лекарства, которые, действуя на тело, производят часто неприятные ощущения. Говорил, что общее благо граждан проистекает от стремления каждого в особенности к вспомоществованию ближним. Делать добро другим значит делать добро себе самому, потому что этим средством приобретается право на любовь и уважение других, а с сим вместе на их помощь. Он советовал каждому исполнять свою

должность самым строжайшим образом, для поддержания общего благоустройства, и приводил в пример машину, которая, от одной испорченной частицы в механизме, изменяет свое назначение. Одним словом, профессор *Здравого смысла* говорил в продолжение целого часа такие вещи, которые почти всем были известны в наше время, но не обращали на себя большого внимания, потому что были разбросаны в беспорядке по различным сочинениям и почитались слишком обыкновенными.

После того мой хозяин, профессор, начал изъяснять археологию, и я удивился, когда он, вместо одних букв, чисел, часов и почерков, начал объяснять, по древним памятникам, степень гражданской образованности народов, их обычаи, нравы и критическими изъяснениями стал доказывать, чему должно подражать и что отвергать. Слава Богу, подумал я, что наконец сухая археология, удручавшая мою память и раздражавшая мое терпение, получила истинное свое направление.

Профессор кончил лекцию, и пока слушатели и другие профессора расходились по домам, он повел меня в археологический музей и библиотеку.

В музее все предметы расположены были хронологическим порядком, и можно догадаться, что я поспешил в залу, где над дверьми написано было «XIX столетие».

Здесь я увидел наши костюмы, экипажи, земледельческие орудия, оружие, собрание монет и медалей, обломки капителей, портреты, бюсты, гробницы и пр. и пр. Я хотел испытать познания моего профессора и удостоверился, что он гораздо лучше знает философическую часть своей науки, нежели практическую. Я нашел множество знакомых мне лиц в числе портретов, писанных в первой половине XIX столетия, и чрезвычайно смеялся, когда профессор начал мне объяснять свои догадки об их звании и достоинствах, судя по одежде и положению тела на портретах. Невежу, написанного с книгой в руках, он почитал ученым; актрису в театральном костюме называл африканской принцессой; капитана-исправника или уездного комиссара, написанного с

саблей в руках, он называл полководцем, а земского судью, моего приятеля, который велел написать свой портрет в мундире, с кипой бумаг, почел за великого дипломата. Но более всего забавляло меня то, что он трактирные вывески с именами городов почитал надписями триумфальных ворот, и мраморную гробницу откупщика называл гробницей азиатского военачальника, судя по длинной и кудрявой надписи.

Когда я ему растолковал истинное значение всех сих предметов, то он столько же смеялся, как я, и мы согласились, что, вероятно, многие греческие и римские медали, египетские гробницы, этрусские сосуды, статуи, на которых в наше время ученые археологи везде видели полубогов, героев и богов, часто изображали кого-нибудь гораздо ниже званием и принадлежали, может быть, честным трактирщикам, купцам и прочим смиренным гражданам.

— В наше время, — сказал я, — ученые филологи и изыскатели древностей на каждом египетском капище вычитывали имена Клеопатры и Птолемея и сохраняли их, как драгоценности, принадлежавшие сим знаменитым владельцам Египта, не обращая внимания на то, что и бедным мещанам не запрещено было называться сими именами.

— Ваша правда, — сказал профессор, улыбаясь, — но перейдем в библиотеку

Я предполагал, что увижу несколько миллионов книг, судя по страсти наших авторов к печатанию своих произведений и по успехам типографского искусства, но как я удивился, когда увидел собрание книг не обширнее бывшей библиотеки Плавильщикова, у Синего моста, в Санкт-Петербурге. Профессор сказал мне, что ныне только отличные сочинения помещаются в библиотеках, а прочие истлевают в книжных подвалах или поступают на обертки в лавки и магазины.

Еще к большому моему удивлению, я здесь не нашел сочинений, которым в наше время друзья сочинителей предсказывали в журналах бессмертие, а напротив того, увидел

книги, о которых мало говорили, а еще менее читали, занимающие здесь почетные места. Чтобы не трогать самолюбия моих современников, я вовсе умолчу об их именах; скажу только, что я тщетно искал новых наших романтиков, наших нежных Парни и чувствительных Ламартинов (разумеется, подражателей) и всех сладкозвучных поэтов, которые в наше время пленяли раздражительный слух своих приятелей и приятельниц гармонией стихов, музыкальным сочетанием слов и попеременно — то сладострастными, то ужасными и отвратительными картинами. С переменой вкуса менялось понятие о прекрасном, и с преобразованием языка рассеялась условная прелесть: звучные слова, как пустое эхо, замолкли в воздухе, а картины исчезли, как тени при появлении солнечных лучей. Остались только возвышенность мысли, сила чувствований, глубокое познание всегда неизменного сердца человеческого, просвещенная любовь к родине и великие истины природы; а сладкозвучная поэзия, составленная из одних слов и картин, разбилась, как старые гусли.

Утешьтесь, знаменитые тени Ломоносова, Державина, Озерова, Фонвизина, ты, древний Нестор, красноречивый Платон, остроумный Кантемир и прочие поборники истины! Я видел ваши творения, оцененные по достоинству, ваши имена, начертанные золотыми буквами в сем святилище ума и гения. Скажу больше: сочинители грамматик и словарей, изыскатели отечественного языка уцелели в сем литературном кораблекрушении. Потомство, всегда признательное к полезным трудам, сохранило их память. Все прочее поглощено временем.

Но утешьтесь и вы, почтенные мои собратья, журналисты, милые поэты и легкие прозаики, утешьтесь моим собственным уничтожением: тщетно я искал моего имени под буквой Б. Увы! я не мог отыскать его под спудом тысячи лет, и все мои статейки, критики и антикритики, над которым я часто не досыпал ночей, в приятных надеждах на будущее — исчезли! Сперва я хотел печалиться, но вскоре утешился и, выходя за двери, весело повторил любимое мое выражение: *Vanitas vanitatum et omnia vanitas!*

Профессор сказал мне, что должно поспешать домой, где ожидают его гости, которых он созвал в честь моего пробуждения, потому что для моей собственной пользы мне надлежало открыться. Итак, отложив до другого времени осмотр любопытных предметов, находящихся в университете, мы поспешили в дом профессора.

Собрание было многочисленное. Профессор пригласил почтеннейших людей в городе, первостепенных дам и знатных иностранцев, в числе коих было несколько негров и людей оливкового цвета. Хозяин сперва представил меня градоначальнику, человеку отличному своими сведениями, нравственными качествами и заслугами. Он был в цвете лет, деятельно исполнял свою должность и пользовался всеобщим уважением.

После того профессор подвел меня к молодому человеку небольшого роста, с широким лицом, сплюснутым носом и назвал его принцем эскимосским, начальником эскадры, стоявшей на якоре на здешнем рейде. Я недавно читал «Путешествие» Парри и удивился сходству лицеочертания сего принца с картинками, приложенными к книге сего путешественника, изображающими жителей полярных стран, бедных эскимосов, которые в наше время, подобно медведям, блуждали по необитаемым берегам и льдам полярных морей. Вежливость и образованность сего принца и находившихся с ним двух адъютантов заставили меня догадываться о высокой степени просвещения полярных стран.

Засим профессор познакомил меня с молодым негром и назвал его сыном знаменитого Барабаноя, полководца сильнейшей в Африке империи Ашантской. Этот юноша путешествовал для приобретения опытности, сопутствуемый своим наставником, негром по имени Кукуреки, которого профессор рекомендовал мне как первого в то время историка, Тацита двадцать девятого столетия. Я не мог удержаться, чтобы не сказать знаменитому Кукуреки, что ашантии в наше время известны были как самое лютное племя негров на западном берегу Африки, которое причиняло жестокие опустошения в английских колониях.

— Мы были в то время точно в таком положении, — отвечал Кукуреки, — как римляне при Ромуле. Наконец мужество наших предков, просвещение и промышленность принесли обыкновенные свои плоды и возвели нашу империю на высочайшую степень могущества. В ваше время, — сказал при сем эскимосский принц, — наш народ также уподоблялся более диким зверям, нежели людям. Но перемена климата, счастливое положение нашего полярного архипелага для торговли, соединение всех племен эскимосских, разделенных прежде льдами и невежеством, мудрые законы, просвещение и богатство произведений различного рода деревьев довели нас до такого богатства и утонченности гражданской жизни, что теперь почти невозможно верить рассказам первых путешественников в наши страны, Парри и Франклина.

— Итак, имя Парри сохранилось у вас? — сказал я.

— Он счастливее Христофора Колумба, — отвечал принц, — его именем называется главный город нашей империи на острове Мельвиле.

Я хотел было продолжать разговор, но профессор подвел меня к двум почтенным старцам, из коих одного назвал президентом Камчатской академии наук, а другого главой купечества жителей Алеутских островов. Я давно перестал удивляться, но при сем случае не мог не улыбнуться, вспомнив, каковы в наше время были камчадалы и алеуты.

Консул трех соединенных республик: Алжира, Триполи и Марокко также обратил на себя мое внимание воспоминанием варварства, в котором находились сии варварийские владения в наше время.

Наконец, я перешел к дамам, сидевшим в особой комнате. Для каждого возраста был особенный покрой одежды. Старухи были в длинных платьях темного цвета, с капюшонами и рукавами; женщины средних лет одеты были чрезвычайно скромно, но красиво, с длинными же рукавами, закрытой грудью и наколками на головах, с перьями и лентами. Молодые девицы

наряжены были точно таким образом, как древние греческие нимфы: пурпуровые и радужные мантии, белые как снег хитоны, гирлянды и венки из природных цветов украшали и возвышали их прелести. Все женщины имели, как выше сказано, на левой руке легкие щиты, испещренные надписями и изречениями, изображающими их образ мыслей и чувствования. Все дети без исключения, мальчики до 14, девушки до 11 лет, были в русских рубашках и халатах, вероятно, для того, чтобы нежные их члены, не быв сжаты, росли и совершенствовались на свободе.

Признаюсь, я с неприятным чувством вошел в комнату женщин, полагая, что они меня закидают вопросами. Но как я удивился, когда они не оказали ни малейшего любопытства и после вежливого приветствия продолжали заниматься своими разговорами.

— Вот одно из первостепенных чудес вашего века, — сказал я потихоньку профессору. — Женщины ваши нелюбопытны!

— Люди догадались, наконец, — сказал профессор, — что важнейшая пружина общественного благосостояния есть воспитание женщин, имеющих влияние на мужчин от колыбели до могилы. Усовершенствование женского воспитания, — продолжал он, — истребило в них любопытство, сию вредную страсть, причинившую множество расстройств не только в семействах, но даже в государствах.

— А болтливость? — спросил я.

— Придавлена падением любопытства, — отвечал он.

— А ревность?

— Истреблена образованностью и взаимным уважением между супругами. Только недостаток здравого рассудка, — примолвил он, — может заставить женщину верить, что она, терзая своего мужа подозрениями, сумеет исправить его или привязать к себе. Теперь уверились, что ревность, в случае неверности, вовсе бесполезна, а в случае одних подозрений чрезвычайно вредна, потому что изгоняет из сердца любовь. Вы

помните, что сказал один остроумный писатель вашего времени: «Скажи несколько раз своему слуге без всякой причины: зачем ты крадешь сахар? Слуга кончит тем, что в самом деле станет красть сахар». То же бывает с любовью.

— Прекрасно! — воскликнул я. — Бесподобно! Слава Богу, что я не умер; теперь непременно женюсь, и чем скорее, тем лучше... Но существует ли кокетство? — спросил я еще тише.

— В умеренной степени, — отвечал профессор. — Впрочем, будьте уверены, что немного кокетства столь же нужно красавице, как вежливость образованному человеку. Я не говорю вам о сего рода кокетстве, которое заставляет женщину забывать все свои обязанности, чтобы пленять, нравиться, кружить мужчинам головы и жертвовать благосостоянием детей своих для нарядов и украшений. Нет! позволительное кокетство состоит в благопристойности, чистоте и отличном вкусе убранства, в искусстве привлекать благорасположение и почтение мужчин, удерживая их в пределах скромных и позволительных сношений; одним словом, это середина между несносным жеманством (*pruderie*) и предосудительной вольностью в обращении.

— Согласен, — сказал я, — и непременно хочу жениться.

— Это весьма легко, — сказал профессор, — но надобно прежде представить доказательства, что в случае потери вашего имени или приданого вы можете собственными трудами пропитать свое семейство, чтобы после не быть в тягость обществу.

— Вот запятая, — сказал я. — Но мы после поговорим с вами об этом.

Между тем слуга доложил, что кушанье подано: мы пошли в залу и уселись за круглым столом, без всякого порядка, где кому было угодно, — исключая женщин, которые поместились в один ряд. Стол был уставлен разного рода кушаньями в деревянных блюдах; они стояли на золотых подносах(*) и треножниках,

(*)Металл употребляется здесь только как лучший проводник теплоты.

а согревались лампами с водородным газом. Большая часть кушаньев, чрезвычайно вкусных, состояла из неизвестных мне растений и мяса; одни только рыбы припоминали мне наше время. Градоначальник, приметив мое любопытство, сказал:

— Все, что вы здесь видите на столе, исключая хлебного и плодов, есть произведение моря. По чрезвычайному народонаселению на земном шаре и по истреблению лесов все почти животные и птицы, которых прежде в таком множестве употребляли в пищу, перевелись; лошадей мы бережем, как верных наших товарищей; верблюдиц, коров и овец сохраняем для молока и шерсти, слонов для войны. Но зато море представляет нам неисчерпаемый магазин для продовольствия. После изобретения подводных судов и усовершенствования водолазного искусства дно морское есть плодоносная нива, населенная несчетным множеством питательных растений, а воды снабжают нас в изобилии рыбами, водоземными животными и раковинами. В странах, отдаленных от моря, люди занимаются фабриками, рукоделиями, разведением плодов, хлебных растений и винограда; воздушное сообщение доставляет нам средства весьма скоро меняться различными произведениями.

— Кстати, о винограде! — сказал я, налил бокал и выпил за здоровье собеседников. Вино показалось мне удивительного вкуса: оно соединяло в себе игру и мягкость шампанского с крепостью бургонского и имело какой-то очаровательный запах. — Скажите мне, господа, — спросил я, — позволяет ли усовершенствованная природа человеческая употребление вина?

— *In vino veritas!* — сказал важно президент Камчатской академии: при сих словах все бокалы наполнились и опорожнились за мое здоровье. «Это по-нашему», — думал я.

Наконец служители убрали блюда и оставили одни только плоды, закуски и вино. В это время профессор встал со стула, подошел к стене, потянул пружинку, и прелестная мелодия, уподобляющаяся звукам нескольких арф, пленила мой слух. После прелюдий женщины хором запели гимн отечеству; мужчины

вполголоса повторяли слова гимна; слезы невольно покатались у меня из глаз. Когда пение кончилось, я не мог удержаться, чтобы не похвалить сего обыкновения, градоначальник спросил меня, каким образом мы проводили время за десертом.

— В наше время, — отвечал я, — состояние атмосферы или погоды было неисчерпаемым источником красноречия. Кроме того, каламбуры, комплименты, нежности и мадригалы (сказанные, кстати, французскими маркизами г-же Помпадур или герцогине дю Барри, при дворе Людовика XV) переходили по преданию от отца к сыну и составляли так называемый светский ум, которого достаточно было лет на шестьдесят, в кругу большого света.

Между тем эскимосский принц начал декламировать по-русски прелестные стихи — в похвалу просвещению, а когда он кончил, консул трех соединенных республик: Алжирской, Мароккской и Триполийской — прочел оду в похвалу человеколюбию и правам собственности.

— Жаль, — сказал я, — что в наше время не думали об этом в варварийских владениях и почитали за особенную честь разбивать христианские корабли и мучить пленников.

— Все почти народы начинали политическое свое существование разбоями, — отвечал консул. — И ваши новгородские удалцы, и варяжские витязи были не лучше наших старинных деев.

Молодой ашантский путешественник велел подать гитару и пропел нам в свою очередь (также по-русски) эпизод из сочиняемой им поэмы: «*Просвещенная Африка*». Мне показалось странным, что все иностранцы не только говорили чисто по-русски, но даже сочиняли на нашем языке стихи и декламировали. Президент Камчатской академии изъяснил мне это.

— Люди вообще любят во всем разнообразие, — сказал он, — и суетность вымышляет различные обычаи для; угождения различным вкусам. В наше время арабский язык употребляется в дипломатике и в легких разговорах с дамами. Русский язык, без

всякого сомнения, первый в мире по своему сладкозвучию, богатству и легкости словосочинения, есть язык поэзии и литературы во всех странах земного шара. Для точных наук у нас есть также особенный *всемирный язык*(*), а именно — условные знаки, числа, буквы, означающие пространство и количество, и математические формулы. То самое, что знаменитый шведский ученый в ваше время, Берцеллий, хотел ввести в химию (то есть химические пропорции), ныне введено во все точные науки. Они преподаются у нас алгебраической методой, и то, что прежде изъяснялось целыми томами и множеством машин для произведения опытов, ныне объясняется одними теоремами или дилеммами. Зато у нас более аксиом, нежели у вас было предположений.

Наконец мы встали из-за стола; дамы перешли опять в другую комнату, а нам подали трубки с какой-то ароматической травой. Хозяин сказал мне, что эта трава производит противоположные действия табаку, то есть вовсе не имеет наркотического (снотворного) свойства, не кружит головы, помогает пищеварению и очищает мозг от винных паров.

По старой привычке после обеда я перешел к дамам, чтобы послушать красноречивых и пламенных суждений о шляпках и чепцах, также скромных пересудов о недостатках ближнего(**). Но я едва верил ушам моим, когда услышал, что матери разговаривали между собой о воспитании детей и о средствах к счастливой супружеской жизни. Старушки приводили различные примеры из светской жизни, в подкрепление полезных истин, а модные девицы говорили о литературе, о своих занятиях и о хозяйстве.

(*) Многие ученые пытались не в шутку составить особенный язык, для всех точных наук. У меня есть одно сочинение на итальянском языке о сем предмете.

(**) Знаменитый Шеридан не знал языка вежливости и назвал это попросту злословием.

Слуга поставил несколько столиков в середине комнаты, и я ожидал, что хозяйка станет раздавать карты, как водилось в наше время. По моему обыкновению, я собирался бежать из дому, потому что я всегда предпочитал сон или прогулку этому занятию, но, по счастью, вышло противное. Принесли газеты, ландкарты, новые эстампы; мужчины и дамы занялись чтением, рассматриванием картинок, разговорами, рассуждениями, и мы не заметили, как время пролетело.

Я особенно забавлялся рассматриванием географических карт, которые мне толковал президент Камчатской академии. Все места в Азии, Африке, Америке, Новой Голландии, которые в наше время означались на картах пустыми и ненаселенными, теперь испещрены были надписями городов и каналов. Возле полюсов изображены были большие острова, столь же населенные, как в наше время Франция. Кроме сего, меня удивило то, что все реки имели правильное направление наподобие каналов(*). Президент сказал мне, что все реки ныне сделаны судоходными: берега окопаны и проведены прямыми линиями для предохранения удобренных мест от наводнения и употребления большого пространства земли для хлебопашества, что каналам осушены все болота и установлено водное сообщение на целом земном шаре.

Между тем смерклось, и в одно мгновение все дома и улицы осветились газом. Эскимосский принц и глава купечества Алеутских островов предложили мне пойти с ними в театр; я с радостью согласился.

На улицах было столь же светло, как среди дня. Кроме бесчисленного множества фонарей на всех площадях сделаны были искусственные солнца, посредством отражения света в фантазмагорических фонарях особенного рода, сделанных из выпуклых и вдавленных зеркал.

(*). Как река Дюране во Франции

В театре помещалось до двадцати тысяч зрителей: он так был устроен, что во всех отдаленных углах слышно было каждое слово, произнесенное тихо на сцене. Декорации доведены были до такого совершенства, что я принимал все предметы за естественные; машины приводили в очарование как по изобретению, так и по быстроте. Представляли трагедию и оперу. Я не хочу распространяться об игре актеров и о музыке: скажу только, что я был в восхищении, и когда спросил главу купечества, отчего это происходит, что все актеры знают свое дело в превосходной степени, он мне отвечал: оттого, что ныне актеры учатся своему искусству не на сцене перед публикой, но появляются тогда только, когда достойны сей чести по своему таланту. Кроме того, я заметил, что в трагедии не наблюдалось ни единства места и времени, ни единообразное александрийское стихосложение, почитавшиеся в наше время неизменными условиями драматургии. Не знаю, по каким правилам была сочинена пьеса; знаю только, что она доставила мне душевное наслаждение изображением великих характеров, страстей, выбором происшествий и очаровательным языком поэзии

В антракте принц, разговаривая со мной о различных предметах, предложил мне отправиться с ним в его отечество, обещая мне вознаградить потерю моего имения, которого я не надеялся получить обратно после тысячи лет. Любопытство и обстоятельства заставили меня согласиться на его предложение, с условием, однако же, чтобы он доставил мне способы быть полезным обществу. Принц на другой день поутру возвращался в свое отечество.

Из театра мы зашли к профессору и я, поблагодарив его за мое спасение и за все вежливости, объявил о моем намерении, простился с его семейством и, обещая скоро возвратиться, поехал с принцем на ездовой машине в гавань, где шлюпка ожидала нас и перевезла на адмиральский корабль, которые великолепием уподоблялся огромной галантерейной игрушке. Принц ночным сигналом повелел флоту: к свету быть готовым сняться с якоря. Мне отведена была особенная каюта, и я заснул крепким сном,

утруженный необыкновенными ощущениями в продолжении целого дня. Надеюсь, что и читатели мои вздремлют немного при чтении сей статьи, а это также немаловажная услуга с моей стороны, потому что снотворные лекарства продаются дорогой ценой.

Принц эскимосский, получив до свету письма от Надежинского губернатора, должен был отвечать ему. Это нас удержало на рейде долее, нежели мы предполагали.

Между тем я занялся рассматриванием корабля. Он был сделан из медных листов, спаянных и скрепленных винтами. Воздушные пушки, гидравлические очистители, химическая кухня, отопляемая газом, и удобность доставать съестные припасы на дне морском были причиной, что корабль не был завален множеством тяжестей. В средней его части, между трюмом и палубой, устроена была огромная машина вроде часов, которая заводилась ключом, и — в случае безветрия или подводного плавания — приводила корабль в движение посредством четырех колес, прикрепляемых к осям снаружи. Мачты были складные и легкие.

Вышел на палубу, я чрезвычайно удивился, увидев множество людей, разгуливающих по морю без лодок, других ныряющих и выходящих из воды в полном одеянии, с корзинками, наполненными зеленью, устрицами, рыбами и прочими произведениями моря.

Толпы разносчиков окружили наши корабли, и я сошел в ялик, чтобы хорошенько осмотреть этих водоходов и водолазов. Они были одеты в ткани, непроницаемые для воды; на лице имели прозрачные роговые маски с колпаком. Каждый из них сидел верхом на узкой скамейке с четырьмя кривыми ножками(*), к которым приделано было по одному жестяному шару, наполненному воздухом. Под скамейкой прикреплено было колесо, которое вместо весел приводило ее в движение.

(*). Наподобие письменных скамеек в конторах.

К ногам водоходов привязаны были лопатки для управления машиной при поворотах. При каждой скамье плавал на веревке большой жестяной шар. Если надобно было опускаться на дно морское, этот шар наполняли водой, и тогда тяжесть его увлекала человека ко дну, когда же надлежало подниматься, то посредством архимедова винта, приделанного к шару, выливали из него воду, и скамья с человеком снова всплывала на поверхность. По обоим концам скамьи висели два кожаные мешка, наполненные воздухом, для дыхания под водой посредством трубок.

Я непременно хотел спуститься на дно и погулять по морю, но в это самое время начали сниматься с якоря. Ветер был самый попутный, и мы полетели стрелою по открытому морю.

На другой день мы находились на высоте Ледяного мыса. В наше время это был предел человеческих открытий за Беринговым проливом, и только немногие русские мореплаватели дерзали пускаться далее Кука в сих морях, запертых льдами от Севера. Здесь природа, погруженная в хладную дремоту, в наше время не производила ничего к услаждению человеческой жизни и была столь же сурова, как вечные льды и скалы. Теперь плодоносные деревья и виноград зеленелись на берегах; золотые куполы башен и храмов, великолепные здания и мачты корабельные в порте возвещали о цветущем состоянии сей страны.

Город на Ледяном мысе назывался *Куковым* открытием. Мы не имели времени здесь останавливаться; но принц, приметив мое любопытство, сказал мне, улыбаясь, что если я хочу видеть город, то он в минуту перенесет его на корабль, невзирая на то, что мы находимся от него в тридцати верстах. Тотчас подняли на высоту мачты камеру-обскуру с огромным телескопом: несколько впуклых и выпуклых зеркал в различных направлениях, отражая предметы с удивительной точностью, представили нам через темную трубу. целый город на столе (точно так, как в модели) с жителями, экипажами и всеми городскими занятиями. Я мог различить физиономии людей, представлявшихся в миниатюре, и по телодвижениям догадывался даже о предметах их разговоров.

Принц, желая более позабавиться на счет моего невежества, спросил, не хочу ли я подслушать, что говорят между собою в городе.

— Хотите ли знать, — сказал он, — что шепчет вот, например, эта пожилая женщина с молодым человеком в уединенной аллее сада?

— Очень рад, — отвечал я в шутку.

Принц велел подать свою слуховую трубу, после того измерил тригонометрически расстояние между кораблем и садом, между мною и говорящей парой, выдвинул несколько колец в слуховой трубе, остановил на известном числе градусов, в середине трубы зажег какой-то спирт, велел мне приложить ухо к узкому концу, и я через несколько минут почувствовал, что звук приближается и, наконец, явственно доходит до моего слуха. Почитаю излишним передавать читателям содержание разговора, слышанного мною в саду города Куково открытие. Все это случалось и в наше время: добрая и богатая старушка предлагала прелестному юноше свою любовь и богатство. Многие смеются, когда молодой человек женится на старухе, а по мне это кажется по крайней мере столь же смешно, как брак старика с девочкой лет пятнадцати.

По сродному мне любопытству, я просил истолковать мне действие слуховой трубы и усовершенствование оптики. Принц сказал:

— Человек стремится духом к бессмертию, умом возносится к престолу Вышнего, но на земле он не может иначе действовать, как посредством пяти чувств, то есть зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. И так для распространения круга действия нашего на земле и для увеличения наших наслаждений надлежало изобрести средства к усовершенствованию наших способностей и придать силу чувствам, вооружив их машинами, орудиями и укрепив химическими составами. Все орудия, употреблявшиеся в наше время: телескоп, зрительные и слуховые трубы, очки, лорнетки, барометры, термометры — были детскими

игрушками; ваши духи, сласти и все принадлежности гастрономии и косметики — жалкие опыты. Что же касается до чувства осязания, то оно вовсе не подлежало усовершению и даже не обращало на себя внимания. Время, опыт и поощрение ученых просвещенной публикой довели все первоначальные открытия до высочайшей степени совершенства, я вам тотчас покажу несколько образчиков.

Принц велел принести телескоп и спросил, вижу ли я что-нибудь на небе.

— Ничего, — отвечал я.

— Итак, поглядите.

Я посмотрел в телескоп на луну и увидел на ней города, крепости, горы, леса, — точно в таком виде, как представляются окрестности Страсбурга с башни Минстера(*). Животные двигались на луне, как муравьи, но невозможно было различить их формы и вида. Отдаленные неподвижные звезды казались солнцами во всем блеске, похожими на наше; удивительное множество планет в необыкновенной величине представлялось взорам и наполняло воздушное пространство.

В умилении я упал на колени пред великолепием создания. Принц повернул телескоп в открытое море, и пространство нескольких тысяч верст исчезло: цель нашего плавания, Полярная страна, показалась столь близко, что я невольно вздрогнул, воображая, что мы ударимся о берега. После этого принц подал мне свой лорнет, обнажил грудь и велел смотреть: я увидел кругообращение крови в жилах, отделение соков в лимфатических сосудах, действие воздуха в легком и весь механизм физической природы нашей, точно, как будто в стакане.

— Как бы хорошо было, — воскликнул я, — изобрести очки, через которые можно было бы видеть сердечные чувства!

(*). Высочайшая башня в Европе, называемая сим именем.

— Это можно видеть отчасти и теперь, — отвечал принц. — Например, если вы изъясняетесь в любви и кровь вашей возлюбленной бросается к сердцу, изливаясь из него постепенно и производя легкий трепет в нервах, — знак, что вы любимы. Быстрое излитие крови из сердца — означает гнев, а естественное кругообращение — равнодушие. Если кровь в человеке начинает волноваться при виде драгоценных камней, это признак корыстолюбия. Повествование о великих подвигах, о высоких чувствованиях в благородном человеке столь сильно волнует кровь, что даже потрясает голодную нервную систему, — в другом не производят ни малейшей перемены. Одним словом, по внутреннему движению крови весьма легко узнавать то, что не обнаруживается на лице и словами. Часто самый и хладнокровный и нечувствительный человек представляется воспламененным, когда видит в том свои выгоды; весьма часто пламенная душа скрывает свои чувствования между людьми, не умеющими ни ценить, ни понимать ее. Старые пословицы вообще справедливы и недаром говорят: наружность обманчива.

— Усовершенствование увеличительных стекол мне несколько понятно, — сказал я, — но каким образом вы дошли до того, чтобы слышать верст за пятьдесят? Вот это мудрено!

— Нимало, — отвечал принц. — В ваше время полагали, что звук есть не что иное, как сотрясение воздуха от удара двух однородных или разнородных тел. Эта теория пережила много столетий, потому что не нашли ничего удовлетворительнее для объяснения сего явления. В наше время открыли, что звук есть особенное свойство каждого тела, так, как тяжесть, притяжение, химическое сродство (affinite) однородных частиц, ноздреватость и прочее. Не страшно ли думать, что изменение звуков, бас, дискант, тенор и другие тоны производятся воздухом от одного сотрясения его различными веществами. Основываясь на этом, толстые и большие массы какого бы ни было вещества должныствовали бы всегда раздаваться с басом, а маленькие части дискантом. Опыты доказывают противное: большая или малая масса серебра или другого звонкого металла всегда издает звуки

тоньше и громче, нежели большие куски железа или камня; следовательно, различие в звуке есть их свойство внутреннее. Падение огромной массы, ударяя в воздух, издает собственные звуки и исторгает звук из воздуха. Но это только служит доказательством, что воздух, как всякое тело, имеет свой собственный звук, который свистит в вихре, гремит в медленном трении паров и атмосферы и стучит от внезапного удара. Музыка, голос человека и некоторых животных подвержены другим законам. Гармония и речения или слова суть взаимное сочетание соответственных звуков, которые исходят из тел, точно так же, как воздух в виде пузырьков, и прежде всего ударяются в тела нежные, оживленные, гармонические. Между сими телами и звуками есть род магнетического влечения, и чем лучше создан человек, тем живее чувствует прелесть гармонии. Воздух только переносит звуки, и если расстояние велико, то придавляет их своей тяжестью. Бесконечное разложение тел химическим процессом на газы довело до того, что из звуков извлечен также газ, который при горении привлекает их к себе верст за пятьдесят.

— Чудесно! — воскликнул я.

— Точно так же чудесно, как все в природе, — отвечал принц. — Всякая вещь, которая нам кажется самой обыкновенной, столь же премудро создана, как и самая непостижимая для нас; разница состоит в нашем понятии, а не в самом предмете. Например, одно создание воды, воздуха или света есть уже величайшее чудо; но мы сему не удивляемся, потому что видим их и пользуемся ими всякий день; напротив того, восхищаемся фейерверком или фокус-покусом!

— Правда, — сказал я. — Но позвольте мне увидеть опыты над усовершенствованием вкуса: в старые годы я любил полакомиться и хороший стол при гостеприимстве всегда почитал отличным качеством богатого человека.

Принц отложил это до обеда и в самом деле угостил меня так, что у меня и теперь во рту чешется при одном воспоминании

о разных кушаньях, которые по несколько раз изменяли вкус от нескольких капель каких-то бульонов.

После обеда принц сжег ароматический порошок, которого благовоние до такой степени восхитило меня, что все нервы во мне затрепетали от радости, ум воспламенился, и я в первый раз в жизни заговорил стихами.

Наступило последнее испытание: принц велел мне натереть руки благовонной помадой, чрез полчаса осязание мое сделалось столь нежно, что я тотчас научился различать цвета одним прикосновением, и сделался столь щекотлив, что хохотал во все горло — от одного дуновения ветра.

Наконец мы вступили в Полярный Архипелаг. В самом виду берегов барометр показал приближение бури. Принц тотчас повелел флоту спуститься на дно морское. В одно мгновение мачты убрали, прикрепили колеса, закрыли все люки, исключая несколько отверстий с клапанами для впускания воды в особую переборку в трюме, и корабль начал опускаться на дно морское. Достигнув известной глубины, закрыли клапаны, завели машину, и корабль быстро пошел вперед. Внутри было довольно светло, и я не чувствовал никакой тягости в дыхании: воздухохранительная и воздухоочистительная машины были в беспрестанном движении. Я не отходил от окна и наслаждался новым зрелищем. Рыбы и морские животные стадами кружились возле корабля, и стоило только бросить сеть, чтобы достать запаса на целый год.

Между тем колебание моря сделалось ощутительным под водой, и принц велел выстрелить из духовой пушки для сигнала, чтобы остановиться на якоре. Все суда повторили выстрелы и бросили якоря.

Наш корабль остановился возле подводной плантации, принадлежавшей богатому жителю полярных стран. Мне весьма хотелось осмотреть этот новый род недвижимого имущества на дне морском, принадлежавшего в наше время тюленям, ракам и устрицам. Принц велел меня нарядить в воздушное платье, снабдил двумя мешками воздуха и, посадив на водоходную

скамейку, научил ею действовать. Он не забыл дать мне в проводники искусного водолаза. Когда я был готов в путь, меня поставили близ дверей, быстро их отперли, вытолкнули вместе с проводником в воду и тотчас заперли двери.

Опускаясь на дно морское, я увидел, что оно было разделено каменными заборами, а в иных местах столбами с надписями, означающими границы владельцев, и усеяно пирамидальными строениями. Проводник сказал мне, что это подводные дома, вроде наших ферм или хуторов, где работники и хозяева отдыхают после трудов или прогулки. Кругом были огороды морских растений и огромные четверугольные каменные строения с железной решеткой вместо крышки. Я взглянул в некоторые из них и увидел, что это садки или подводные зверинцы, наполненные разнородными рыбами, водоземными животными, устрицами и проч.

Вдруг из одной пирамиды раздался звук колокола. Проводник сказал мне, что это знак приглашения, и мы поспешили к дверцам, находившимся у самого подножия: они растворились, и мы вошли в средину. В нижнем этаже было на несколько футов воды, которую механическая помпа беспрестанно выкачивала. Мы слезли со скамеек и пошли по лестнице во второй этаж, назначенный для отдохновения работников; здесь вовсе не было волны, равно как и в третьем, великолепно убранном, где находился сам хозяин с несколькими приятелями. Узнав, кто я таков, хозяин повел меня по комнатам, показал мне весь механизм подводных зданий и растолковал, каким образом их строят. На самом крепком фундаменте складывают пирамиду из огромных четверугольных камней, скрепляя их железными полосами и свинцом; окна делаются из толстого стекла с железными решетками. Когда строение кончено, тогда выкачивают из средины воду и проводят по дну медные трубы для выпуска воздуха. Трубы сии выходят на поверхность воды возле берега, а в открытом море воздвигается для сего нарочно одна пирамида, возвышающаяся над водой, где сходятся все трубы подводных строений. Воздушные насосы способствуют кругообращению атмосферы, и я на опыте узнал,

что в сих подводных жилищах воздух даже гораздо чище, нежели вверху.

Побеседовав несколько с хозяином дома и его приятелями, я возвратился на корабль. Между тем буря прошла, и принц повелел флоту подниматься. Тотчас привели в действие механические насосы; корабль, по мере убавления воды в трюме, поднимался и вскоре всплыл на поверхность моря. Все пришло в прежний порядок, и чрез полчаса мы бросили якорь на рейде города *Парри*, столицы Полярной империи.

Принц взял меня с собой в город, и я здесь гораздо более изумился, нежели в Надежине. Здесь все дома построены были из толстых масс самого чистого стекла. Стены покрыты были разноцветными барельефами и, отражаясь на солнце, казались объятными пламенем. Прелестные стеклянные портики, храмы и великолепные здания с цветными колоннами на каждом шагу привлекали и восхищали мои взоры. Мостовая сделана была из блестящего металла, подобного цинку. Принц, хотя озабоченный приветствиями веселого народа, стремившегося к нему навстречу, приметил мое удивление.

— Вам кажется странным, — сказал он, — что вы не видите здесь чугунных строений, как в Надежине. Мы не имеем много железа и вместо того, чтобы употреблять иностранные произведения, пользуемся отечественной промышленностью. Наши горы изобилуют веществами для делания стекла, и как его весьма удобно извлекать из земли посредством огня, то мы перетопили целые скалы в стекло усиленным действием светородного тела и с небольшим трудом имеем самый прочный, лучший материал для строения. Стеклянные дома просты, красивы, не подвержены пожарам, сырости и согреваются весьма скоро малым количеством газа.

Проходя мимо лавок, я увидел, что каждый почти купец занимался чтением книги или газеты. Ездовые машины были здесь в таком же употреблении, как в Надежине, кроме того, множество людей бегало по улицам в беговых калошах. Это не что иное, как

железные башмаки с пружинами и колесами под подошвами: когда их заводили, то они катились сами собой, и пешеход столь же быстро на них переносился с места на место, как на коньках, ускоряя и останавливая по произволу действие машины. Принц должен был поспешать к своему отцу с рапортом о благополучном возвращении флота. Я в это время хотел погулять по городу с одним из его адъютантов.

— Видите ли вы это строение на правой стороне? — сказал принц. — Это библиотека для чтения. Зная, что вы охотник до этого занятия, назначаю вам здесь через два часа свидание.

У дверей библиотеки меня встретил дежурный чиновник и ввел в комнаты. Адъютант предупредил дежурного, что я пришелец из XIX века, и чиновник, осмотрев меня с любопытством с головы до ног, предложил мне свои услуги для показания всего, находящегося в этом хранилище.

Я увидел здесь две машины, вроде органов, с множеством колес и цилиндров, они показались мне чрезвычайно многосложными мой проводник растолковал мне их употребление. Это были: машина для *делания стихов* и машина для *прозы*. При мне сделано было несколько опытов, и я постараюсь моим читателям растолковать этот механизм, сколько я успел понять с первого взгляда.

Проводник мой выдвинул ящик, в котором находились маленькие четверугольные косточки, наподобие употребляемых в игре домино, на них были написаны разные слова. Он, без всякого порядка, всыпал несколько пригоршней слов в ящик, под которым устроены были клавиши. После того уложил на шахматной носке рифмы, завел машину — и пошла работа! Кузнечный мех, сжимаемый цилиндром, дул в ящик со словами, которые, побрякивая от действия ветра, выскакивали на шахматную доску в такт, под музыку. Через полчаса машина остановилась, и я прочел стихи, в которых нашел все слова на своем месте меру, гармонию в стихах и богатые рифмы, — одним

словом все, кроме здравого смысла и цели, точно так же, как в стихотворениях наших поэтов, которые страсть подбирать рифмы почитают вдохновением, а похвалу приятелей — достоинством.

Машина для делания прозы, хотя устроена была точно таким же образом, но отличалась тем, что для определения тактов имела трубу и барабан, а не фортепьяно, и что на косточках написаны были не одни только слова, но даже целые предложения и мысли, выбранные из разных авторов.

— Нельзя ли сочинить что-нибудь на заданный предмет? — спросил я.

— Очень можно, — отвечал мой проводник, — что вам угодно?

Тут я хотел привести в затруднение проводника и доказать неудобство сочинительных машин. Я избрал предметом сочинения описание моей родины, любопытствуя, каким образом машина отделается от этой задачи и опишет место не виданное и, может быть, не слыханное ни одним из жителей полярных стран.

Проводник достал с полки словарь древней географии, отыскал в нем название моего отечественного города, подобрал написанные на косточках предложения, сходные с книгой, взял принадлежащие к описанию собственные имена, множество прилагательных, несколько вспомогательных глаголов и кучу готовых предложений, бросил все это в ящик, пустил пружину, барабан ударил поход, труба заиграла марш, и косточки начали сыпаться.

Представьте себе мое удивление, когда чрез полчаса вышло довольно подробное описание города, в котором я родился. С первого взгляда показалось мне, что оно не уступает произведениям посредственных умов; но прочитав со вниманием, я тотчас заметил напыщенность, пошлые изречения, чужие мысли и недостаток связи с целым, которые обнаруживали действие машины, а не ума.

— Весьма жаль, — сказал я, — что в наше время не знали этого изобретения; оно бы послужило в пользу весьма многим бесталанным головушкам.

— Оно было известно в ваше время, — отвечал мне проводник, — но сохранялось втайне между пишущей братией и переходило, как наследственный секрет, от безграмотного к бестолковому и обратно. Впоследствии это изобретение усовершенствовано, а теперь вовсе не употребляется и хранится только для любопытных.

Наконец, пришел принц; он велел мне за собою следовать и повел на обед к одному купцу, жившему в соседстве, сказать, что на другой день представит меня своему родителю, который теперь не очень здоров.

Я воображал, что у купца, к которому идет обедать принц, увижу величайшую роскошь и богатство. Комнаты убраны были чисто. Я удивился, увидев у купца библиотеку и на стене множество карт и журналов. В наше время это была бы такая редкость, о которой не преминули бы написать в газетах. Жена его и дети одеты были также очень просто и не были обременены драгоценностями, которые иногда составляют все достоинство их властителей и каждому покупщику припоминают его передачу при покупке. Я не стану утруждать моих читателей описанием нашего обеда и препровождения времени: скажу только, что я был восхищен умом и обширными познаниями купца в политической экономии, в статистике разных стран, в технологии и других науках, необходимых для негоцианта. Жена и дочери своей скромностью и любезностью очаровали меня, а старший сын вовсе не показывал в себе того высокомерия, презрения к наукам и душевного разврата, которые порождает богатство, если оно не соединено с образованием и рачительным воспитанием.

Возвратившись в жилище принца, я отдохнул несколько в моей комнате и занялся было рассматриванием исторических картин, как вдруг меня позвали в кабинет к принцу. Я застал там короля полярных стран, почтенного старца, на лице которого изображалась душевная доброта и во взорах видна была какая-то необыкновенная проницательность. С ним было несколько министров и первостепенных ученых.

Король велел мне сесть и более двух часов расспрашивал о различных предметах относительно правления, образа жизни, торговли, мануфактур и просвещения в нашем XIX веке. Он, кажется, был доволен моими ответами и спросил меня: хочу ли я остаться здесь или возвратиться в мой отечественный город, Петербург? Я просил его исполнить последнее.

— Итак, я поручаю тебе должность моего литературного корреспондента в сей столице просвещения, — сказал король, — и прикажу доставить тебе средства жить безбедно в твоём отечестве. Завтра отлетает отсюда воздушный дилижанс, и ты можешь отправиться.

Я поблагодарил доброго короля, и он вышел, оставив меня с принцем.

— Теперь, любезный странник, — сказал мне он, — ты можешь осмотреть любопытнейшие предметы в городе и вовсе не заботиться об отъезде: все будет готово и устроено, а между тем этот господин, — примолвил он, указывая на своего секретаря, — будет сопутствовать тебе в твоих прогулках по городу. До свидания!

Пройдя чрез несколько улиц, я остановился перед одним огромным строением.

— Это суд, — сказал мне мой проводник.

— Итак, при всем вашем просвещении и успехах в науках, — сказал я, — вы не успели истребить процессов?

— Это совершенная невозможность, — отвечал мой товарищ, — ибо пока между людьми будет мое и твое, до тех пор будут тяжбы.

Мы вошли в огромную залу, наполненную слушателями. Адвокат с возвышенного места говорил речь, и как я не слышал начала, то и продолжение было для меня не любопытно.

Я просил моего проводника показать мне канцелярию. Мне хотелось увидеть канцелярский порядок, который в наше время составлял важную часть судопроизводства.

Мы прошли в боковую залу: там, за большим столом, сидело несколько секретарей, а вместо писцов и переписчиков кругом стояли писательные машины. Я попросил показать мне действие сего механизма, и секретарь, взяв лист писаной бумаги, положил его между двумя вальками, пустил пружину, и машина пришла в движение. На один валеk наворачивалась белая бумага, окропляемая сверху какой-то химической жидкостью, а другой валеk свертывал отпечатки. Через несколько минут более двух тысяч оттисков было готово. Мне чрезвычайно понравилось это изобретение: во-первых, потому, что такая машина всегда исправна в должности и не обременительна для просителей; во-вторых, что она не разгласит канцелярской тайны, и, наконец, в-третьих, что она работает тогда, как нужно, а не тогда, как заблагорассудится, и не отговаривается ни болезнью, ни домашними обстоятельствами. Не говорю уже о скорости течения дел, единственном желании правых и грозе виновных.

Из суда проводник мой повел меня в дом общего воспитания. Здесь все дети бедных и богатых граждан получают первоначальные познания в науках и нравственности по одной методе и под надзором правительства. Оттуда юноши поступают в университеты и, окончив полный курс, выходят в свет.

— Неужели у вас нет частных пансионов, гувернеров и воспитателей по ремеслу? — спросил я моего проводника. Он не понял меня, и я должен был ему растолковать что в наше время был народ воспитателей, из которого иногда простой гренадер, взятый в плен, или бедный ремесленник, не зная почти грамоты, воспитывали в другой земле княжат и графов и что часто некоторые женщины, после размолвки с полицией, оставляли свое отечество, чтобы в отдалении заняться новым ремеслом воспитательниц.

— Верно, этот народ воспитателей был одарен от природы величайшими способностями, — сказал секретарь принца, — точно так же, как народ учащихся был ею обижен; иначе нельзя предполагать, чтобы невежа мог учить детей отца образованного.

— Это действие моды, а не природы, — отвечал я. При сих словах проводник мой расхохотался до такой степени, что я боялся болезненного припадка.

— Как! — воскликнул он. — Поверять воспитание пришельцам из одной моды! Вот это удивительно!

Между тем вы вышли на крыльцо всеобщей школы, и я доволен был прекращением разговора, который заставлял меня краснеть за чужие странности.

В классах наблюдалась величайшая тишина. Дети бедных и богатых одеты были одинаковым образом: это самое отдаляло от юных сердец чувства зависти и кичливости. Вверху зал были галереи с решетками, где находились посетители и родственники, которые по временам навещали сие заведение без ведома учителей и детей, чтобы без всяких приготовлений с их стороны осведомляться об их успехах в науках. Все отрасли человеческих познаний в первоначальных классах преподавались по усовершенствованной и легкой методе.

На женской половине был тот же порядок. Мы посетили высший класс и вместо профессора увидели на кафедре прекрасную даму средних лет, которая читала курс семейственных обязанностей. Наконец, классы кончились, и мы возвратились во дворец к обеду.

Непредвиденные обстоятельства заставили воздушный дилижанс отправиться в тот же вечер; итак, я, распротясь с принцем и получив кредитивную грамоту, поспешил на воздушную пристань. Там ожидал меня адъютант короля, который представил мне от его имени подарок: два огромные дубовые бревна. Это было то же самое, если б в наше время подарить два слитка чистого золота такой же величины. Я просил изъявить мою душевную благодарность доброму государю, взобрался на плашкот и чрез полчаса полетел в Россию.

Мы были в пути двое суток. Земля представлялась мне сверху, как географическая карта, с оттенками лесов, вод и городов. На третье утро мы увидели Финский залив, Кронштадт и

Петербург и продолжали полет свой несколько ниже. Сердце мое трепетало от радости при виде золотых крыш, строений и возвышенных шпилей храмов, и башен отечественного города Пространство его изумило меня: до самой Пулковской горы, по морскому берегу и далеко внутрь земли, расположены были широкие улицы и огромные здания. На горе возвышался обелиск в виде египетской пирамиды. Мне сказали, что это памятник великих воспоминаний XIX столетия.

Наконец воздушный дилижанс опустился, и я, облобызав отечественную землю, пошел в город искать для себя квартиру

Здесь рукопись, писанная на новоземлянском языке, кончается, и начинается второе отделение на языке, которого доселе мы разобрать не успели. По примеру Шамполиона, разгадавшего смысл египетских иероглифов, мы постараемся узнать содержание сей рукописи и тогда сообщим оное нашим читателям. До тех пор просим их не верить, если бы кто вздумал объявлять о переводе оной, потому что сия рукопись хранится у нас одних и в таком сокровенном месте, что ее невозможно достать без нашего позволения.

Невероятные небылицы, или Путешествие к средоточию Земли

— Как вы думаете, Архип Фаддеевич, неужели наша земля обитаема только на поверхности?

— Почему знать! — отвечал он. — Наши ученые обыкновенно занимаются более отвлеченностями, стараются заглянуть за пределы Сириуса и не смотреть себе под ноги.

— От того-то они так часто и падают! — отвечал я.

— Странно, — сказал Архип Фаддеевич, — что мы до сих пор не успели еще описать поверхности земли, исчислить всех полезных и вредных растений, описать животных, населяющих воды, поверхность и первую оболочку земли и атмосферы, не исследовали еще всех племен рода человеческого, а желаем постигнуть, как и из чего создана земля! Начиная от египетских жрецов, которые первые старались истолковать непонятные феномены, все мудрецы блуждали в сем лабиринте. Но что значит ум человеческий пред единым мановением воли Создателя!

Одна только гордость наша влечет нас к разрешению тайн творения, которые останутся навсегда непроницаемыми. Могут ли люди верить мудрецам, когда каждый из них доказывает мнение противоположное? Фалес, следуя египтянам, полагал воду первородным материалом земли, а Зенон — огонь. Согласись, что мудро понять, чтоб одно и то же вещество могло произойти от разнородных стихий.

Бурнет, Бюффон, Гюттон, Ньютон, Вейтгорст и другие философы равно заблуждались в мечтаниях; наконец, Сосюр и Вернер, отбросив гипотезы, занялись исследованием одной оболочки или, так сказать, коры земной, подлежащей осязаемым опытам.

Несколько сот сажен под землею и столько же вверх — вот предел нашей надменной премудрости, которая стремится к

открытиям и толкованиям непроницаемого и неисповедимого. Как же ты хочешь знать о средоточии Земли!

— Но нельзя ли что-нибудь составить из предположений, из теории вероятностей, — сказал я.

— Самая достоверная вещь из теории вероятностей есть то, что люди, руководствуемые одним своим рассудком, беспрестанно ошибаются в нравственных и физических изысканиях, и потому не должно стремиться за пределы возможного — не смотреть беспрестанно вверх, чтобы на земле не сломать себе шеи и не рыться всегда в земле, чтобы не сделаться самому ископаемым. *Est nobis in rebus*, любезный друг! Отвлеченности должны основываться на опытах, опыты должны облагораживаться отвлеченностями.

Разговор наш скоро прекратился, потому что мы беседовали на Невском проспекте. Чрез два дня Архип Фаддеевич прислал ко мне рукопись, при письме, которые сообщаю моим читателям, ибо я привык разделять с ними все мои умственные наслаждения.

ПИСЬМО АРХИПА ФАДДЕЕВИЧА

«Пришедши домой после нашего последнего свидания, я вспомнил, что у меня хранится рукопись неизвестного автора, купленная мною некогда за семь гривен у разносчика книг в Москве. Она удовлетворит твоему любопытству, в рассуждении средоточия Земли в таком отношении, как ты желал. Повествование это похоже на *Не любо — не слушай, а лгать не мешай*; однако ж кое-что похоже и на правду. Прочти и суди сам.»

Рукопись.

Бурею занесло нас к Новой Земле. Когда ветер утих, капитан послал меня в шлюпке на берег, осмотреть, нет ли где поблизости пресной воды. Я с двумя матросами взобрался на

вершину одной горы, чтоб оттуда взглянуть на окрестности. У подножия большого камня приметил я отверстие или пещеру и вошел в нее, чтобы посмотреть, нет ли там источника.

Один матрос следовал за мною. Лишь только я сделал несколько шагов, земля обрушилась подо мною, и я стремглав покатился вниз. От страха я потерял память, и когда пришел в себя, то находился во мраке и чувствовал возле себя что-то движущееся. Это был мой Джон, матрос, вошедший со мною в пещеру. Он сохранил все присутствие духа во время падения и сказал мне, что мы катились по мягкому песку чрезвычайно долго, по крайней мере сутки. У него было в кармане огниво и огарок восковой свечи. Мы засветили огонь и крайне изумились, увидев, что находимся в пещере, которой не видели конца ни в одну сторону. Земля покрыта была травой и деревьями белого цвета (*), а в нескольких шагах от нас протекал источник чистой воды. Утолив жажду и голод плодами довольно вкусными, вроде трюфелей, мы набрали смолистых сучьев и с зажженными пуками пошли вперед по берегу источника.

Через несколько времени увидели мы несколько землянок, обитаемых животными, которые привели нас в страх. Они были похожи на пауков, с большими брюхами, на коротких ногах, с двумя руками и весьма малою головою.

Они подняли крик при виде света и скрылись в своих подземельях.

(*)Во время первого путешествия капитана Парри в полярные страны он разводил там кресс, который хотя вырос без влияния солнечных лучей, но был белого цвета. Стебли растений в земле также белы. Соч.

Зная, что рано или поздно мне должно будет встретиться с теми животными, я презрел всякую опасность и, вынув свой кортик, осмелился войти в землянку. Одно из этих животных встретило меня у входа и, к величайшему моему удивлению, заговорило на языке турецком с примесью испанских итальянских слов. Путешествуя долго на Востоке и по Западной Европе, я понял довольно хорошо речь оратора, который спрашивал меня: кто я, откуда пришел, зачем и что значит это вещество (огонь), нестерпимое для их взоров?

Пытаясь говорить на всех известных мне языках, я наконец успел растолковать, что я житель поверхности земли, называюсь человеком, нечаянно провалился в эту страну, и что вещество, освещающее меня, есть огонь или свет, без коего я не могу видеть предметов во мраке. Я, со своей стороны, предложил также вопросы, на которые животное отвечало мне, чревоушательным голосом, следующее: — Мы не знали, что есть над нами поверхность земли, обитаемая подобно ее внутренности. Страна наша называется Игноранциею, а жители игнорантами. Мы не знаем употребления вещества, называемого вами огнем или светом, и, хотя имеем едва приметные глаза, но видим очень хорошо предметы, необходимые для пищи. Природа весьма к нам щедра: у нас множество разных плодов и растений для нашего пропитания, и это составляет также главнейшее наше упражнение. Сделайте милость, спрячьте ваш свет: мы не можем на него смотреть, а я между тем пойду успокоить жителей города на ваш счет. Будьте спокойны: мы вам не сделаем никакого зла.

Я потушил огонь и остался во мраке, следуя правилу, что для собственного спокойствия должно сообразоваться с нравами и обычаями жителей той страны, где мы находимся.

Во время отсутствия хозяина окружило меня его семейство и начало обременять вопросами.

— Есть ли у вас женщины? — спросила одна, по видимому, хозяйка.

— И прелестные! — отвечал я.

— Добры ли они, нежны ли и верны своим мужьям? — спросил мужской голос.

Я люблю говорить правду только в глаза и потому описал наших женщин самыми блестящими красками и сказал, что они тихи как вода, постоянны как мрак и нежны к мужьям как человек к пище. Я должен был сообразоваться с понятиями окружавших меня и потому уподоблял прекрасный пол с виденными мною предметами и слышанными о склонностях игнорантов.

— Любят ли ваши женщины наряды? — спросил тоненький голосок.

— Только из одной пристойности, — отвечал я, думая, что мои слушатели не приметят во мраке, что я покраснел, а позабыл при том, что они видят и без света. Я в этом случае похож был на страуса, который, спрятав голову под крыло, воображает, что его никто не видит, или, лучше сказать, на луна, который думает, что без свидетелей можно лгать безбоязненно.

— Вы счастливее нас, — проворчал басом некто, вероятно, несчастный муж. — Наши женщины легкомысленны, непостоянны и все свое счастье поставляют в нарядах!

— Позвольте усомниться! — отвечал я и в то же время услышал приятный шепот женского пола:

— Как он мил! как любезен!

Между тем мой Джон, который во все это время молчал и держался за полу моего платья, сказал мне:

— Я не постигаю, каким образом вы можете изъясняться с этими животными; но вижу, что мы, по крайней мере, не умрем здесь с голоду, ибо, судя по желудкам сих подземных жителей, должно полагать, что они имеют хороший аппетит. Попросите у них какого-нибудь крепкого напитку: это освежит мои силы.

Лишь только я объявил о желании моего, товарища, женщины принесли целую корзину вкусных плодов и огромную глиняную красоулю с напитком, похожим на ром.

Когда я спросил, каким образом его готовят, они мне отвечали, что это извлечение из трав, или экстракт, составляющий любимое наслаждение игнорантов.

Матрос мой нашел этот напиток чрезвычайно вкусным и сознался, что игноранты весьма умные люди, ибо поставляют счастье в пищу и питье. В доказательство своего собственного ума он так накушался, что заснул на месте, сказав, что во мраке приличнее всего спать, чтобы излишнею деятельностью не сломать себе шеи.

В это время хозяин возвратился и объявил мне, что городское общество положило в своем совете дать мне квартиру в его доме и кормить меня с моим товарищем на счет города, пока мы не изберем себе рода жизни.

— Это очень умно, — сказал я, — и я начинаю получать весьма выгодные впечатления насчет вашего просвещения.

— А что такое просвещение? — спросил меня хозяин.

— Науки, литература, художества, законы и проч., и проч., и проч.

Но мой хозяин не понимал меня и просил растолковать. Когда я с великим трудом успел изъяснить ему, что такое просвещение, то целое семейство захохотало во все горло, и хозяин сказал мне, что игноранты не знают других наук и искусств, кроме умения есть, пить, спать и беседовать о вчерашнем и завтрашнем, о погоде, женщинах, нарядах и т. п., и что высочайшая степень их премудрости состоит в игре в зерна, называемой чет и нечет.

— Однако ж ваши наряды требуют также искусства? — сказал я.

— Небольшого, — отвечал хозяин. — Вы видели, что наши женщины убираются в раковины, ткани из растений, совиные перья, крылья нетопырей, разноцветные камешки и т. п. Главное дело состоит в разнообразии и пестроте.

— Это почти то же, что и у нас, — подумал я.

Не стану описывать трехмесячного моего пребывания в Игноранции. Можно вообразить себе, какова была моя жизнь между народом, чуждым всякого просвещения, не знающим даже грамоты, который поставляет все благо в удовлетворении физических потребностей плодами, собираемыми без всякого труда. Напротив того, моему Джону чрезвычайно там понравилось, и он бы всегда там остался, если б необыкновенный случай не вывел нас из сей страны.

Я позабыл сказать, что у моего Джона уцелел топор, который он имел за поясом во время нашего падения. Я уговорил его выдолбить челнок из пня большого дерева. Он исполнил это за городом в лесу, при огне, и мы, к великому удивлению всех жителей, поплыли водою, по ручью, который был чрезвычайно быстр. Проехав несколько верст, почувствовали мы опасность, которой прежде не предвидели. Быстрота влекла нас с необыкновенною скоростью, и мы не могли никак управиться с челноком. Наконец оба весла сломались в одно время на крутом повороте, и нас помчалो на утес. Факел, сделанный нами из смолистого дерева, погас, и наш челнок попал в водоворот. Вот мы думали, что наше странствие кончилось навеки, но судьбе было угодно спасти бедняков. Открыв глаза, я увидел: что лежу на берегу шумной реки; кругом луга покрыты были светлою зеленью, и мерцание утра разливало на предметы слабый свет. Джон также спасся от гибели, и мы чрезвычайно обрадовались, что попали в страну, где не будем жить во мраке, подобно кротам. Поправившись от ужасного нашего приключения, мы пошли на гору, где приметили дым и увидели деревню, в которой домики похожи были на шалаши дикарей Северной Америки.

Неизбежная опасность делает смелым труса, а храброму сообщает какое-то хладнокровие в жизни и смерти. Я пошел прямо в деревню, не слушая Джона, который советовал мне подождать в кустах и высмотреть, с кем нам должно иметь дело. При входе в главную улицу, встретил я несколько животных, похожих на орангутангов, которые, увидев меня, с криком разбежались по

своим шалашам и выглядывали в окна с боязнью и любопытством. Толпа маленьких животных бежала издали за нами, точно так, как деревенские наши мальчишки бегают за медведем, водимым на цепи. Они бросали в нас палками и камнями. Такое приветствие не предвещало нам ничего доброго, но мы шли вперед: я вооруженный кортиком, а Джон топором, решившись, в случае нападения, защищаться до последней крайности.

Достигши большой площади, мы увидели толпу сих животных, вооруженных булавами и пиками, ожидавших нас в боевом порядке. Мы остановились и знаками изъясняли свои мирные намерения; тогда одно животное вышло из толпы, приблизилось к нам, протянуло голову, чтоб лучше рассмотреть нас своими малыми, чуть приметными глазами, и спросило меня грозным голосом на малайском наречии:

— Кто вы, откуда и зачем?

Я должен был отвечать то же, что игнорантам, и сказал(*):

— Мы люди, обитатели поверхности Земли, несчастным случаем провалились во внутренность нашей планеты и просим гостеприимства!

Вопрошающее меня животное улыбнулось и, оборотившись к своим, громко закричало:

— Эти животные называют себя людьми и просят гостеприимства.

— Неужели это люди?

— Какое странное создание!

— Люди, люди! — раздалось в толпе, и громкий хохот поднялся со всех сторон.

— Добро пожаловать, господа люди! — сказал прежний допросчик с громким смехом. — Мы обещаем вам гостеприимство и безопасность. Сказать правду, мы не знали, что есть другие люди, кроме нас, и почли было вас за диких зверей.

(*) Излишним считаю уведомить моих читателей, что я, живши долгое время в Индии, изучился малайскому языку.

— Но позвольте спросить, кто вы таковы и как называется эта страна?

— Страна называется Скотиния, а мы зовемся скотиниотами. Мы почитаем себя самыми умными, учеными и образованными из всех обитателей земного котла. Но об этом после, а теперь познакомьтесь с жителями столицы.

Мы приблизились к толпе, которая расступилась перед нами и составила круг. Всякий рассматривал нас с величайшим любопытством. Я заметил, что скотиниоты все вообще слабого зрения и почти не видят далее своего носа. Приближаясь к нам, они просили дозволения познакомиться с нами ошупью и, удивляясь всему строению нашего тела, самое большое внимание обращали на наши глаза, которые величиною своею казались им чрезвычайно безобразными. Глаза скотиниотов были не более булавочной головки, уши ослиные, рот во всю ширину лица, и рыльце наподобие обезьяньего. Тело покрыто было мягкою шерстью различных цветов; вместо одежды они носили шотландские передники и короткие плащи, покрывавшие только спину.

Между тем пока простой народ разглядывал нас в безмолвии, один знатный и богатый житель столицы хотел нас увидеть. Толпы раздались перед колесницею, запряженною двенадцатью сурками, которыми управлял сам господин, с большим искусством. Остановившись перед нами, он сошел с колесницы, отдал вожжи своему скороходу и, подошедши к нам, спросил:

— Знаете ли вы меня?

— Нет! — отвечал я.

— О, невежество! — воскликнул он. — Неужели до вас не достигла слава Дуриндоса, изобретателя двух новых паштетов и тринадцати соусов, плащей с гремушками, стоцветных фартуков, покровителя всех стихоплетов и прозолотов Скотинии, сочинителя сатирико-критико-прозаико-стихотворных произведений, который...

Дуриндос продолжал говорить около часа о своих достоинствах, исчислял сочинения, где ему напечатаны похвалы, имена своих клиентов — великих любомудров и едоков, и проч., и проч.

Пока он говорил, я рассматривал его вздернутую физиономию и одежду, обвешенную побрякушками и составленную из разноцветных лоскутков, и когда он кончил, то я, желая приобрести покровительство человека, у которого есть паштеты, соусы и приятели, подчинился обстоятельствам и сказал:

— Жаль, что вы прежде не объявили своего имени: оно гремит даже на поверхности земли, и я почитаю себя счастливым, что встретился с великим защитником всего малого и великого.

Этот комплимент столько обрадовал Дуриндоса, что он пригласил нас жить у себя в доме, обещая познакомить с целым городом и показать все, достойное любопытства.

Приступая к описанию виденного и слышанного мною во время краткого моего пребывания в Скотинии, я должен предупредить читателя, что смешное самохвальство, самонадеянность и невежество не суть отличительные черты одного моего хозяина Дуриндоса, но что это общий характер всех скотиниотов. Мне даже досадно, что я должен в таком виде представлять Дуриндоса, впрочем, человека доброго, человеколюбивого, гостеприимного, даже хлебосола. Боюсь, чтобы не почли меня неблагодарным; но общие черты характера целой породы не могут быть причтены в вину одному лицу. Одним словом: Дуриндос виновен только тем, что родился скотиниотом.

Он велел нам следовать за собою в свой дом. Мы вошли в его шалаш, который составлял только крышу над входом, а жилища устроены были под землю в норах и расположены весьма удобно, исключая одной неприятности, то есть недостатка окон. Стены обложены были деревом и украшены различными тканями. Зажгли ночники, и хозяин предложил нам подкрепить силы свои паштетом с трюфелями и вином, которое нам показалось очень вкусным. Вышедши на поверхность, я крайне удивился, видя все

то же самое мерцание, при каком я прибыл в Скотиную, невзирая на то, что уже прошло несколько часов. Дуриндос объяснил мне это, сказав:

— Вы пришли в город вскоре после первого восстания от сна, и теперь ровно полсуток.

— Как! — воскликнул я. — Неужели у вас никогда не бывает светлее?

— Никогда, — отвечал он, — ни светлее, ни темнее.

— Как вы разделяете свое время?

— Сном и едою: четыре обеда и три сна составляют сутки; трое суток неделю, двенадцать недель месяц, а двадцать четыре месяца год.

— Есть ли у вас какая машина для распределения и измерения времени? — спросил я.

— Без сомнения: у нас есть времяпроводники; посмотрите, если угодно.

Дуриндос велел подать скотиниотские часы. Это был прозрачный сосуд, из какого-то особенного металла, сделанный наподобие песочных часов и точно такого же механизма. Вся разница состояла в том, что вместо песка он наполнен был вином. На поверхности были отмечены двенадцать часов или эпох, составляющих скотиниотские сутки, а в нижней половине сосуда находился рожок или горлышко, чрез которое выпивалось вино постепенно после каждого часа, для предохранения сосуда от ржавчины; ибо этот металл имел такое свойство, что портился от одного вина и был невредим целые веки, если вино переменили часто.

— Дайте мне какое-нибудь понятие об астрономии и географии нашей страны и о степени ее просвещения! — сказал я.

— Г-м, г-м! — проворчал Дуриндос. — Это не мое дело; я хотя и все знаю, но предпочтительно занимаюсь изящным, то есть кушаньем, вином и критико-сатирико-прозаико-поэтическими трудами. К третьему обеду у меня будут многие ученые, а между

прочими, один философ и один гений-теорик — они вам объяснят все, что вам угодно: из скольких песчин составлена земля, где ее центр, что есть ум; решать, не запинаясь, что хорошо и что худо; истолкуют все, что от бесконечно малого до бесконечно великого. Но вот ударил колокол, прощайте! пора спать перед третьим обедом: это непреложный обычай Скотинии.

Я сам имел нужду в отдохновении после всего мною претерпенного и потому, убравшись в мою нору с Джоном, заснул крепким сном, продолжавшимся до самого обеда. Хозяин сам разбудил меня и ввел в столовую, где находилось человек тридцать гостей разного звания, а между ними с десятков разумников Скотинии. Видно, что Дуриндос счел меня за ученого, судя по моему вопросу об астрономии и географии: ученые скотиниоты тотчас окружили меня и начали рекомендоваться таким образом, что если бы между нашими учеными кто стал говорить так о себе самом, то его, наверное, почли бы за сумасшедшего.

Малый человек, вроде альбиноса, с мусикийским орудием за плечами, которого я счел гуслистом, первый подошел ко мне и сказал громким, звонким голосом:

— Знаете, милой мой, что я первый здесь философ, первый мыслитель. Я первый возжег светильник философии и около двух лет тружусь, хотя не постоянно, над сооружением памятника моему величию, то есть сочиняю книгу, которая будет заключать в себе всю премудрость веков прошедших, настоящего и будущего времени. Правда, что надо мною смеются и называют меня шутком, но зато я сержусь больно, бранюсь и сочиняю музыку для романсов и песен, которые превозносятся в кругу моих родных столько же, как и моя философия. Ах! если бы вы читали мои творения, заключающиеся в нескольких статейках, и сравнили с сочинениями, вышедшими в свет прежде моих, вы удостоверились бы, что все у меня заимствовано. Жаль, что я молод, а то бы...

Молодой гуслист-философ продолжал говорить, а между тем другой взял меня за руку, повернул к себе и начал душить свою речью:

— Нуте, сударь, нуте, скажите-ка, видали ль вы на поверхности земли человека, который бы, отроду ничему не учившись, все знал, все решил, обо всем судил — и сделался всеобщим литературным самоучителем или письмовником. Это я, сударь, я! Да посмотрите на меня. До моего появления в свете ничего не было порядочного, и я, подобно флюгеру, показывающему направление ветра, объявляю мнение всех скотиниотов о разных предметах.

Он хотел говорить более, но слуга возгласил, что кушанье подано, и мой ученый, сказав: «Счастливо оставаться», бросился за стол. Хозяин посадил меня между собою и каким-то старичком. Сначала, пока гости утоляли голод и жажду, царствовала в собрании тишина, и я воспользовался этим временем, чтобы расспросить старичка о некоторых занимательных для меня предметах.

— Откуда проникает свет в Скотинию? — спросил я старика. — Как обширна ваша страна и с чем граничит?

— Вид нашей страны уподобляется котлу с крышею, — отвечал старик. — Окружность Скотинии простирается на 300 000 шагов (около 200 верст), высота неизмерима. Жителей считается у нас до 17 000. В самой середине Скотинии, шагах в тысяче отсюда, находится огромное жерло или пучина, откуда исходит теплота и свет. Никто не исследовал поныне причины сего явления, и невзирая на то, что жерло сие есть источник плодородия и самой жизни нашей, ученые крайне не любят его за то, что не понимают его действия.

— Ах, государь мой! — продолжал старик. — Вся наша беда происходит от этих господ, называющих себя мыслителями, которые беспрестанно ссорятся между собою за превосходство своего зрения, хотя наша порода вообще близорука. Каждый из них хочет иметь своих приверженцев; они беспрестанно говорят и

пишут вздор и, желая доказать силу своих глаз, не употребляют нарочно огня или света, пишут впотьмах, наобум, и от этого сцепления букв происходит совершенная нелепица, которую они выдают нам за приговоры мудрости. По несчастью, эти мыслители у нас размножились, а что хуже всего, это их раздражительность, которая, при малейшем противоречии, доходит до бешенства. Берегитесь спорить с ними, а не то они наговорят вам грубостей.

Я поблагодарил моего соседа за предостережение и спросил его:

— С кем имею честь говорить?

— Я один из числа судей сего города, — отвечал сосед (*).

— То есть вы законоискусник? — промолвил я.

— Извините, — возразил сосед, — я вовсе не знаю законов.

— Как же вы судите дела? — спросил я с удивлением.

— Я загадываю о деле и после того играю в бирюльки, — сказал скотиниот, — когда разберу бирюльки, то дело правое, а не разберу — не правое.

— Помилуйте! — воскликнул я. — Можно ли таким образом решить дела, от которых зависит участь семейств?

— А почему же нет? — сказал хладнокровно сосед. — Ведь одна сторона должна же выиграть и быть довольною, а в общей массе это все равно.

— Но справедливость, правосудие! — возразил я горестно.

— Это зависит от бирюлек (**), — сказал сосед, улыбаясь.

(*) Прошу читателей не забыть, что самохвальство и самонадеянность суть отличительные черты породы Скотиниотов.

(**) Читателям, вероятно, известна игра в бирюльки. Это деревянные палочки разных видов, которые бросают в кучу и разбирают крючком. Мне кажется, что это название происходит от глагола беру, и потому правильное было бы назвать игру: бирюльки.

Между тем, по мере наполнения желудков, гости становились разговорчивее; наконец, между ними начался спор и крик. Каждый превозносил себя и защищал свое мнение. Благоразумнее всех показался мне хозяин, который на все вопросы отвечал одним мычанием: «Гм, гм, гм, гм», — и продолжал испивать вкусное вино. В конце обеда спор дошел до такой степени, что хозяин, опасаясь драки, встал из-за стола и попросил гостей выйти на открытый воздух, чтоб рассеять и развлечь их хотя несколько. Более всех кричал маленький гуслист, который, желая заглушить прочих, принялся петь, с аккомпанементом своего муссикийского орудия, гимн своего сочинения, из коего я удержал в памяти только следующие слова:

Я великий человек
И Философ знаменитый! — и проч.

Это был так называемый кавалерский обед, и женщины не выходили к столу. Хозяин, заметив, что я скушаю в обществе ученых скотиниотов, повел меня на половину своей жены, где я нашел большое собрание прекрасного пола. Я с любопытством рассматривал наряды, состоявшие из разноцветных перьев, лоскутков, сеток, металлических побрякушек, ремешков, тесемочек и, словом, такой смеси, что я с первого взгляда не мог составить себе никакого понятия о костюме. Женщины были уже предуведомлены о моем прибытии и потому бросились ко мне и с удивлением рассматривали меня, как редкого зверя.

— Скажите мне, чем занимаются ваши женщины? — спросила хозяйка.

— Воспитанием детей, хозяйством и старанием угождать своим мужьям, — отвечал я. При сих словах все скотиниотки громко захохотали.

— Неужели это кажется вам удивительным, милостивые государыни? — примолвил я. — Итак, позвольте спросить, кто же у вас воспитывает детей?

— Естественно, наемники! — отвечала хозяйка.

— А кто занимается хозяйством?

— Никто! — сказали скотиниотки в один голос.

— Мужья должны нам доставлять все нужное для содержания дома, удовлетворять нашим прихотям, а наше дело плясать, петь и прогуливаться! — сказала одна молодая, жеманная дамочка.

— И сочинять развлечения для наших мужей, или так называемые капризы! — примолвила другая дама.

— Все это кое-как свойственно молодости, — сказал я, — но к чему доведет такая жизнь в старости?

— Старость имеет свои прятности, — отвечала одна пожилая дама. — Тогда мы станем заниматься сплетнями, пересудами, сватовством.

— Спойте что-нибудь! — сказала одна скотиниотка.

— Попляшите! — промолвила другая.

— Как вам нравится мой наряд? — спросила третья, и, наконец, все приступили ко мне с просьбами и вопросами. Видя, что мне невозможно от них отделаться, я притворился больным и вышел наверх, где застал гостей, распростертых на земле, в изнеможении от споров и самохвальства.

Вскоре наступило время сна, и гости разбрелись по домам. Хозяин отвел меня в мою комнату, обещаясь на другой день показать все редкости и достопримечательные места в городе (*).

(*) Здесь недостает в рукописи нескольких страниц: может быть, Издателю удастся отыскать их на толкучем рынке, и тогда сообщит он их читателям при полном издании сего путешествия.

Пробыв целый месяц между скотиниотами, я до того соскучился, что возненавидел жизнь. Их подозрительность, упрямство, раздражительность, самонадеянность, при совершенном невежестве, ежедневно причиняли мне неприятности. Все мое удовольствие состояло в прогулке к жерлу, изливающему свет и теплоту. Атмосфера, окружающая сие жерло, припоминала мне благословенные страны земной поверхности, и я не мог насытить своего зрения исходящим оттуда светом, от которого убегали скотиниоты. Однажды я встретил у сего жерла старика, вступил с ним в разговор и узнал, что он пустынный, посвятивший всю жизнь свою на открытие пути в страну светлости, о которой гласит предание, что она находится под Скотиниею. Пустынный сказал мне, что уже несколько из его соотечественников проникли в сию страну и что он, наконец, открыл подземный ход, но не знает еще, куда он ведет, и боится один пуститься туда. Я вызвался сопутствовать ему вместе с Джоном. Он с радостью на это согласился. Мы возвратились в город, запаслись съестными припасами и водою, нагрузили все это на телегу, запряженную 12 сурками, которыми снабдил меня добрый Дуриндос, и на другой день пустились в путь в подземный ход, в сопровождении пустынного. Четыре дня сряду мы шли все вниз, во мраке; наконец, наступило мерцание; в подземном ходе делалось постепенно светлее, и на седьмой день мы вышли на пространный луг, где было светло, как на поверхности земли. Скотиниот упал на землю от восхищения, и мы, возблагодарив Бога за наше спасение, пошли навстречу к пастуху, который, играя на свирели, гнал стадо из веселой деревеньки, построенной на берегу ручья.

От пастуха узнали мы, что страна сия называется Светония; он говорил языком, составленным из русских, французских, английских и немецких слов, и потому я легко понимал его. Мы бросили на дороге нашу тележку с сурками и

пошли прямо в деревню. Чистота домиков и одежды крестьян возвещала о их благосостоянии.

Устройство тела нашего спутника, скотиниота, и наша одежда хотя возбуждали внимание жителей, но ни один из них не оскорбил нас насмешкою и не беспокоил неуместным любопытством. Измученные дальним путем, сели мы отдохнуть при колодце: тогда один старик подошел к нам и предложил прохладиться и успокоиться в странноприимном доме, где на общий счет всех жителей угощают путешественников. Мы с радостью на это согласились, и старик дорогою предложил мне вежливо вопрос о нашем отечестве. Я рассказал ему в нескольких словах мои приключения, и старик отвечал:

— У нас есть предание, что несколько скотиниотов перешло к нам в продолжение многих столетий. Здесь они теряют свои свойства и делаются людьми, подобными нам. Об игнорантах я вовсе не слыхал. Что же касается до обитателей поверхности земли, которые, как я вижу, во всех частях тела похожи на нас и даже понимают наш язык, то хотя мы никогда их не видали, но знаем по теории вероятностей, что наша планета должна иметь поверхность, озаряемую светом небесным и обитаемую существами мыслящими.

— Чем же освещается ваша страна? — спросил я.

— Огнем, находящимся в средоточии земли! — отвечал старец.

— Итак, вы не знаете мрака?

— Мы доставляем себе иногда удовольствие наслаждаться темнотою, запирая ставни в домах или отдыхая в подземных пещерах: впрочем, у нас всегда светло и тепло.

Между тем мы пришли в гостиницу, построенную на возвышении; из окон ее увидел я обширный город, лежащий в долине, на берегу широкой реки.

— Это столица наша, — сказал старец. — Она называется Утопия.

— Утопия! — воскликнул я в восхищении. — Место, которое мы тщетно отыскивали на поверхности земли!

— Оно здесь, в центре земли! — сказал старец.

— Итак, люди здесь счастливы? — спросил я нетерпеливо.

— Счастливы, сколько возможно существу, одаренному страстями и недугами, — отвечал старец. — Нас приучают с молодости, — продолжал он, — подчинять страсти рассудку, довольствоваться малым, не желать невозможного, трудиться для укрепления тела и безбедного пропитания, следовательно, для приобретения независимости, и наконец, употреблять все наши способности, все силы душевные и телесные на вспоможение нашим ближним. Исполняя все это и повинуюсь законам и законным властям, большая часть из нас счастлива, и если случается, что люди беспокойные вздумают нарушать общее благополучие, то им никогда не удастся, ибо в большом числе добрых злые не могут иметь ни влияния, ни силы.

Рассказ старца возбудил во мне сильное желание тотчас поспешить в Утопию, чтобы собственными глазами осмотреть все постановления, делающие людей счастливыми. Отобедав в гостинице и поблагодарив старика, мы поспешили в город и чрез полчаса очутились у заставы.

Здесь нас остановили и спросили: откуда мы, зачем идем в город и чем будем содержать себя?

Эти вопросы показались мне странными, и я изъясил свое неудовольствие, сказав:

— Какое кому до меня дело? Я волен в своих поступках.

— Это правда, — отвечал один чиновник, — но большие города не должны служить убежищем лени, праздности и пороку. Мы должны знать, чем содержит себя житель города, не обрабатывая поля и не занимаясь должностью или мастерством. Эта предосторожность избавляет честных граждан от многих неприятностей. Мы также обязаны давать работу и занятие ищущим пропитания, объяснять весь городской порядок

прибывающим сюда за делами, призирать сирот, неимущих, несчастных и странников.

— К какому же разряду вы причислите нас? — сказал я и повторил мои приключения, со времени моего падения в подземную пропасть. Чиновники слушали меня с величайшим любопытством, осматривали нашу одежду и сложение тела скотиниота и, удостоверившись из моего ломаного языка в том, что мы иностранцы, по кратком совещании, объявили нам, что мы будем содержаться в городской гостинице до тех пор, пока не изберем себе рода жизни и не узнаем языка и обычаев Светонии. Нам тут же дали одежду светонцев, похожую на древнюю греческую, в которой наш скотиниот казался чрезвычайно смешным. Один из чиновников взялся сам проводить нас в гостиницу и доложил обо всем городскому начальству.

Проходя городом, мы удивлялись чистоте его и довольству жителей. Улицы были широкие, и частные все дома вообще небольшие, в один этаж, с садом и цветниками перед окнами. Общественные здания, напротив того, были чрезвычайно великолепны, покрыты блестящим металлом с мраморными колоннами; резьбою и архитектурою превосходили они все, что я видел в натуре и на рисунках. Экипажей было очень мало. Проводник сказал нам, что в Утопии только пожилые и заслуженные люди и больные ездят в повозках, запряженных волами; все прочие ходят пешком, как следует здоровому и бодрому человеку.

Прибыв в гостиницу, чиновник дал приказание в рассуждении нашего содержания и приставил к нам двух собеседников, вроде итальянских *чичероне*, чтоб во всякое время водить нас по городу, показывать и объяснять нам все достойное любопытства и знакомить с здешними обычаями. Скотиниот и Джон изъявили желание остаться дома и отведать всех напитков Утопии, полагая, что счастливые люди должны иметь хорошее вино, а я, с моим собеседником, пошел бродить по городу.

Я чрезвычайно удивился, вовсе не встречая женщин на улицах, и спросил у моего собеседника:

— Неужели вы женщин держите взаперти, как индеек, подобно нашим азиатцам?

— Напротив того, они пользуются у нас совершенною свободою, — отвечал светонец, — но они имеют столь много занятий дома, что, исключая часов, назначенных для публичных прогулок, им некогда бродить по улицам. Домашнее хозяйство, воспитание детей и все работы, не требующие больших усилий, предоставлены у нас женскому полу. Женщины ходят за больными, готовят лекарства, пищу, одежду, наблюдают за чистотою в домах, и праздность почитается у нас величайшим пороком в женщинах.

В это время я вспомнил о наших бесконечных визитах, прогулках, посещениях всех лавок и магазинов без нужды и без дела и невольно улыбнулся.

Светонец приметил это и спросил меня:

— Разве у вас праздность не почитается пороком?

— Не всеми, — отвечал я, — при всем том я полагаю, что ваши женщины не трудятся столько, как наши. Знаете ли вы, что такое мода? — промолвил я.

— Нет, — сказал светонец.

— Итак, я вам растолкую: мода есть обычай переменять как можно чаще цвет и покрой платья, вид прически, фасон шляпок, форму экипажа и домашних приборов, даже образ жизни, занятий, увеселений и самого горя или траура.

— То есть вы беспрестанно усовершенствуете ваши изобретения и промениваете их на лучшее? — сказал светонец.

— Если б это было так, как вы говорите, — возразил я, — тогда мода почиталась бы путем усовершенствований; но, по несчастию, часто выходит напротив. Мы меняем покойное на беспокойное, твердое и крепкое на слабое, красивое на безобразное потому только, что так велит мода.

— Кто же изобретает моду? — спросил светонец. — Без сомнения, отличнейшие и умнейшие люди?

— Вы не мастер угадывать, — сказал я. — Моды изобретают полсотни швей, в одном большом городе, и знатные дамы более повинуются уставам ветреной швей, нежели... но не в этом дело. Я вам сказал, что наши женщины более трудятся: теперь вам будет это понятнее, когда я скажу, что прекрасный пол высшего звания занимается у нас модами, то есть женщины не работают сами, но только наряжаются, обновляются и преобразуют все в доме. Это отнимает у них все время, и едва остается в сутки несколько часов на визиты, осмотр магазинов и прогулки, и потому другую половину суток, то есть неизвестную вам ночь, посвящают они на балы, собрания и т. п. Итак, наша светская женщина находится в беспрестанной работе и гораздо скорее приходит в изнеможение и теряет силы, нежели простая крестьянка, достающая себе пропитание в поте чела.

— Но какая польза от этой так называемой работы? — спросил светонец.

— Это другой вопрос, — сказал я, — на который трудно отвечать.

В это время мы приблизились к одному огромному зданию.

— Это суд, — сказал светонец.

— Итак, у вас есть суд, следовательно, и тяжбы! — воскликнул я. — Позвольте усомниться в счастии жителей Утопии.

— Не будьте опрометчивы, — возразил светонец. — Люди не могут руководствоваться собственною волею, как животные инстинктом, и потому, для определения правого и неправого, составлены законы, а где законы, там должны быть и блюстители правосудия, которые обязаны разрешать трудные вопросы юридические в сомнительных случаях.

— Есть ли у вас ябеда в судах! — спросил я.

— Не знаю, что такое ябеда, — сказал светонец. — Растолкуйте.

— Когда вы не знаете ябеды, то я начинаю верить вашему счастью.

Мы вошли в огромное здание, которое было совершенно пусто.

— Где же толпы канцеляристов, где толпы просителей, поверенных?

— Мы ничего этого не знаем, — сказал светонец. — Незаконного не просим и не желаем, следовательно, и не знаем тяжб. Но войдемте в судейскую.

В огромной зале лежала на налое небольшая книга законов; другая книга, журнал текущих дел, лежала на столе, и несколько дежурных судей дремало на стульях.

— Теперь более уверяюсь в счастии Утопии, — сказал я на ухо своему проводнику, — когда вижу, что судьи дремлют не от лени, а от безделья.

В это время судьи проснулись, и один из них подошел к нам и спросил, не требуем ли мы справки с законами или разрешения какого-нибудь спора. Узнав, что я чужестранец и посетил Суд из одного любопытства, судьи просили меня присесть и отдохнуть. Разговаривая с ними более часа о различных предметах, я узнал, что у них вовсе не случается тяжб, а только бывают сомнения насчет законных или незаконных поступков, или действий, и в таком случае их обязанность состоит в буквальном толковании законов. О взятках они даже не имели понятия. Распростившись с судьями, мы вышли на улицу и встретили толпы мальчиков и девочек, идущих в публичную школу учиться мастерствам и всякого рода механическим занятиям. Каждый светонец обязан непременно знать какое-нибудь искусство или мастерство, чтобы, в случае нечаянной потери своего имущества, мог пропитать себя собственными трудами.

— В каком состоянии ваша словесность? — спросил я.

— В самом блестящем, — отвечал светонец. — Наши поэты воспевают славу Всевышнего и добродетели своих соотчичей; прозаики занимаются развитием и распространением полезных нравственных истин различными способами, посредством истории, романов, повестей, трагедий, комедий, сатир и т. п. Ученые трудятся над открытием и усовершенствованием в науках и художествах; артисты и художники работают для славы отечества, и все писатели, ученые и художники пользуются уважением в обществе, как люди, отличные от прочих большим количеством мыслящей силы и старающиеся о славе народа, о пользе общей.

— А каково они живут между собою? — спросил я.

— В мире и согласии! — отвечал светонец.

— Быть не может! — воскликнул я. — Разве у вас нет журналов?

— Напротив того, множество! — отвечал он.

— Чем же они наполняются?

— Любопытными статьями, неизвестными публике, и критикою, — сказал светонец.

— Не понимаю, как можно согласить критику с миром и дружбою между литераторами! — возразил я.

— А я удивляюсь, как можно сердиться за благонамеренную критику, — сказал светонец, — особенно людям, которые по своему званию должны подавать пример снисходительности и правдолюбия.

— Все это прекрасно, — воскликнул я, — но признаюсь, у нас очень редко исполняется, а именно потому, что мы часто вводим личные наши страсти в литературу и что с некоторого времени коммерческие выгоды и расчеты занимают иных словесников более, нежели польза словесности и удовольствие читателей.

— Но скажите, — примолвил я, — неужели вы не знаете клеветы, зависти, мщения и других унижительных для человечества пороков?

— Знаем по преданиям, — отвечал светонец, — когда предки наши были в невежестве, когда и страсти управляли их деяниями, но просвещение довело нас до того, что все побуждения покорены совести и рассудку, и с тех пор мы счастливы.

— Какое же наказание полагается у вас завистливым и клеветникам? — сказал я. — Ибо невозможно, чтобы иногда не появлялись сии чудовища.

— Презрение! — отвечал светонец. — Мы осуждаем людей по их делам, а не по рекомендациям, не слушаем никаких внушений без доказательств ясных, следовательно, и клевета остается недействительною.

Разговаривая таким образом, мы пришли в публичный сад, где в это время прогуливалась большая половина жителей столицы. Я не мог наглядеться на простоту и прелесть женских нарядов. Простые белые платья, соломенные шляпки и цветы, вот все украшение юности. Пожилые женщины носили красивые плащи и шляпки темного цвета, с зелеными ветками и зрелыми колосьями. Молодые люди не толкались в толпе, не смеялись смотря в глаза незнакомым, не заглядывали под шляпки. Пожилые люди и старики не подражали юношам, не ветреничали, но соблюдали важность и скромность в своих поступках. Женщины не приводили в краску неопытных юношей, устремляя на них смелые взоры и лорнеты. Матери не стыдились прогуливаться с взрослыми своими дочерьми, и отцы семейств ходили под руку с женами и не приветствовали женщин, незнакомых их женам. Одним словом, в этом саду я увидел такие вещи, о которых никогда даже не мечтал на поверхности земли.

Возвратившись в нашу гостиницу, я застал моего Джона и скотиниота в весьма дурном расположении духа. Они жаловались, что хозяин дал им прекрасного вина, но очень мало, приглашая пить ключевую и минеральную воду; поэтому они заключили, что

Светония должна быть страна скучная, не просвещенная и бедная, ибо у нас и в Скотинии чем лучше угощение, тем более дается вина. Я не заблагорассудил вступать в споры с своими спутниками и лег в постель, чтобы отдохнуть после прогулки. Долго не мог я заснуть: мне все мечталось счастье Утопии, где нет взяток, ябеды, клеветы, зависти, где литераторы живут в мире и согласии, женщины занимаются домашним хозяйством и не разоряются на нарядах, где молодые люди скромны, а пожилые не подражают юношам в ветрености; наконец я заснул...

Здесь конец рукописи — и снова оторвано несколько листов. На переплете написано было рукою Архипа Фаддеевича следующее: «Не знаю, что ты заключишь из этого путешествия к средоточию Земли, но мне кажется, что первая полоса, или *Игноранция*, означает *совершенное невежество*; вторая полоса, или *Скотиния*, *полубразованность*, *полученость*, что гораздо хуже невежества, а третья полоса, или *Светония*, истинное *просвещение*, делающее людей добрыми, благонамеренными, смиренными, скромными и честными».

Я не смею учить публику и потому оставляю ей на разрешение, справедливо ли заключение Архипа Фаддеевича.

Биография

Булгарин Фаддей Венедиктович



Булгарин, Фаддей Венедиктович - писатель, родился 24 июня 1789 г. в Минской губернии, в польской семье. Отец Булгарина, принимая участие в польской революции, убил генерала Воронова, за что в 1794 г. был сослан в Сибирь. Мать, переехав в Санкт-Петербург, определила Булгарина в 1798 г. в Сухопутный (ныне I-й) кадетский корпус. Окончив его в 1806 г., Булгарин определился в уланский Государя Цесаревича полк, принял участие в кампании 1806 - 1807 г., был ранен в живот под Фридландом и получил на саблю аннинский темляк. Возвратившись из похода, Булгарин сочинил сатиру на полкового командира, за что в 1809 г. его перевели в Кронштадтский гарнизонный полк, из которого в 1810 г. он перешел в Ямбургский уланский полк. В 1811 г. Булгарин был уволен из полка с худой аттестацией, опустил совсем нравственно, дошел до кражи, жил

милостыней, пока не определился в польский легион Наполеона рядовым в полк, находившийся тогда в Испании. В рядах французской армии Булгарин принял участие в кампании и в корпусе маршала Удино сражался против графа Витгенштейна, достигнув капитанского чина. В 1814 г. Булгарин был взят в плен прусскими войсками; после войны возвратился в Варшаву, из которой переехал в Санкт-Петербург, где ему было разрешено поселиться. В 1816 г. Булгарин выступил в печати мелкими повестями, историческими и географическими заметками, приняв участие в "Сыне Отечества" Греча. В 1821 г. Булгарин издал "Избранные оды" Горация, с 1822 г. стал издавать исторический журнал "Северный Архив", а с 1823 г. - "Литературные Листки". В это время Булгарин уже приобрел большие литературные знакомства, вращался в лучших литературных кругах, выставляя себя сторонником тех политических и социальных идей, которые исповедывала тогдашняя молодежь. Непривлекательные нравственные качества Булгарина тогда еще не выявились, и он пользовался расположением таких лиц, как Грибоедов, А. Бестужев, Рылеев и Пушкин. В 1825 г. Булгарин выпустил альманах "Русскую Талию". С этого же года он стал издавать газету - "Северную Пчелу". Одновременно со знакомством с прогрессивно настроенной молодежью и декабристами, Булгарин завел связи с официальными сферами, с кругом, близким к Аракчееву. При подготовке восстания 14 декабря Булгарин стоял в стороне, но знакомство с декабристами вызвало вопрос об участии его в заговоре. Благодаря связям с высшими сферами, наконец, тому, что он оказал, по свидетельству Греча, содействие полиции при арестовании Кюхельбекера, Булгарин не был привлечен к следствию и суду. Если до 1825 г. он считал более выгодным вращаться в влиятельных тогда прогрессивных кругах, то после декабрьского восстания резко переменял позицию, снискал расположение тогдашнего шефа жандармов Бенкендорфа, благодаря содействию которого последовал Высочайший указ о переименовании Булгарина из капитанов французской армии в VIII класс и причислении его к министерству народного

просвещения. В 1827 - 28 годах вышли в 10 частях "Сочинения" Булгарина (2-е изд. в 12 част., СПб., 1830; 3-е изд. в 3 част., СПб., 1836; полное изд. в 7 тт. вышло в 1839 - 1844 годах). Представив их Николаю I, Булгарин при содействии Бенкендорфа получил Высочайшую благодарность и бриллиантовый перстень. В 1829 г. Булгарин выпустил "Ивана Выжигина, нравственно-сатирический роман" (2-е изд., СПб., 1829; 3-е изд., СПб., 1830), в 1830 г. - "Воспоминания о незабвенном А.С. Грибоедове", "Дмитрия Самозванца", исторический роман (2-е изд., СПб., 1830; 3-е изд. в 3 частях., СПб., 1842), за который получил второй бриллиантовый перстень, и, совместно с Броневским, "Картину войны России с Турцией в царствование Николая I". В 1831 г. Булгарин издал "Петра Ивановича Выжигина, нравоописательный исторический роман XIX в." (2-е изд., 1834), за который получил третий бриллиантовый перстень. В том же году Булгарин был отчислен от министерства народного просвещения, где считался чиновником особых поручений. В 1833 - 34 годах вышел "Мазепа", в 1835 г. - "Памятные записки титулярного советника Чухина", в 1839 г. - "Летняя прогулка по Финляндии и Швеции", в 1843 г. - "Суворов", в 1842 - 43 годах - "Картинки русских нравов". После смерти в 1844 г. Бенкендорфа Булгарин продолжал быть под покровительством 3-го отделения и нового шефа жандармов Орлова, так как Булгарину покровительствовал назначенный в 1839 г. помощником шефа жандармов Дубельт, сохранивший этот пост и после 1844 г. В 1846 - 49 годах вышли в 6 частях "Воспоминания" Булгарина. В 1845 г. он получил чин надворного советника, а в следующем году, "во внимание к отлично-усердной и ревностной службе" Булгарину было Высочайше повелено: "не считать препятствием к получению пенсии и других наград, кроме знака отличия беспорочной службы, отставки Булгарина в 1811 г., по худой аттестации, от службы". В 1848 г. Булгарин, "во внимание к отличному его усердию и особым трудам", получил чин коллежского советника. В 1857 г. Булгарина разбил паралич, 1 сентября 1859 г. он умер в чине действительного статского советника. Как литературный критик, Булгарин стоит очень низко.

Достаточно указать, что он совершенно искренно считал Гоголя русским Поль-де-Коком. В критических оценках Булгарина главную роль играли личное чувство и сведение личных счетов. Тех писателей, хорошим отношением которых Булгарин дорожил из личных материальных соображений, он хвалил самым беззастенчивым образом, даже в том случае, если это была общепризнанная бездарность; тех же писателей, которые стояли ему на дороге, Булгарин с такой же беззастенчивостью критиковал, не гнушаясь ни какими инсинуациями и доходя до ругани самого низкого свойства. Очень характерно для Булгарина его отношение к Пушкину. Стремясь привлечь его к сотрудничеству в "Северной Пчеле", что повысило бы его доходы, Булгарин в своих критических статьях до 1830 г. расточал поэту величайшие похвалы, но, когда увидел, что он стоит во главе конкурирующей "Литературной Газеты", немедленно с яростью напал на Пушкина, не постеснялся после выхода 7 главы "Евгения Онегина" признать "совершенное падение" таланта поэта. Булгарин отличался мстительностью и высокомерием; достаточно было кому-нибудь нелестно отозваться о его работах, Булгарин начинал нападать самым резким образом. Романы Булгарина в свое время вызывали бесконечные насмешки барона Дельвига, князя Вяземского, Пушкина, Гоголя, Белинского и др. Но все-таки как беллетрист Булгарин стоит выше. Некоторые исторические работы Булгарина не лишены известного значения. Так, он один из первых дал верную оценку "Истории русского народа" Полевого (см. П.Н. Милюков, "Главные течения русской исторической мысли", М., 1898). Несмотря на ничтожество как критика и публициста, Булгарин играл видную роль в русской журналистике второй четверти XIX в., и жизнь ее была тесно связана с именем Белинского. Начавши издавать в 1825 г. "Северную Пчелу", Булгарин вступил в тесный союз с Гречем, издававшим с 1816 г. "Сын Отечества". В 1834 г. к ним присоединился Сенковский, редактировавший "Библиотеку для чтения". Эти три издания имели индивидуальные черты, в некоторых отношениях не были однородны, но составляли

сплоченную коалицию, боровшуюся общими силами со всякими попытками конкуренции и ревностно стремившуюся сообща захватить поле русской журналистики. Булгарин был человек самого низкого нравственного уровня, для него на первом плане стояла материальная выгода, для достижения которой он был готов на все решительно. В литературных кругах самых различных оттенков к нему питали глубокое презрение, осыпая градом колких эпиграмм. Даже Греч в своих "Записках" отзывался самым отрицательным образом о душевных качествах своего соратника. Не из идейных, принципиальных соображений, а исключительно из материального расчета, грубо-продажный Булгарин перешел в охранительный лагерь и сделался послушным слугою Николаевского режима, верным агентом и прислужником, не безвозмездным, шефа жандармов Бенкендорфа, которого держал в курсе всех литературных событий, давал ему нужные ему сведения о литераторах и часто писал по его заказу статьи в "Северной Пчеле". Благодаря покровительству Бенкендорфа, "Северная Пчела" занимала монопольное положение, имела более широкую программу, чем другие газеты, что влекло за собою большие доходы. Дорожа ими, Булгарин не останавливался ни перед какими средствами, чтобы погубить конкурирующие издания. Бесконечные доносы, интриги, сведение личных счетов, бесстыдная лесть сильным мира, постоянное выпрашивание подачек - проходит красной нитью через всю жизнь Булгарина. Не говоря уже о пресмыкательстве политическом, Булгарин не гнушался в своей газете писать восторженные статьи о гостиницах, магазинах и т. п., которые за это ему платили. Беззастенчивой рекламой своих произведений, искусственно созданным шумом, удовлетворением неразборчивым вкусам толпы, Булгарин создал себе среди нее популярность и авторитетность. Своим пресмыкательством, фальсификацией общественного мнения, продажностью, бездарными критическими оценками литературных явлений "Северная Пчела" оказывала самое вредное влияние на общество, тормозила рост общественного сознания и литературного развития.

Отвратительная рептилия возмущала всех сколько-нибудь брезгливых людей, даже из числа тех, которые всецело были преданы идее абсолютизма. Наибольшее влияние Булгарина относится ко второй половине 20-х годов, в 30-х годах оно стало падать благодаря Пушкину и его кружку, сильно дискредитировавшим Булгарина во мнении общества; в 40-х годах Белинский окончательно уничтожил Булгарина и триумvirат, подорвав всякое его влияние. - Наиболее богатой с фактической стороны биографией Булгарина является работа М.К. Лемке ("Николаевские жандармы и литература 1826 - 1855 г.", СПб., 1908); список отдельно изданных трудов Булгарина см. в 3 т. "Русских книг" С.А. Венгерова, литература о Булгарине приведена в I т. "Источников словаря русских писателей" С.А. Венгерова.

А. И. Фомин

Оглавление

Философский камень	5
Три листка из дома сумасшедших	47
Кабалистик	58
Страшные истории	65
Предок т потомки	72
Старый знакомец	109
Чертополох	124
Дух Фонвизина...	134
Похождение Митрофанушки в Луне	146
Письмо жителя Белы	212
Письмо жительницы Белы	216
Неодушевленные стряпчие	220
Сцена из частной жизни, в 2028 году	223
Правдоподобные небылицы...	235
Невероятные небылицы...	282
Биография	308

Электронное
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

XX

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ • ФАНТАСТИКА



LEO

315